НЁМАН

7/2013
ИЮЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

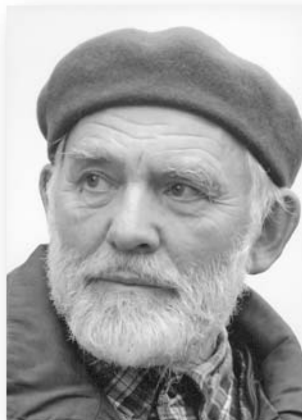
Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 10.07.2013 г. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,46. Тираж 3198. Заказ 2178.
Цена номера в розницу 18 600 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-84-61; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»



ЛЕОНИД ЛЕВАНОВИЧ

Ветер с горечью полыни

Роман[*]

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!

Александр Блок

I

Обычно он просыпался рано, часов в пять. Сегодня подхватился еще раньше: темнота окутывала сеновал, тишина, густая, вязкая, царила вокруг. Ни единой птицы не было слышно: птицы свое отпели, на дворе уже Спасовка — за порогом стоит осень.

Внезапно Бравусов насторожился: вверху, под стрехою, послышался некий шорох, лопотание крыльев. Он аж вздрогнул от неожиданности, но тут же догадался: это возвращались с ночной охоты летучие мыши. Бравусов знал, что под стрехой у конька живут летучие мыши, сквозь дырки во фронтоне вылетают на волю, а зимуют в его погребе: висят вниз головой, маленькие, усохшие, словно свернутые в трубочку ольховые листья. Летучие мыши отыскали свое укрытие, успокоились. Тогда громко захлопал крыльями петух, затянул извечное заливистое «кукареку». Вскоре отозвался другой певун, потом еще один.

Снова больно обожгла мысль: как мало осталось жителей в Хатыничах. Некогда было полторы сотни дворов, а теперь какая-то горстка — остались самые завзятые, упертые жители, которые не захотели убегать от Чернобыля. Другие же, как начали давать деньги за их постройки, разлетелись по миру, словно птицы в поисках теплых краев. А вот шорохи летучих мышей обрадовали Бравусова. Верней, не сами звуки, а то, что услышал их. В прошлом году он, Владимир Устинович Бравусов, отпраздновал свое шестидесятипятилетие, раненый, контуженный на войне, но, гляди ты, не глухой как тетеря. А еще это означает, что хорошо выспался, в голове ясно, давление нормальное, а то в последнее время слышал гул в ушах, жене Марине приходилось говорить громче.

«Сколько ж это времени», — подумал Бравусов, потянулся рукой за подушку, где в сене лежал плоский фонарик. Посветил на часы и, хоть цифры на циферблате выразительные, не мелкие, все равно не разобрал. Очки с собой не взял, чтобы не раздавить ненароком. И еще подумалось: ночи все удли-

---

[*] Журнальный вариант

няются, сильнее сжимают в объятьях дни, которые усыхают, сокращаются. Поэтому утренний свет никак не может пробиться на сеновал.

Хорошо, что уши подводят, а не глаза... В конце концов, нечего Бога гневить. Еще в сорок четвертом, после ранения под Рогачевом, провалялся в госпитале четыре месяца, и его комиссовали по близорукости. Бравусов вернулся домой, оклемался, мать лечила ягодами, все больше черникой, и — о чудо! — он спрятал в ящик стола очки и не доставал их почти сорок лет!

А прошлой осенью пришлось об очках вспомнить. Так годы ж не маленькие. Сколько чего пережито! Сколько актов, протоколов составил участковый инспектор милиции Бравусов за тридцать лет добросовестной службы! Мог погибнуть еще в первые месяцы войны, когда пробирался из окружения аж из-под Ельца в родную деревню. Сколько раз глядел смерти в глаза командир партизанского взвода Володька Бравусов! И нагрешил немало. Под Рогачевом, разозленный спором с солдатом Рацеевым — тот ругал колхозную жизнь — даже взял его на мушку во время атаки. Но не успел нажать на курок: немецкий снаряд опередил. От Рацеева остались одни ошметки...

И все же Бравусову, видно, на роду было написано убить человека. Он сделал это не умышленно: Круподеров, бывший уполномоченный по заготовкам, в добром подпитии бросился на него с кулаками. Бравусов защищался и превысил меру обороны: нечаянно задушил хозяина хаты, с которым вместе выпивали. Круподеров пригласил Бравусова приехать за мелкой картошкой, хотел отблагодарить, что помог выкопать весь огород. Встреча давних знакомцев оказалась трагичной. Но никто об этом не дознался: бывший участковый замел следы.

На дворе светлело, в щели сеновала цедился утренний свет, но солнце еще не взошло, и вставать Бравусов не спешил. Услышал, как ляпнула дверь веранды — значит, вышла Марина. Ах, если б она сюда заглянула! А может позвать? Желание мгновенно овладело им, быстренько отворил ворота, кликнул:

— Марина! Ходи на минутку.

— Ну, как тебе спалось? — Марина пристально глянула на него. — Вчера ты перебрал трохи.

— Да нет, Маринка. У меня, хвактически, многолетняя тренировка. Поллитровка, да при хорошей закуси — что собаке муха. Не будем про ето. Мы с тобой еще сянни[1] не целовались, — притянул к себе жену, обнял нежно.

— Дак не было ж когда. Еще и солнце не взошло.

— А что нам солнце? Ты — мое солнце. Ты — моя радость, — он начал ее целовать, все больше распаляясь...

Марина не уклонялась от поцелуев, наоборот, вскинула ему руки на плечи, приподнялась на цыпочки и отдалась наслаждению. Даже запах водки не мешал, она и сама вчера выпила пару рюмок, крепко спала и проснулась с желанием ласки. Все ее тело, которое ждало мужской любви почти целых полвека, переполняла извечная страсть. Марина вышла на улицу, потянулась, пожалела, что не пошла спать на сено, захотелось, чтобы он позвал ее. И он почувствовал ее желание. Разве это не чудо!

Марина думала об этом, когда разгоряченная, счастливая лежала на еще сильной руке своего мужа.

Бравусов поймал себя на мысли, что первой жене, Тамаре, с которой прожил тридцать пять лет, редко говорил ласковые слова. Теперь понял, что грех жалеть доброго слова Марине, которую любил с молодости, которую помнил всю жизнь и уже не надеялся, что судьба сведет их.

---

[1] Сянни — сегодня (*диалект.*) — прим. перев.

Марина будто догадалась, о чем он думает, шершавой, огрубевшей ладонью погладила его лицо, поредевшие седые волосы... Она была благодарна небу, Богу, хоть и не верила в глубине души, что он есть, за эту радость на исходе горемычной, одинокой жизни. Марина ничего хорошего уже не ждала. Думала, как доживать одной в пустой родительской хате. И тут появился Бравусов. С того времени, как начали жить вместе, она частенько поглядывала в зеркало и не узнавала себя: под глазами разгладились гусиные лапки морщинок. Глаза по-молодому заблестели. Марина не ходила, а летала по земле, ей хотелось петь, прыгать, обнимать еженощно своего мужа.

В сарае замычала корова, а после приглушенно заржала кобыла.

— Ничего. Успеют. Пусть подождут. Сейчас больно холодная роса. Травы хватает, — Бравусов зевнул, сладко потянулся. — Полежим пару минут да и будем подниматься.

— Я заведу кобылу. И корову выпущу. А ты отдохни...

— Милочка моя, всю ночь отдыхал, хвактически. А что любовью мы с тобой занялись, дак ето ж разве работа? Ето ж удовольствие. На целый день, хвактически, зарядка. Вот пойду косить отаву. Буду махать косой и радоваться. Чиряк ему, етому Чернобылю. Фигу с маком! Будем жить и радоваться. И никуда отсюда не уедем.

— Я согласна. Что мы лучше найдем? Тут уже будем доживать. Тут деды наши, прадеды на кладбище... И мои, и твои недалеко... — Марина вздохнула, спросила: — А что сегодня будем делать?

— Ну, я отаву пойду косить. Если погода постоит, так за три дня высушим. Хоть бы пару возов насобирать еще. Оно и позже можно накосить. Сянни только девятнадцатое.

— Ето ж сянни Спас! — спохватилась Марина. — А я хотела жать картофельную ботву, она уже сохнет. Можно ли на еткий праздник?

— Работникам Бог прощает. Лентяев, лодырей не любит. А ботву положено жать за две недели до уборки, — уверенно сказал Бравусов.

В последние годы он много читал разных ученых книжек и мог поспорить с агрономом, когда что сеять, когда убирать.

Они вошли в дом. На кухне говорило радио, которое никогда не выключали, разве что приглушали на ночь. Бравусов прибавил звук и ясно услышал:

— Соотечественники!.. Граждане!..

У него аж сердце екнуло. Неужели снова война? Он приник к матовому, с мушиными точками, репродуктору, включил на всю мощь. Репродуктор начал трещать, шуметь, но Бравусов разобрал все. В Москве создан Государственный комитет по чрезвычайному положению — ГКЧП. Входят в него восемь человек: министры, члены Политбюро. Бравусов услышал знакомые фамилии: главного кагебешника Крючкова, милицейского министра Пуго, маршала Язова, а также вице-президента Янаева, секретаря ЦК Бакланова.

«Ну, так у них и так вся власть. Какого рожна им надо? Правьте! А может, Горбачев против? Не позволял... Кто их разберет», — думал Бравусов.

Подошла и Марина, она хлопотала у печи, но тоже ловила ухом то, что творится в Москве.

— Так что они задумали? Зачем им ето положение чрезвычайное?

— Я думаю, что они, хвактически, хотят спихнуть Горбачева. А тогда прищемить хвост етим разным демократам. В Прибалтике, в Молдавии, в Грузии...

— Ой, верно, прибалтам ето не понравится. Они ж свою власть установили. Хоть бы война не началась, — встревожилась Марина. — Мало, что ли, Чернобыля на нашу голову? Так еще и етое ГКЧП. С жиру бесятся они там, в Москве, — Марина крутнулась с ведром за порог.

Бравусов снова приник к репродуктору. Радио передавало известия из Армении, Литвы, Молдавии, Эстонии. Всюду было спокойно. «Слава богу, пока без крови», — подумал Бравусов и начал собираться на сенокос. Он вывел кобылу Зорьку, Марина выгнала хворостиной Красулю. Ярко-розовое солнце, похожее на апельсин, низко висело над лесом. Оно только взошло и теперь помалу вскатывалось на белесо-голубой купол неба. Над Беседью клубился редкий, белый, словно клочья ваты, туманок.

Разгорался еще один августовский день над Прибеседьем, засыпанным смертоносными радионуклидами. Всеобъемлющая тишина царила вокруг. Лишь изредка подавали голос петухи. Не слышно было и человеческих голосов, словно все хатыньчане прилипли к репродукторам и ловили вести из далекой Москвы, где образовалось некое непонятное, пугающее ГКЧП.

Думал о событиях в Москве и Бравусов, размеренно, привычно махая косой. Росная отава резалась легко, вслед за ним тянулись две рыжевато-зеленые дорожки-следа и пышные валки-прокосы. Через час-другой косец основательно угрелся, хапнул пригоршню срезанной травы, вытер косу, старательно поточил. И показалось, что звон от косы покатился над широким порыжевшим лугом и растаял, утонул в Беседи. Бравусов воткнул косу, словно межевой знак, косовищем в землю, чтобы издали было видать, и неспешно пошел к реке.

Солнце поднялось выше, начало припекать, но уже не так щедро, как в Петровку, будто сберегало свой жар до следующего лета.

«Утреннее солнце в Спасовку — словно поздняя любовь, греет, но не печет, — подумал Бравусов и удивился: то ли сам он сделал такое открытие, то ли где вычитал. — Но мне повезло испытать и горячую любовь на склоне жизни», — рассуждал он дальше. И это была именно его, собственная мысль, это было самим пережитое, испытанное, десятки раз обдуманное чувство. И даже сегодня он с таким наслаждением обнимал свою любимую...

У воды Бравусов оглянулся и тихо обрадовался — то самое место, где он встретился с Мариной, где впервые услышал ее признание: «И ты, Володечка, наравился мне». Марина в тот день пасла с отцом коров — отбывала черед, а он в добром подпитии возвращался с именин Круподерова. И было это летом 1981 года. А в ту осень Бравусов своими руками задушил именинника — взял грех на душу. Взглянул на свои ладони, аж поежился. Сколько жутких ночей провел Бравусов после того происшествия, но и сейчас, почти через десять лет, он четко помнит все. «Неужто он так и будет мучить меня до конца дней? Сам бросился драться, хотел схватить нож...» Захотелось поскорее помыть руки...

Спина уже взмокла. Бравусов стянул выгоревшую, некогда синюю, милицейскую форменную рубашку. Оглянулся, куда бы ее повесить, а то на мокрую траву класть не хотелось. Углядел метров за десять вниз по течению кряжистый куст ольшаника, направился к нему. Еще дальше торчали два пня — все, что осталось от прежнего парома... «Как быстро меняется все на земле», — думал Бравусов, такая наезженная дорога вдоль реки вела к переправе, а теперь от нее нет и знака — все затянуло густой, как овечья шерсть, муравой. А он же катил вдоль реки в тот день на велосипеде.

Поехал по этой дороге не затем, чтобы освежиться в Беседи, а чтобы не попасться на глаза свату Ивану Сыродоеву, который был тогда председателем сельсовета и в душе считал Бравусова за выпивоху, хоть и сам чарку никогда не проносил мимо рта. Это Бравусов знал точно, поскольку не раз угощались в молодые годы: бывший участковый и бывший финагент работали в одном сельсовете. Как все переплетено в жизни! Не поехал бы он вдоль реки, не встретил бы Марину, и может, после смерти жены сошелся бы с другой жен-

щиной, поскольку любовь к Марине с годами притупилась, а обида на нее жила в глубине души. И как не обижаться: единственная девушка, которая побрезговала им, лучшим кавалером во всей округе, не позарилась на блестящие офицерские погоны, не покорили ее русые кудри и нахально-красивые синие очи. Не раз думал Бравусов после ссоры с Тамарой, что его семейная жизнь могла быть иной. Одно утешало: вырастили хороших детей, дождались внуков. Как ни крути, сын — директор школы, а дочка — врач, а теперь даже заведующая поликлиникой в Могилеве. Этим можно гордиться!

С Тамарой он изведал много радости. Была она здоровая, не уродина на вид. Имела высокую полную грудь, которую любил целовать и шутя приговаривать: «Ну и женка у меня! Полная пазуха цыцок. На одну можно лечь, а другой накрыться». И Тамаре нравились его грубоватые шутки. Старалась угодить. Потому что всегда помнила свой обман: сказала, что забеременела, а ребенок родился почти через год после Тамариного «признания».

Правда, он редко укорял жену за тот обман, может, раза два упрекнул за всю жизнь, да и то после ссоры. Он никогда не думал, что его Тамара, здоровая, гладкая, не замордованная тяжким трудом женщина, так внезапно угаснет. Когда парился с ней в бане, всегда любовался ее шикарными формами. В последние годы она начала толстеть, причем не снизу, не в бедрах, а в плечах и груди. Но и в этом была своя женственность и влекущая красота. Ее грудь оказалась, так сказать, ахиллесовой пятой, в них и вцепился клешнястый усач — рак, который и свел преждевременно в могилу еще не старую женщину: Тамаре не было и шестидесяти. Теперь бы списали на Чернобыль, однако же Тамара умерла за три года до аварии на атомной станции. Значит, всегда была эта проклятая онкология.

Бравусов старательно умылся, зачерпнул пригоршню воды, плеснул на грудь, несколько холодных капель попали в штаны, он потопал резиновиками, словно застоявшийся конь. Речная вода пахла явором, водорослями, рыбьей чешуей, еще чем-то таинственно-приятным. «И где тут та радиация? Где смертельные нуклиды?» — рассуждал Бравусов. Все как и раньше. Даже рыбы прибавилось, потому что меньше стало рыбаков, а некоторые и есть боятся речную рыбу, потому и не ловят.

Он взял рубашку на руку и пошел к своим покосам. На ходу окинул взглядом деревню. Издали она по-прежнему выглядела большой и красивой, поскольку хаты почти все стояли на своих местах, две или три новые пятистенки вывезли в соседнюю Белую Гору, а вот столбики дыма над печными трубами курились изредка. Отыскал свой двор — теперь хата Матвея Сахуты стала для него почти что родной, а свою в Белой Горе продал и переселился сюда, в зону. Над стрехой кучерявился тонкий сизый столбик дыма. Представил Марину, которая хлопочет подле печки, верно, печет драники, потому что, как ни скажи, он заработал их...

Бравусов бросил взгляд дальше. Возле Шамовского ручья тянулась вверх дымная тропка — там жил однорукий Тимох Емельянов, другая такая же тропка била в небо из-за развесистых ив — там доживала век Ольга. Ее сын, Петька, которого смастерил ей Тимох в послевоенные годы, теперь уважаемый человек, работает бригадиром в Белой Горе, вырастил троих детей и мать не забывает, частенько трещит его мотоцикл. И все что-то везет в мамин двор. Но и от матери без гостинцев никогда не возвращается.

Живут Хатыничи, хоть и слабо, но еще дышат. Бравусов знал, что в войну деревню наполовину сожгли немцы. Матвей Сахута, Маринин отец, построил новый дом, в него семья перебралась после темной и сырой землянки, в которой довелось зимовать жене с детьми.

Бравусов снова взялся за косу, прошел несколько прокосов и вдруг услышал приглушенное ржание — спутанная Зорька будто звала его. «Чего ты хочешь, волчья сыть? Разве тебе травы мало? Поить тебя еще рано», — подумал Бравусов, поискал глазами привязанную дальше, на болотине возле Градзи, Красулю. И увидел Марину — издали узнал по белой косынке. Да и кто еще мог идти к нему? Только Марина, давняя любовь, которая все-таки стала его, хоть под конец жизни. И волна нежности, любви к этой женщине, у которой был первым мужчиной, нахлынула на него. «Если б не я, так бы и свековала девкой, — подумал Бравусов, — так бы и не узнала мужской ласки».

Всплыл в памяти солнечный весенний день. Бравусов возвращался из Мамоновки-Портюковки, где ночевал у Проси. Был уже вдовцом, и потому некуда было спешить, некого было бояться: и Прося, и он — люди свободные. Пенсионеры. Кого и чего им боятся? Людских оговоров? Так люди всегда будут говорить, но потреплют языками, да и перестанут. А жизнь одна, единственная, у каждого своя, и другой не будет.

Прося, как прослышала о смерти Тамары, даже сама однажды заглянула к Бравусову: дескать, возвращалась из района, вышла из автобуса, хоть могла это сделать около поселка Козельского — оттуда до ее дома вдвое ближе. Хозяин угостил ее, помянули Тамару, приглашал остаться, но Прося не согласилась:

— Ну что ты, Устинович? Еще постель не остыла после жены... Предь когда-нибудь ко мне.

— А драники будут? — по старой привычке оскалился Бравусов.

— Почему ж нет? Будут.

И он приехал. И остался на всю ночь. Оба затосковали по ласке и нежности, поэтому не знали устали. К тому же Прося стремилась показать все, на что была способна. Она надеялась, что Бравусов предложит жить вместе. Прося хотела этого и в то же время боялась. Помнила молодого партизана Бравусова, который хотел ее, жену полицейского, и маленьких детей поставить к стенке, но старшие партизаны не дали. А потом Прося много лет тайно встречалась с участковым. Позже, когда он вышел в отставку, виделись реже.

Договорились встретиться и в тот осенний день, когда Бравусов приезжал к Круподерову, но то, что там случилось, сорвало их свидание. Прося, когда прослышала о смерти Круподерова, сразу подумала: Володька спровадил своего приятеля на тот свет. Но о своей догадке никому не сказала, и с Бравусовым никогда Круподерова не упоминала. Жизнь приучила вдову полицейского крепко держать язык на привязи, ибо ни одно лишнее слово ей не прощается. Как-то поссорилась с соседкой из-за курицы, залезшей в грядки, так та зло ощерилась: «Ах ты, гадина! Сучка полицейская...» — и сыпанула матом-перематом.

О, если бы кто знал, как проклинала Прося бессонными ночами войну, разлучившую ее с мужем, осиротившую ее дочку и сына. Нет, старший полицейский Степан Воронин не погиб. В тот день, когда пятеро партизан под командованием Володьки Бравусова приехали арестовывать, Степану удалось бежать, но его ранили в ногу. В Саковичах в больнице сделали операцию, немцы наградили медалью за храбрость. Вместе с немцами Степан подался на запад и оказался аж в Аргентине, где живет и сейчас, имеет новую семью, сына, внуков, изредка присылает письма Просе, дочке Нине.

Так вот, Бравусов возвращался от любовницы, ехал через Хатыничи и встретился с Мариной. Она была в темном платке, темном платье. Бравусов слышал о смерти Матвея Сахуты, остановил коня, поздоровался, выразил соболезнование.

— Спасибо, Устинович. Что тут сделаешь? Он свое прожил. Восемьдесят с гаком. Прими и ты соболезнования. Слышала, жену похоронил.

— К сожалению, да, — вздохнул Бравусов, лицо его помрачнело, передернулись губы, и он отвел глаза в сторону.

Марина не могла не заметить, что это было искреннее сожаление, неожиданно для себя самой дотронулась до его руки:

— Не горюй. С того света не вернешь. У тебя есть дети, внуки.

В этих словах он расслышал скрытое сожаление, может, даже укор самой себе, что их пути не сошлись.

— Может, помочь в чем? Конь же у меня в руках. Не стесняйся, скажи, если надо.

— Ну, подъедь. Может, какого ольшаника привезли б на дрова.

И он приехал. Привезли дров. А потом была ночь на сеновале. Но ничего у них не получалось. Целовала Марина жарко, вся готовая отдаться, а дальше ничего не получалось. Бравусов злился на себя, на нее. Марина успокаивала:

— Мне и так с тобой хорошо. Не переживай. Не знала я мужиков. Ты ж ведал моего хлопца. В одном отряде были.

Марина сходила в дом, вернулась, обняла его, крепко поцеловала. И у них все получилось: помогло растительное масло...

А через пару месяцев бывший участковый перебрался в Хатыничи.

Все это, будто на кинопленке, промелькнуло в голове Бравусова за считанные минуты, пока Марина приближалась к нему. На плече у нее белели грабли.

— Ну, так изрядно уже накосил. Пошли завтракать. Может, я разобью покосы. Пусть подсыхают.

— Разбивать еще рановато. Пусть ветер обвеет. Но можно попробовать.

Он косовищем, а Марина граблями вдвоем быстро разворошили скошенную траву и пошли домой.

— Что передают? Какие новости? — спросил Бравусов.

— Повторяют то же самое. Концерт все передают. «Вижу чудное приволье...»

— Эх, кабы не Чернобыль! Лучшего приволья, чемся у нас, не найдешь на свете.

Бравусов обнял Марину за плечи, и так, обнявшись, они шли до деревни.

После завтрака хозяин вновь косил. Марина ворошила отаву, доила корову, присматривала по хозяйству. Бравусов махал косой, а мысли были далеко от Хатыничей: что там творится в Москве? А как откликнется Минск на это ГКЧП? Думал о последних событиях спокойно, без особой тревоги: в зоне отселения ничего не переменится.

После обеда он включил телевизор: может, там что скажут о событиях в Москве, но по одной программе показывали балет «Лебединое озеро», а по другим — ничего. По радио объявили: в 19.30 будет пресс-конференция ГКЧП. Это надо посмотреть, решили они с Мариной. Бравусов отправился на сено, поскольку чувствовал усталость во всем теле. Он обычно отдыхал немного после обеда, потому что под конец дня часто болели ноги: то ли радиация, то ли старость тому были причиной, а скорей всего, и радиация, и старость объединились против него. Бравусов редко жаловался Марине на свою немочь, благо сил на объятия хватало.

Под вечер хорошо косилась отава, поскольку роса в августе выпадает рано. Потом он напоил в Беседи Зорьку, вновь спутал и пустил на луг — пускай пасется до темноты. Когда пришел домой, пресс-конференция уже кончилась. Не посмотрела ее и Марина. По телеку вновь звучали песни народов СССР.

— Надо «Время» посмотреть. Там все покажут, — рассудил Бравусов.

В Спасовку темнеет раньше. До девяти вечера все работы были окончены, накормлены два поросенка, ухоженные Зорька и Красуля стояли в сарае. Бравусов уговорил Марину за ужином опрокинуть по рюмке самогона — все-таки праздник, яблочный Спас. Марина погоревала, что яблоки не освятила в церкви, что нету поблизости храма.

— Можно и так есть. Спас — всему час. Ето если у женщины дети помирали, так ей нельзя до Спаса есть яблоки.

Марина ничего не ответила, поскольку напоминание о детях всегда больно бередило душу. Бравусов это понял, нацепил очки и притих. Все внимание на экран. И вот они появились. Старый телевизор показывал не слишком четко, но Бравусов разглядел, что у Янаева, главного закоперщика, тряслись руки, когда он начал пересказывать ихнюю программу: надо навести в стране порядок, что «в отдельных местностях» будет объявлено чрезвычайное положение, что президент Горбачев болеет, но вскоре выздоровеет, и они будут работать вместе.

Он слушал, рассуждал и ничего необычного в этих рассуждениях не находил. Премьер — на месте, силовые министры — тоже. Значит, порядок будет обеспечен. Кто ж у них, хвактически, главный закоперщик? Бывший участковый профессиональным, цепким взглядом придирчиво всматривался в лица заговорщиков. Может, премьер Павлов? Нет, на его хорошо раскормленном лице, в глуховатом голосе не было решительности. Маршал Язов? И его широкая мурластая физия была слишком спокойна и даже безразлична. Всем своим видом вояка будто говорил: вы тут петушитесь, а давать ли танкистам приказ, я подумаю. Бравусов особенно внимательно приглядывался к милицейскому министру Пуго. Генерал был хмур. Слишком мрачен. Словно у него болели зубы. «Что-то Пуго как не в своей тарелке, — рассуждал участковый. — Понимает, что ему придется земляков-латышей, всех прибалтов загонять назад. В советскую конюшню. А они уже свежего воздуха вдохнули, не захотят назад. Хлопот у него может быть, хвактически, по маковку». Наиболее активно и уверенно вел себя шеф КГБ Крючков. «Должно быть, он у них атаман», — решил Бравусов. Без кагебешников такие дела не делают. А Янаев — марионетка. Но боится больше всех. Бумаги подписал и испугался. Вон как руки дрожат. Мандраж Янаева особенно впечатлил бывшего участкового. «Эге, браток, если ты етак боишься, так навряд ли, чтобы у тебя что-то получилось. Дрожащими руками власть не удержишь. Все ж люди увидели, какой ты храбрый заяц...» — подумал Бравусов. Сказал об этом Марине.

— А что нам до них? Как себе хотят. А руки дрожат, может, с похмелья. Не дури себе голову. И не думай про них. Где будешь спать? Пойдешь на сено?

— Пошли вместе.

— Ты что, не наработался за день? Утром были вместе...

— На это у меня всегда есть охота.

На дворе царил ядреный, росистый звонкий августовский вечер. Бравусов взглянул на небо и аж застыл от удивления: темный купол неба был усыпан крупными мерцающими звездами. Недаром пишут, что августовские звезды самые яркие, а росы самые густые. После выхода в отставку он много читал. Книги, газеты, календари — все, что попадалось на глаза.

Спать не хотелось. В голове, как ни отгонял, засела, словно гвоздь, назойливая мысль о ГКЧП. Что-то тут не так, рассуждал он, пусть себе президент приболел. Но бумаги же он мог подписать сам. Авторучка — это ж не пудовая гиря. Выходит, он против. А его соратники воспользовались отсутствием. Создали ГКЧП. Когда-то же Хрущев поехал в Пицунду пузо греть, а в Москве без него собрали пленум ЦК: приезжай, Никита Сергеевич, мы тута все

ждем тебя. Приехал. И турнули со всех должностей. Не дали и слова сказать в оправдание. Сиди и не вякай. Так и с Горбачевым может быть.

Мелькнула мысль: стоило бы сходить к учителю Мамуте, может, он «голоса» какие слушал. Но поздно уже, да и уморился за день. Завтра схожу обязательно, решил Бравусов, зевнул, но чувствовал, что не заснет, сел на колодку подле ворот. Снова вгляделся в небо. Вся северная его сторона была хорошо видна, поэтому легко отыскал Большую Медведицу, а потом — Малую Медведицу. Эти созвездия знал даже его отец, хоть и имел всего три класса за плечами. И называл он их: Большой Воз и Малый Воз. Полярную звезду Бравусов научился находить, когда служил в армии. По ней определял свой путь, когда из окружения добирался домой. А потом уже его сын-десятиклассник показал созвездие Стожар, по научному — Плеяды. Отыскал их сейчас: словно горстка ярких угольков, созвездие довольно низко висело на востоке. Неподалеку от Плеяд Бравусов углядел светлый шарик, который словно катился меж звезд. «Неужели спутник?» — встрепенулся он, но вскоре увидел пульсирующий красный огонек — значит, самолет. Курс держит на запад. Может, на Минск, а может, на Варшаву или Берлин.

Вот летят в том самолете люди, кто дремлет, кто разговаривает между собой. Только что сели в одном городе, а через час-другой уже за тысячу километров. Каких высот достигла наука! А на Земле как не было порядка, так и нет. В небе все движется по извечному распорядку, а на Земле черт знает что творится: то войны, то перевороты. Наверное, и первобытные люди видели небо таким же, как и теперь, дивились, давали названия созвездиям, планетам.

Бравусов припомнил, как когда-то учитель Мамута рассказывал, что до войны на высоком берегу Беседи, где впадает Кончанский ручей, минские ученые проводили раскопки, нашли множество каменных инструментов первобытного человека и доказали, что люди жили тут примерно сто тысяч лет тому назад.

А теперь Чернобыль своим смертоносным крылом выметает всех отсюда. Кого уже вымел, а кто еще упирается, как он с Мариной. Или тот же Петрок Мамута, бывший директор школы, завзятый пасечник, уважаемый в округе человек. Бравусов поймал себя на мысли, что в их судьбах нечто общее: умерли жены, пришлось искать новых. Мамутова Татьяна долго болела сердцем, а когда отправилась на тот свет, в Хатыничи прикатила женщина из Минска. Здоровая, красивая. Оказывается, после войны Мамута поехал в столицу учиться, жил на квартире и втрескался в Юзю, дочку хозяйки. А дочка была уже молодой вдовой-солдаткой, ребенка имела. И от Петра Мамуты родила сына. Учебу он бросил, вернулся к семье. Юзя звала его в Минск, мол, беги от Чернобыля, а он в ответ: там негде пчел держать, не могу их оставить. И тогда Юзя покинула столицу, приехала к нему. Вот какие чудеса на свете.

В сарае приглушенно замычала корова. «Неужто она слышит меня», — подумал Бравусов, тихо отпер ворота, нащупал в сене возле угла плоский фонарик, осветил свое ложе. Затем посветил вверх, будто искал летучих мышей, которых слышал ночью, но вверху ничего не увидел, лег, почувствовал аромат чабреца и ромашек. А еще показалось ему, что влажно-холодная подушка пахнет Мариниными волосами. Он счастливо улыбнулся, прошептал:

— Спасибо тебе, Боже, если ты есть, за еще один прожитый денек. И подари мне завтра еткий же счастливый.

Глубокая тишина стояла над Хатыничами, засыпанными смертоносными радионуклидами. Земля светилась ими, аккурат миллионами светляков. Свер-

кающее звездное небо поворачивалось, словно колесо на оси, вокруг неподвижной Полярной звезды.

Большая и такая маленькая планета Земля мчалась в космическом пространстве навстречу новому дню.

Хроника БЕЛТА и ТАСС, август, 1991 г.

7 августа. Костюковичи, Могилевская область. *Жители города очень удивились, когда однажды утром над райисполкомом вместо красно-зеленого Государственного флага БССР увидели бело-красно-белый флаг. «Другого способа пропагандировать национальное возрождение Беларуси у меня просто не было», — заявил следователю житель города Евген Дрозд.*

13 августа. Алма-Ата. *Встретиться руководителям 15 республик в Алма-Ате без участия Центра — такую идею высказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.*

20 августа. Москва. *Газеты напечатали Указ вице-президента СССР Г. И. Янаева: в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР на основании статьи 127 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 года.*

21 августа. Вашингтон. *Ситуация в Советском Союзе находится под контролем. Об этом, по словам Президента США Дж. Буша, ему сообщил в телефонном разговоре Президент СССР М. С. Горбачев.*

II

Уже четвертый год Андрей Сахута занимал должность секретаря обкома партии по идеологии. А точнее, *абкáма*. Теперь и писали, и произносили эти слова-символы советско-партийной власти по законам белорусской грамматики: райком — *райкáм*, обком — *абкáм*, исполком — *выканкáм*. С особым смаком поносили «райкамы» и «абкамы», выступающие на митингах, но язык Андрея Сахуты упорно не слушался новых веяний времени, и он произносил эти слова-символы на прежний копыл, как и его коллеги — партийные функционеры. Однажды снял трубку телефона — секретарша куда-то выбежала — и услышал приятный женский голосок: это абкам? Он укусил себя за язык, потому что так и тянуло сказать: «Нет, дорогуша, это обком...» О, как тосковал он по былому времени! Хотя в глубине души понимал: жизнь ставит все на свое место. Понимать понимал, но все его существо сопротивлялось горбачевской перестройке и новому мышлению.

Андрей Сахута, как и большинство его друзей-партократов, считал, что это все делается во вред партии и народу, но партийная дисциплина, словно железная узда, заставляла держаться борозды, по которой вели верховные лидеры, те, что сидели в Кремле и держали вожжи. Если б только держали! Так ведь безжалостно дергали! И не раз вспоминал Андрей крылатые, мудрые слова белорусского классика-юмориста: «Управлять-то управляй, да не слишком дергай!»

Но не только допекало высшее руководство, все чаще показывала зубы и сама жизнь, та самая жизнь, которую философы называют объективной реальностью.

Как-то начальство предлагало Сахуте, тогда первому секретарю райкома, перейти в горком партии секретарем. Он встретил это предложение без особого желания. Да что он мог сказать, кроме привычного: я — солдат партии, раз надо, значит надо. Но на партконференции возникла другая кандидатура, альтернативная: друзья выдвинули заведующего отделом горкома. В воздухе уже ощущалось веяние демократии, Горбачев трубил о гласности и новом мышлении. Правда, никто, может, и сам генсек не знал, что это такое — новое мышление. Но фраза, словно пробный шар, была запущена и полетела, покатилась по властным и партийным коридорам, замелькала на страницах газет. После телевизионной программы «Время» гласность, новое мышление высвечивал «Прожектор перестройки».

Так вот, на партконференции обсуждались две кандидатуры, выступали оба претендента. Горкомовец оказался более тонким и умелым демагогом, и, похоже, он больше жаждал повышения и нового кресла, потому и получил больше голосов. Болезненно переживал Андрей Сахута, для которого это было первое публичное поражение.

Зато на областной конференции за него голосовали дружно: может, поспособствовало деревенское происхождение, лесничий по образованию, но хорошо знает и столичные коридоры. Тогда еще все прислушивались к голосу партии, но с каждым годом ее критиковали все смелей. Первым это сделал вожак московских коммунистов Борис Ельцин на пленуме ЦК в октябре 1987 года. Сахута тогда сцепился с Петром Моховиковым, земляком, тележурналистом. А вышло вот как.

Петро приехал к нему в обком под конец дня. Снял мокрое от снега пальто, отряхнул шапку, гладко зачесал поредевшие волосы, прикрывавшие широкую лысину. Андрей невольно подумал, что у друга прическа, как у знакомого секретаря горкома, у некоторых работников ЦК. Типовая, номенклатурная прическа.

— У тебя, Петро, прическа, как у секретаря горкома Галко. Номенклатурная. Зря ты не согласился на повышение...

— Не удивительно, что люди говорят: галком. Собрались вороны и галки. Только и делают, что горлопанят и галдят. Кричат о гласности. Требуют, чтобы человек высказывал свои мысли. А как Ельцин вякнул на пленуме... Покритиковал старых бюрократов. Генсека зацепил, так и съели.

— Вот и кончилась перестройка, — взволнованно заговорил Петро.

— Слишком круто берешь. Перестройка не кончилась, — Андрей понизил голос, добавил: — Хотя я сам думаю, что-то тут не так. Нам говорили: надо учиться перестройке на примере Москвы. А тут вдруг — «политическая ошибка». Мне кажется, это большая ошибка Горбачева. Мы теперь оправдываем Бухарина, разных там оппортунистов. А тут человек выступил с критикой на пленуме, и его выступление признается «политически ошибочным». И его сразу снимают с должности за «крупные ошибки». И спекся папуас. А где ж демократия и гласность?

— И новое мышление, о котором кричит генсек. Перестройке — кранты. Это однозначно, — рубанул рукой, словно шашкой, Петро. — А Ельцин теперь станет самым популярным человеком. Россия любит мучеников. Это искони...

Андрей достал из ящика стола справочник «Коммунист» — толстую книжечку карманного размера, отыскал список партийной верхушки.

— Тут, брат, чистка идет. Много кого нет. Кунаева — нет. Алиева, Зимянина — тоже... — Толстым красным карандашом Андрей Сахута вычеркивал фамилии «бывших». Вычеркнул и Ельцина. — Во сколько вакансий!

— Ты произнес эти слова таким тоном... Ну, показалось мне: жалеешь, что не можешь занять одну из них.

— Нет, братец. Жалеть нечего. Каждому свое. А чего ты так задираешься? Ты против, чтобы я стал членом Политбюро? — улыбнулся Андрей, чтобы скрыть раздражение от настырной задиристости земляка. — Сам не идешь в начальники и мне не желаешь повышения.

— Почему — не желаю? Большому кораблю — большое плавание.

Петро Моховиков не был до конца искренен: не признался Сахуте, что против его назначения на должность заместителя председателя Гостелерадио высказался секретарь парткома, и именно потому, что Петро иной раз довольно резко выступал на собраниях. Может, и по этой причине историю с Ельциным он принял близко к сердцу и потому готов был грызть партийных бюрократов, в число которых включал и своего земляка, поскольку и он вынужден аукать, как и все. Именно с того дня между друзьями будто проскочила серая кошка.

Вскоре пришло сообщение: Ельцина назначили первым заместителем председателя Госстроя СССР, министром. Сразу же позвонил Петру:

— Ну, слышал о назначении Ельцина? Солидный оклад, портфель министра. Персональная «Чайка» ему выделена. А ты говорил: съели, съели...

— Правильно. Не то время, когда вычеркивали из списка. И из жизни одним махом.

Андрей Сахута понял упрек: друг напоминал, как он, Сахута, красным карандашом вычеркивал из справочника партийных начальников.

— Вот увидишь, через какое-то время Борис Николаевич всплывет. На первых же выборах в Верховный Совет он пройдет. Москвичи за него стоят горой.

— Поживем — увидим. Ну, будь здоров! — Андрей положил трубку, впервые забыв передать привет семье, жене.

В голове секретаря обкома настойчиво билась мысль: почему так произошло с Ельциным? Почему прозвучало это выступление, словно ложка дегтя, на торжественном пленуме, посвященном обсуждению доклада о 70-летии Октябрьской революции? И посеял сомнения первый секретарь обкома, когда рассказал про свои впечатления о том пленуме. Горбачев окончил доклад. Лигачев, который вел пленум, сказал: «Доклад окончен. Может, у кого есть вопросы? Нет. Ну, тогда пленум можно считать закрытым». И тут Горбачев: «У товарища Ельцина есть вопрос». Лигачев говорит: «Давайте посоветуемся. Есть ли необходимость начинать прения?» — «Нет», — выкрикнул зал. А Горбачев свое: «У товарища Ельцина есть некое заявление». И Лигачеву пришлось дать слово Ельцину. Выходит, Горбачев его вытащил на трибуну. И раньше, когда уж снимали за «политические ошибки», так снимали с треском. А тут назначили министром, персональную «Чайку» оставили.

Все это Сахута припомнил особенно остро, когда слушал пламенное Ельцинское выступление в защиту Горбачева, которого гэкачеписты заперли на даче в Форосе, а сами пробуют совершить переворот. Но почему Ельцину дали возможность выступать? Разве нельзя было отключить электричество в здании Верховного Совета? Неужели силовые министры, — а в их руках армия, КГБ, милиция, — настолько беспомощны? А может, Горбачев с этими заговорщиками заодно? Если бы против был, так его надо арестовать.

Андрею даже подумалось, что тогда, на пленуме 1987 года, Горбачев знал, о чем будет говорить Ельцин, и тянул его на трибуну. Будто чья-то невидимая рука вела этих партийных петухов по жизни, порой сводила, чтобы они сцепились, потом разводила. Эта невидимая рука возвела одного на трон

Президента СССР, а другого сделала Президентом России. Казалось, что Горбачев все делал, чтобы не допустить Ельцина к власти, но своим противодействием еще больше способствовал его популярности и восхождению на российский властный Олимп. А теперь Ельцин пытается спасти Горбачева, сорвать планы ГКЧП. А заговорщики третий день ничего не могут сделать, имея силу и власть.

В тот день, а на календаре было 21 августа, среда, на прием к секретарю обкома Сахуте записались три человека. Семейная пара Бутримовичей и художник Виктор Грищенко. В последнее время на прием записывалось все меньше людей, и звонков из обкома партии чиновники разной масти не пугались так, как раньше. Власть перетекала к Советам. Порой Андрею Сахуте казалось, что земля постепенно, но неуклонно уходит из-под его ног.

Однажды приснился сон, что он, Андрей Сахута, оказался на безлюдном острове, вокруг ни души. На широком толстенном пне стоял красный телефонный аппарат «вертушка», по которому звонило ему высокое начальство и он мог также позвонить на самый верх. Однако делать это боялся. Зато во сне он настойчиво набирал номер первого секретаря ЦК, но никто не отвечал, слышались короткие гудки: занято. И сколько ни звонил, сколько ни алекал в трубку, никто не отозвался. Тогда он набрал номер своего куратора, секретаря ЦК по идеологии, от которого частенько получал ЦУ, а то и выволочки. Андрей молча слушал, порой поддакивал, но перечил редко. Знал золотое правило: дай начальству выпустить пар — и оно успокоится, подобреет. Но теперь, во сне, Сахута был настроен воинственно, готов всыпать куратору под завязку за все прежние обиды, но и того не было на месте. Набрал номер своего шефа — первого секретаря обкома, но и того тоже не было, и его помощник не отозвался. «Куда они делись? Как черт кнутом их поразгонял», — встревожился Сахута.

Внезапно на соседнем дереве застрекотала сорока, в чащобе отозвалась другая. Птицы растрещались на весь лес. «Что их так встревожило?» — подумал Сахута. Он с детства помнил отцовскую науку: если в лесу стрекочет громко сорока, значит там волк или лиса. Сахута взял емкую хворостину и пошел в чащу. Но чем дальше он продирался, тем лесные недра становились гуще, деревья, кустарник переплетались то ли хмелем, то ли другими растениями, напоминавшими тропические лианы. Он уже совсем изнемог, внезапно зацепился за корч, грохнулся оземь. И... проснулся. Сердце колотилось в груди, готовое выскочить, во рту пересохло. Но он с радостью осознал, что это только сон.

О странном, кошмарном сне Сахута не сказал никому, даже жене. Ада и так уже не раз говорила ему: «Ищи себе работу, ничего ты не высидишь в обкоме. Твою идеологию уже моль побила». Он злился, вспыхивала ссора. Сегодня Ада должна вернуться из Москвы, куда поехала со своей начальницей в Министерство финансов.

Секретарша доложила по телефону, что пришла Бутримович. «Пусть заходит», — коротко ответил он. Подумалось, что и секретарша относится к нему без прежнего уважения, не зашла в кабинет, а сообщила по телефону, мол, не велик пан секретарь обкома.

В кабинет вошла высокая полногрудая женщина с большими серыми глазами, глянула как-то настороженно, поздоровалась приятным мелодичным голосом, села в предложенное кресло. Сперва она прижала к ногам широкую юбку и сделала это красивым, грациозным движением, а потом мягко опустилась в кресло.

— Вы же записались вдвоем...

— Да. Муж не смог. По уважительной причине. Знаете, как теперь бывает. С утра напился — день свободен. Просила, молила, ради бога, не пей, потерпи. Нет, не выдержал. Сам же посоветовал сходить к вам. Как-то вы у них выступали. Ну, в университете. Ему понравилось ваше выступление. Поверил он. Ну, что вы поможете...

Женщина смолкла. Будто осеклась или испугалась того, о чем сказала незнакомому человеку.

— А в чем суть? Чем я могу помочь?

Взволнованно, с повторами, с перескоками с одной темы на другую, вот о чем рассказала женщина.

Валентина с детства любила музыку и пение. Окончила музыкальное училище, преподавала музыку и пение в школе. Была веселая. Заводная. Всюду — душа компании. Вышла замуж за Юрия — физика, молодого преподавателя университета, который окончил аспирантуру, готовил кандидатскую диссертацию. Родился сын, потом — дочь. Казалось, семья счастливая, дружная, все идет как надо. Дети подрастали, Валентина все чаще ощущала неудовлетворенность жизнью. Неудовлетворенность мужем. Ей хотелось ласки, нежности, а муж, уткнув нос в книги, конспекты, то дома сидит, то на целый вечер уходит в библиотеку. Нашла Валя любовника. Потом второго. Третьего. И все было мало. Жажда любви не давала роздыха...

Видимо, Андрей Сахута очень внимательно слушал, сочувственно качал головой, поскольку женщина этак разговорилась, ее потянуло на такую искренность и открытость, что он готов был покраснеть. И в глубине души чувствовал себя неловко, потому что никогда ничего подобного не слышал от женщины.

— Вы можете не верить. Но порой я места себе не находила. Так хотелось побыть с мужчиной. Тогда и нарушилась моя психика. Я оказалась в психбольнице. Дети — школьники. А у матери крыша съехала. Юрий и за детьми смотрел, и ко мне почти ежедневно приезжал.

«Вот почему ты такая открытая и искренняя. Разве ж нормальный человек о таком скажет?» — подумал Андрей, всем своим видом выказывая сочувствие и внимание.

— И так продолжалось несколько лет, — рассказывала женщина дальше. — Диссертацию Юрий так и не защитил. То дети были маленькие. А то жену пришлось спасать. И он спас меня. Помалу я успокоилась. Как люди говорят: перебесилась. Дали инвалидность. Пенсию назначили. Дети выросли хорошие. Сын окончил юрфак. Теперь занялся коммерцией. Дочка — врач-стоматолог. Вышла замуж. Сына имеет. Муж заботливый, трудолюбивый. Не пьет, не курит. Живут душа в душу. Все кажется, хорошо. Одна беда — Юра мой втянулся в водку. Да уж так распился. На собачий хвост. Ректор предупредил: еще раз попадешь в вытрезвитель — выгоню. Выходит, я сломала ему жизнь. Меня вытащил из ямы. А сам туда свалился. Гибнет на глазах.

— Ну, зачем вы так? Иметь хороших детей — разве это не радость? Это важней любой диссертации. Вы все понимаете, все делаете, чтобы спасти его.

— Я готова жизнь ему отдать, — сквозь слезы исповедовалась женщина. — Слушайте дальше. Решили мы построить в деревне дом. Разрушили старый. Юра и не притронулся ни к чему. Наняла людей. Сын дал денег. Уже накупила пиломатериалов, кирпича, цемента. У меня столько энергии, желания. Могу горы свернуть. И всюду одна. Все сама. Не хочет муж помогать. Бог с ним. Не лежит у него душа к этой стройке. Он говорит: я устал жить.

Понимаю. На его долю столько свалилось забот. Пришлось крутиться как Марку по пеклу...

«Вот тебе ГКЧП. Человеческая драма», — грустно подумал Сахута, понимая, что он бессилен помочь. Ректор новый, малознакомый, да и сколько может терпеть любой ректор? Секретаря парткома знает лучше, а что может сделать тот? Позовет на беседу. Пожурит. Человек послушает. Выйдет от него и снова напьется. Как не выдержал сегодня...

— Со стройкой я справлюсь. Но тут выскочила проблема. Председатель сельсовета уперся: ставь дом на месте прежней хаты. А я хочу поставить новый дом напротив. Через дорогу. Место там свободное, более высокое. А дом я хочу с этой... масандрой. От, черт ее дери, все путаюсь — с мансардой. Приедут дети, внуки. Чтобы хватило всем... А где стояла старая хата — место низкое. Там такие помидоры будут расти! Загляденье! Может вы бы позвонили в райком или райисполком? Неужели это неразрешимая проблема?

— Это мы решим, — повеселел Сахута. — Знаю там районное руководство. Думаю, это уладим. Валентина Игнатьевна, мне кажется, ваша энергия, ваше желание построить дом для внуков должны заинтересовать и мужа. Депрессии приходят и уходят. Жизнь побеждает. Ваша любовь должна победить. Он спас вас, а теперь вы спасете его. Ну, понятно, понадобится и терпение, и любовь, и нежность. Недавно в одной газете прочитал, что поцелуи очень полезны. Так вот. Я и подумал: наши родители газет не читали, а про поцелуи все знали. Я уверен, что у вас все наладится.

— Ой, Андрей Матвеевич, знаете... Ну, как вам сказать? Я всегда хотела, чтобы в семье был лад. Да не получается. А теперь у меня больше уверенности. Вы вернули мне веру. Я вам очень благодарна. Время теперь смутное. Неизвестно, что случится завтра. Пускай и у вас все будет хорошо.

Валентина поднялась, высокая, красивая, полная женской привлекательности. Никак не верилось, что это бывшая штатная пациентка психбольницы. Она хочет построить дом, чтобы доказать всем, что не дура, не «чокнутая», а нормальная, практичная, хозяйственная. И, как раньше, красивая.

Как только она вышла, Андрей бросился к телевизору: а вдруг в Москве что произошло. Но тут же открылись двери — вошел высокий сутуловатый мужчина в очках, седовласый, с красным обветренным лицом. Художник Виктор Грищенко. Сахута знал его уже давненько. Они познакомились, когда Андрей работал в райкоме. Однажды долго беседовали, когда возвращались с семинара из Слуцка. Года два назад, видимо, по команде из Москвы, местные идеологи начали возить творческую интеллигенцию в передовые колхозы, в лучшие районы, чтобы творцы своими глазами увидели высокие достижения социализма с человеческим лицом.

С первым семинаром, который проводился на Брестчине, случился курьез. Пригласили многих известных литераторов, художников, артистов, режиссеров. Семинаром должен был руководить сам первый секретарь ЦК. Все приглашенные охотно согласились поехать на Брестчину, список получился слишком длинный. Когда его положили на стол первому, он поморщился, нахмурился, заерзал в кресле, будто оно стало жестким, и коротко приказал: «Подкоротить!» Вот тогда Виктор Грищенко и позвонил в обком Сахуте:

— Ну что это делается? Пригласили на семинар. Я согласился. Отложил все свои дела. А сегодня позвонили из Союза художников: простите, вас в список не включили. Безобразие!

— Виктор Иванович, не обижайтесь. Ваш Союз тут не виноват. Не смогли взять многих известных людей. Даже главного редактора «Вожыка» не включили в список. Остался дома.

— Ну, хрен с ними, — повеселевшим голосом ответил художник. — Зато из моей головы ежика вы прогнали. А то шевелится мысль-заноза, колется, будто ежик: почему не взяли меня? Кто вычеркнул? Вы успокоили.

Удовлетворен разговором остался и Сахута: он считал, что успокоить человека, поддержать в нем душевное равновесие — очень важно. Особенно для человека творческого, ибо ничего стоящего не напишешь, не нарисуешь, не создашь, если на душе кошки скребут, когда точит ее червяк сомнения, если в душе нет гармонии и согласия.

Сахута поднялся, выключил телевизор, подал руку гостю.

— Что там, в Москве? Может, пусть работает телевизор?

— Нет, Виктор Иванович, вы ж пришли ко мне не телевизор смотреть. Наверное ж, дома есть свой, как когда-то писали, голубой экран. Садитесь, рассказывайте. Какие у вас проблемы? — Сахута пригласил гостя за маленький приставной столик, сам сел напротив. — Слушаю вас внимательно, Виктор Иванович.

— Телевизор у меня, конечно, есть, да редко включаю его. И знаете почему?

— Ну, почему? — повторил вопрос Сахута, пристально взглянул на своего собеседника, не понимая, к чему он ведет разговор.

— Страшно включать. Убийства, насилие. Кровь льется с экрана. А посмотрите на афиши кинотеатров! А загляните на вернисажи. Ужас что творится! Чернуха, порнуха, безвкусица правят бал. Вот поэтому я с надеждой услышал сообщение о ГКЧП. Надо наводить порядок. Но поглядел на заговорщиков... Ну, пресс-конференцию послушал. Видно, ничего у них не получится. Ситуация в стране ужасная. Кризис разрушает экономику. Упадок морали. И знаете, Андрей Матвеевич, не базис виноват, а надстройка. Простите за эту марксистскую формулировку. Утрата духовности. Пренебрежение извечными традициями.

— Виктор Иванович, верно говорите. Я разделяю вашу тревогу, вашу озабоченность.

— Вы, может, и понимаете, а ваше начальство... Высший эшелон власти — вряд ли. Нас ждет погибель, если не начнем возрождать культуру. Мы взрастили человека плотского, который существует по-животному.

— Я не согласен. Это не так.

— Минуточку, Андрей Матвеевич, я не закончил мысль. Дело в том, что наша идеология была направлена не на жизнь... полноценную, полнокровную человеческую жизнь, а на борьбу за светлое будущее. И наиболее полное удовлетворение потребностей населения.

— Беда в том, что нам не удалось полностью удовлетворить эти потребности, — довольно резко сказал Сахута, поскольку его начала злить ученая демагогия гостя. Пришел на прием, так говори, чего ты хочешь, а не напускай тумана. Тут и так кошки на душе скребут.

Вдруг резко зазвонил телефон.

— Слышал новость? — спросил Петро Моховиков. — Так вот, позвонили из Москвы, с центрального телевидения. ГКЧП арестовано. Путч провалился. Если бы они победили, были бы героями. А так — путчисты. Как писал когда-то венгр Шандор Петефи: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Авантюристы, даже имея власть, не смогли ничего сделать. Какие сегодня планы? Давай встретимся.

— Трудно сказать. У меня человек сейчас. Позже перезвоню.

Виктор Иванович понял, что известие важное, поскольку на лице хозяина кабинета отразилась тревога.

— Может, про Москву что? Про ГКЧП?

— Да, путчисты арестованы. Недолго музыка играла...

Художник почти теми же словами, что и Петро, принялся поносить авантюристов, бездарных организаторов, закончил с усмешкой:

— В народе говорят: не можешь укусить, не показывай зубы.

— Да, у путчистов хватило смелости только на свисток. Так что вы хотели от меня?

— Я насчет мастерской. Некогда вы обещали помочь. Помните, как из Слуцка ехали. Потом по телефону говорили. Трудно мне подниматься на седьмой этаж. На куриный насест. Уже шестьдесят лет скоро. Если бы ближе к квартире. И горсовет обещал, — художник вздохнул, помолчал. — Раньше не смогли помочь, так теперь тем более. Давайте напишу ваш портрет. У вас теперь будет полно времени, — вдруг резко поменял тему Грищенко, сменился и тон его речи. — Вот и мастерскую мою посмотрите. Новые работы. Чернобыльские.

— Ой, мне сейчас не до портретов, — искренне признался Сахута. — Да и слишком грустный будет портрет.

— Так это ж естественно. Мы ж из отселенных чернобыльских деревень. Про ГКЧП вспоминать не будем. А впрочем, знаете, Андрей Матвеевич? В моей башке сидит, будто заноза, крамольная мысль. Может, и Чернобыль, и ГКЧП — звенья одной цепи.

Эти слова буквально ошеломили Сахуту: о чем-то подобном думал ночью и он. Вида не подал и, чтобы быстрей спровадить гостя, согласился позировать ему.

— Когда начнем? Давайте завтра.

— Нет, завтра не получится. Я не знаю, что будет завтра...

— Не горюйте, Андрей Матвеевич. Жизнь на этом не кончается. За внимание спасибо. А вдруг и поможете. Может, в Советы перейдете на работу. Жизнь такие крутые зигзаги совершает. Как погоны у генерала: одни зигзаги и ни единого просвета, — ухмыльнулся Грищенко и тут же добавил: — Но будем надеяться на просвет в конце тоннеля.

Художник крепко пожал Андрею руку, будто понимал, что теперь он должен утешать хозяина этого шикарного кабинета, который, возможно, сидит в своем кресле последние дни.

Вслед за художником Андрей вышел в приемную. Посетителей больше не было. Исчезла и секретарша. В коридоре тоже ни души. Андрей Сахута шагал по толстой красной дорожке, и его шаги будто тонули, глохли. Показалось, что коридор начал качаться, словно палуба теплохода в шторм. На военных кораблях ему плавать не приходилось, а на теплоходах путешествовал, даже круиз вокруг Европы посчастливилось совершить.

В коридор выглянул высокий, дебелый мужчина — заведующий одного из производственных отделов обкома. Увидев Андрея, окликнул:

— Слышал, Матвеевич? ГКЧП ляснулся. Ну и мудаки! Имея всю власть, с одним горлопаном не смогли справиться. Алкоголики, чтоб их. Так что, кончен бал. Погасли свечи.

Он направился к выходу, держа под мышкой картину в красивой багетной рамке.

Андрей вернулся в приемную. Секретарша так и не появилась. Ушла, ничего не сказав, видимо, поняла, что ей придется искать новую работу. Вошел в кабинет, такой привычный, как ему казалось, довольно уютный. Посмотрел на телефоны, на так называемую вертушку, по которой мог позвонить на самый верх — первому секретарю Компартии Беларуси. Они — эти телефонные аппараты — были символами его власти. Он мог позвонить

в любой район области, и местные начальники слушались, боялись, воспринимали его просьбы как устные поручения, старались выполнить. Так было раньше. Года два-три тому назад.

Но постепенно уважение к партии слабело, доверие к ее функционерам как будто усыхало, как усыхают под солнечными лучами красавцы грибы. Внезапно мелькнула мысль, что он сам, Андрей Сахута, в последнее время напоминал гриб-мухомор, который высовывался на глаза, красивый, яркий, крикливый: берите меня! Но никто не брал. Ощущение своей ненужности, неполноценности, впервые у него возникло год назад, когда проиграл выборы в Верховный Совет Беларуси. И кому? Сморкачу, районному газетчику, который боролся с бюрократами, хапугами, и хоть выше критики председателя колхоза, бригадира или заведующего фермой в своих фельетонах не поднимался, этого хватило, чтобы добыть славу борца с коррупцией. Его больше знали, вокруг были свои, а Сахуту люди воспринимали как партийного функционера, «идеолуха», как пренебрежительно начали называть идеологических работников.

Сахута и выдвигался в депутаты без особой надежды, но первый секретарь обкома решительно сказал:

— Надо, Андрей Матвеевич. В районах области ты не работал. Ни в чем не замешан, не запачкан. В Минске пройти куда трудней. А на районе ребята посодействуют — под «ребятами» он понимал районных аппаратчиков. — Поедешь, поговоришь с людьми. Язык у тебя подвешен. Товарный вид имеешь. Женщинам понравишься. А они самые активные избиратели. Мужчины то запьют, то загуляют, а то проголосуют так, как жена подскажет. Так что — вперед, Андрей Матвеевич.

Районные аппаратчики, свои «ребята» обещали поддержку секретарю обкома. Согласно социологическим опросам, он был первым среди конкурентов. Во второй тур вышли двое, Сахута набрал больше голосов, чем районный журналист. Но ветер уже дул не в его паруса. Партию ежедневно клевали в газетах, шпыняли на митингах. Резко сократился приток молодых коммунистов. Рядовые работяги начали сдавать партийные билеты своим вожакам, утратившим былой авторитет и уважение.

Андрею на всю жизнь врезался в память первый большой митинг на минском стадионе. Было то 19 февраля 1989 года. Надо ж, такое совпадение: тогда было 19-е и ГКЧП грянул 19-го. Тогда был светлый зимний день, воскресенье, народ собирался, будто на праздник. А на душе у Андрея было тревожно и мрачно. Дня за три до этого события вызвал первый секретарь:

— Нужно посоветоваться. Кому из партийцев выступать на митинге. Сверху советуют подобрать двух ораторов. Мужчину и женщину. А может бы сам сказал?

— Сказать можно. И есть о чем. Но как воспримут? Могут освистать. На весь обком падет тень.

— Выступить надо так, чтобы не освистали. Оно, конечно, райкомы ближе к людям. Мне кажется, секретарь Московского райкома может выступить прилично. Подготовь с ним речугу. Минут на десять. И чтоб без лишнего пафоса, без трескотни. Теплей, по-человечески...

— Хорошо, сделаем. А то, что Московский... Не вызовет ли это негативную реакцию? БНФ сразу поднимет гвалт.

— Бэнээфовцев горстка. А народ Москву любит. Русские для белорусов — родные братья. Это политика. — Первый важно поднял вверх указательный палец, будто намекал, что «эту политику» подсказали сверху. — И пусть выступает по-русски. По-белорусски вряд ли у него окажется хорошее произношение.

Сахута понял, что прекословить не приходится. Речи написали. Авторам показалось: все учли, должно прозвучать. Но партийца освистали, потому что начал говорить по-русски, второму тоже не дали договорить. Однако Сахуту его прозорливость не обрадовала. А вот Петро Моховиков, с которым рядом стояли на митинге, искренне порадовался. Тогда друзья впервые крепко поссорились.

Телефонный звонок прервал Андреевы воспоминания. Он снял трубку. Услышал голос жены:

— Ну, ты уже знаешь? Арестовали этих... Ну, путчистов.

— Знаю. Как съездила?

— Ой, это долгий разговор. Приезжай домой. Не сиди там. Уже ничего не высидишь.

Последние слова, которые и раньше говорила Ада, на этот раз особенно больно царапнули по сердцу. Он молча положил трубку. Тяжело вздохнул. Почувствовал, как зашумело в висках, будто застучали молоточки. Достал из сейфа начатую бутылку коньяка, налил треть стакана, не смакуя, выпил одним духом, не ощутив аромата хорошего напитка, пожалел, что нет лимона, закинул в рот мятную карамельку. Снова оглядел кабинет: матово-желтые стены, репродукция картины «Ленин читает “Правду”» — над столом. На другой стене висел городской зимний пейзаж: дети на саночках катались с горы. Ни одну из картин взять домой желания не было. Интересно, какая же картина висела в кабинете коллеги? Андрей редко переступал порог того кабинета. А вот его хозяин заходил к Андрею частенько. Особенно когда начались митинги, забастовки. И начинал разговор привычной фразой: «Ну что, Матвеевич, куда несет нас рок событий?» — «Куда? Вперед и вверх». — «Шутишь. Ну-ну... Допрыгаемся мы. Будем смеяться сквозь слезы». — «Думаю, что ты не пропадешь». — «А почему я должен пропадать...» На этом обычно разговоры заканчивались. В конце концов Андрей вспомнил: в кабинете коллеги висела картина Левитана «Березовая роща». И помещалась она сбоку от двери. Чтобы не бросалась в глаза посетителям. Когда увидел ее впервые, то позавидовал коллеге, который любуется этакой красотой. Кто-то из его предшественников имел хороший вкус и повесил не портрет литейщика или пейзаж с трактором на вспаханном поле.

Вновь отозвался городской телефон, в трубке послышался голос водителя:

— Андрей Матвеевич, какие у вас планы? А то мне надо отскочить в одно место. С вашего разрешения, — после паузы добавил Эдик.

— Подъезжай к шести. Подбросишь меня домой — и свободен. Можешь отскочить куда надо.

Тут же в кабинет просунула накрашенное личико секретарша, уже не первой молодости женщина, попросила, чтобы отпустил ее пораньше.

— Хорошо, идите.

Секретарша переступила порог кабинета, вздохнула:

— Андрей Матвеевич, что с нами будет? Как вы думаете?

— Поживем — увидим. Что миру, то и бабьему сыну, — заставил себя улыбнуться.

Секретарша попрощалась, осторожно прикрыла дверь. Интересно, что она потащит домой? Ходили слухи, что свою двухкомнатную квартиру, в которой жила с сыном, превратила в мебельный склад: все дефициты ей были доступны. В голосе секретарши послышались ему нотки то ли грусти, сожаления, то ли затаенной радости: достукались партийцы, разгонят всех, выметут метлой из кабинетов.

«Придется тебе, голубушка, продавать свои дефициты, пока найдешь работу, нового хозяина, — подумал он. — Хотя такая не пропадет. У нее половина города знакомых и подруг».

Андрей Сахута механически выдвигал ящики стола, некоторые бумаги выбрасывал в урну. В самом нижнем ящике лежал противогаз в брезентовой сумке. Разве что сумку взять? Было в ящиках и множество книг, больше всего на партийно-политические темы, хотелось метать их в урну, но передумал: к чему? Кто-нибудь заберет на макулатуру.

Книги стояли на полках шкафа под стеклом. Взял темно-синий том Николая Бухарина. Приобрел не так давно, некоторые статьи прочитал с карандашом. Полистал, увидел свои пометки. Особенно много имелось их на страницах стенограммы выступления Бухарина на объединенном пленуме УЦ и ЦК ВКП(б) в апреле 1929 года. Выступление длилось около шести часов. Бухарин полемизировал со Сталиным, Орджоникидзе, Микояном, Ворошиловым, отстаивал свои позиции, боролся за чистоту марксизма.

Углядел свою пометку над цитатой из «Капитала» Маркса:

«Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих — такова была утренняя заря капиталистической эры производства». Сильно сказано. И все правда. А теперь капиталисты обвиняют коммунистов в жестокости, в репрессиях, и начнем мы строить капиталистический рай. Не смогли построить социализм с человеческим лицом. Будем возрождать капитализм с американской улыбкой.

На последней странице стенограммы бросилась в глаза пометка напротив строк, в которых говорилось про заметку в «Правде» с отчетной Выборгской конференции. Бухарин критиковал публикацию, цитировал из нее слова: «Делегаты требуют твердой борьбы с правой опасностью, резкой политики со стороны ЦК к колеблющимся и примиренцам, к раздумывающим». В скобках указано: смех. Так и смех, и горе. Вот эта-то «резкая» политика «к раздумывающим» и довела до ГКЧП, до бездумной политики во всех сферах жизни.

Томик Николая Бухарина положил в портфель. Что еще взять? На журнальном столике лежал раскрытый «Беларускі каляндар». Его Сахута читал с интересом, хоть и не был сторонником белорусскости, считал нормальной практикой, что рабочий язык партии — русский, так, мол, все лучше понимают. Тут и начались его расхождения с другом детства Петром Моховиковым. Тот готов был хлопать в ладоши каждому слову Зенона Позняка. Вот, уж радуются бэнээфовцы провалу путча в Москве. Еще сильней будут кричать о самостоятельности Беларуси. А может, и надо? Может, и нас отучили в свое время «раздумывать»?

На развороте — двух страницах календаря — так поместились данные про пять дней: с 19 по 23 августа. В левом уголке одной страницы был цветной герб города Дрисса, сообщалось, что город получил герб 210 лет тому назад, что теперь Дрисса — это Верхнедвинск. А зачем было менять старинное название? Дриссенский район. Разве плохо звучит? Так нет же, какой-то твердолобый партийный босс приказал «убрать родимое пятно», и исполнительные власти взяли под козырек. Вспомнил, как его витебский коллега, партийный идеолог, злился: до чего дожились — тысячу лет с гаком витебляне называли себя витеблянами, а теперь кому-то в ЦК, будто бы самому Машерову, это слово не понравилось, поскольку его средняя часть «бля»

напоминает нецензурщину. И было высказано «пожелание» использовать только слово «витебчане». Андрей рассмотрел герб города: всадник на белом коне с мечом. Красивый герб!

На этой же странице справа — стихотворение Максима Богдановича «Погоня». Он прочитал один раз, потом второй, третий. Читал и все больше удивлялся: как сильно написано! Он представил, как в белой пене мчат кони стародавней литовской «Погони», и, будто заклинание, прошептал:

Мо яны, Беларусь, панясліся
За тваімі дзяцьмі ўздагон,
Што забылі цябе, адракліся,
Прадалі і аддалі ў палон?

Біце ў сэрцы іх — біце мячамі,
Не давайце чужынцамі быць!
Хай пачуюць, як сэрца начамі
Аб радзімай старонцы баліць...[1]

Недаром Петро Моховиков молится на Богдановича. А я так мало его читал, укорял себя секретарь обкома по идеологии Андрей Сахута. Засунул в портфель календарь, еще несколько книжек, бутылку коньяка, чтобы дома выпить с Адой за победу демократов.

Хроника БЕЛТА, других мировых агентств, сентябрь, 1991 г.

3 сентября. Москва. *Официальные обвинения на основе статьи 84 Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине) сегодня предъявлены семи главным организаторам государственного переворота в СССР.*

4 сентября. Лондон. *Газета «Санди Таймс» напечатала выдержку из подготовленной к печати книги Раисы Горбачевой «Я надеюсь», которая должна выйти в издательстве «Харпер Коллинз».*

5 сентября. Пхеньян. *Несмотря на бурные события в СССР, КНДР «без колебаний будет идти по пути социализма корейского типа», — заявил секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Сун.*

8 сентября. Санкт-Петербург. *Жители Ленинграда проснулись 7 сентября в новом историческом измерении: бывшей российской столице возвращено первоначальное имя — Санкт-Петербург.*

---

[1] Иль они, Беларусь, полетели
За твоими сынами вдогон,
Что забыли тебя, проглядели,
Отреклись и отдали в полон?

Бейте в сердце их — бейте мечами,
Разбивайте холодный гранит!
Пусть узнают, как сердце ночами
О родимой сторонке болит…

(Перевод А. Тявловского)

III

Проснулся Петро рано, окна еще только начали розоветь. «Как уменьшился день», — мелькнула первая мысль в затуманенной ото сна голове. Спал он тревожно, вчера поздно смотрел телевизор. К тому же сегодня поедет в город: надо забрать Еву с Иринкой на выходные. А это уже тревога, как всегда перед дорогой.

Выехал в половине шестого. Петро любил утренние поездки в город. Дорога свободна, ни жары, ни зноя, свежий ветерок веет в лицо, кажется, и машина мчит легче и быстрей, будто застоявшийся конь.

Ехал и невольно вспоминал недавнее утро минувшего понедельника, когда услышал сообщение про ГКЧП. Тогда им овладело какое-то двойственное чувство тревоги и надежды. Думалось, что эта авантюра может кончиться гражданской войной. Если Горбачева отстранят от власти, то вновь вернется все прежнее, а это конец белорусскому Возрождению. Но вызревал и росток надежды: может, в Кремле наконец поймут, что надо дать больше свободы и самостоятельности республикам. Вот уже и белорусский язык получил статус государственного, на митингах развеваются бело-красно-белые флаги, над головами людей вздымается национальный белорусский герб «Погоня». Назад в стойло не загонишь.

Но волновало и другое: в студийных коридорах все чаще слышались разговоры о возврате к капитализму. В глубине души в нем еще крепко сидел тот самый «советский простой человек», воспитанный, выпестованный всем устроением советской жизни: пионерской, комсомольской и партийной организациями. В летном училище Петро добросовестно проштудировал «Капитал» Маркса, читал ленинские произведения, отлично выступал на политзанятиях. Только в последние пять-семь лет у него открылись глаза, и он перестал любить песню: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». Союз — это хорошо, но перво-наперво у человека должен быть свой дом и своя улица, своя матерь-Родина. Иначе это не человек, а перекати-поле, без корней, без родного дома и улицы, и катится он туда, куда погонит сильный ветер. Петро это понял, когда перечитал Купалу, Богдановича и Короткевича. Особенно его поразил «Статут Великого Княжества Литовского» — первый свод законов в Европе. Немало и других книг по истории родного края прочитал Петро Моховиков. И тогда он ощутил себя белорусом, сыном замечательного народа, который имеет многострадальную историю, древний мелодичный язык, который живет на прекрасной земле, где тысячи голубых озер и криничных рек, по берегам которых шумят белоствольные березовые рощи, смолистые сосновые боры и величественные заповедные дубравы.

Но вся прежняя жизнь Петра Моховикова держала его незримыми нитями, как держит муху паутина. И он верил бывшим антисоветчикам, диссидентам Александру Зиновьеву и Владимиру Максимову, что социализм себя не исчерпал, не раскрыл свои способности, возможности. Да и сам Петро частенько рассуждал: вон китайцы строят социализм, накормили, одели свою сверхмиллиардную семью, нас уже кормят тушенкой. И генсек у них сидит на месте, и политбюро управляет. А это ж страна не с куцей, как у американцев, историей, а с тысячелетней, чуть ли не самой древней в мире культурой. Почему же наша перестройка привела к распаду, к ГКЧП, которое позорно ляснулось? Почему выродились, измельчали партийные лидеры?

Быстро мчал «жигуленок», а мысли летели еще быстрей. О многом успел подумать Петро Моховиков за неполный час дороги. Доехал быстро. Тихо обрадовался, что во дворе его любимое место было свободно. Машина будет

стоять, как пани, в теньке молодой развесистой березы. В конце дня он посадит жену, дочушку, и поедут они в деревню, которая уже стала родной. Что ж, если вправду родные Хатыничи оказались в чернобыльской зоне, да и далеко они — часто не наездишься.

Ева уже собиралась на работу, Иринка крепко спала. Петру захотелось поцеловать ее личико, но побоялся разбудить.

— Ты помидоры поливал? Или забыл? — как всегда, спросила Ева.

— Милочка моя, ну конечно! А кто ж будет поливать кроме меня? Огурцы посохли. Что поделать, конец августа. Некоторые еще зеленые. Сегодня была очень густая роса. Для огурцов это хорошо, а для помидоров не очень.

Выпили по чашечке кофе. Петро проводил Еву до троллейбусной остановки, потом сам через лесок побежал на озеро. Вода была уже довольно холодная, зато придавала больше бодрости. Назад бежал легко, хорошо разогрелся. «Вот тебе курорт в лесу, — подумал Петро. — Не нужно ехать на Черное море, цены бешеные, путевок не докупиться». Дом в деревне, работа на грядках в свободное время, чтоб только без надрыва и чтоб не было больше ГКЧП, да зарплата побольше, то и жить можно.

Когда вернулся домой, дочка по-прежнему спала, подложив руку под голову, лишь повернулась к стене.

Он принял душ и только вышел из ванной комнаты, как затрезвонил телефон. По привычке глянул на часы, стоявшие возле телефона, — была половина десятого.

— Здоров, Петро Захарович! Я так и знал, что прикатишь сегодня. Не высидишь в деревне, — послышался хрипловатый голос его заместителя Евгена.

— А что случилось? — Петро хоть и был в законном отпуске, но все равно часто думал о своей редакции.

— Ну, ты же знаешь ситуацию. Хунту арестовали. Все у нас выходят из партии.

— Как — все? И ты, парторг, тоже?

— А что я — лысый? Один в поле не воин. Главный режиссер наш вчера бросил партбилет на стол. Кто выходит из партии, кто приостанавливает членство. Короче, сегодня партсобрание в три часа. Приходи.

Петро слушал и не мог поверить ушам, хоть и понимал, что все шло к этому, но чтобы так быстро и резко все повернулось, такого развития событий не ожидал. Но идти на собрание не было никакого желания. Да и ради чего? Бросать партбилет на стол он не собирался, писать заявление о выходе — тоже.

— Наверное, на собрание не приду. Ну что ж, и я тогда приостанавливаю членство, как ты говоришь. Вот и докатились. Ну, а какие новости на студии?

— Какие новости? Все новости идут из Москвы. Наш парламент завтра начнет заседать. Там будет драчка... А на студии тихо. Ты ж программу видишь. Наших передач не ставят. Ну, отдыхай. Об этом не думай. Есть грибы?

Петро похвастался, что на днях набрал полкорзины боровиков. Заместитель шумно вздохнул в трубку, произнес:

— Ну, может, в сентябре и на мою долю что-то вырастет в лесу. Если не боровики, так зеленки да рыжики.

На этом попрощались. Петро положил трубку и стоял словно в оцепенении. Рой мыслей взвихрился в голове. Почти тридцать лет был он в партии. Невольно всплыло в памяти, как когда-то вступал в кандидаты в летном училище, как волновался. А сколько раз выступал с докладами на собраниях, сколько писал протоколов! И все коту под хвост. Сколько взносов платил, сколько времени прозаседал! Но если б не был членом партии, не назначили

бы главным редактором. Это теперь руководить литературно-драматической редакцией определили беспартийную поэтессу.

И еще мелькнула мысль: может, эта заваруха в Москве и делалась ради того, чтобы обвинить партию в государственном перевороте да и разогнать. Петро сам испугался крамольной мысли.

Он приготовил крепкого чаю второй раз, теперь уже с дочкой позавтракал. Она сказала, что пойдет с подружками в Ботанический сад.

— Теперь там море цветов. Говорят, и лебеди появились.

— Возьми с собой блокнотик. Что заинтересует — запиши.

Снова зазвенел телефон: подруги звали Иру в свою компанию.

Отправил дочку и сразу потянулся к дипломату, который возил и в деревню: книжку какую положить удобно в него, бутылочку пива или чего покрепче. Возил в нем и свой дневник, в котором временами делал записи. Но тут такие события! И недавний звонок из студии. Вот он уже и беспартийный, пусть себе — временно, а может, и навсегда.

Развернул дневник — толстую тетрадь в твердой вишневой обложке. Для разгона захотелось почитать вчерашнюю запись.

22 августа, четверг. *ГКЧП ляснулся. Вспоминаю то утро, 19-го неожиданное сообщение, будто камень с горы, потом концерт «Вижу чудное приволье...». А сегодня гэкачеписты уже арестованы. Даже переворот не смогли сделать. Ельцин заявил, что генерал-майор, командир Тульской дивизии, которому было приказано захватить Верховный Совет России и его, Ельцина, вместо этого приказал защищать здание, парламент, откуда вела передачи радиостанция... Все прогнило, если КГБ, армия, милиция — все три силовых министра оказались бессильны, не смогли совершить переворот. Слабаки! А народ мог бы поддержать их, поскольку на референдуме большинство высказалось за Союз. Зная это, могли действовать решительно, а у них руки тряслись, будто после сильного перепоя. А может, оно так и было?*

По телевидению объявили, что через несколько минут начнется пресс-конференция Горбачева. И тут же начался концерт «Земля моя — святая Русь». Бедная Русь! Земля богатейшая. Люди трудолюбивые, доверчивые, искренние. Довели коммуняки до нищеты...

Три дня назад была пресс-конференция Янаева и «хунты», а сегодня уже на экране Горбачев. И сразу его как прорвало: антиконституционный переворот, организованный реакционными силами, которые были в ЦК и в министерствах, которых я выдвигал, которым доверял... Держали 72 часа в изоляции, рассказывает со смаком, как ловили радио Би-би-си — смех среди журналистов. Хунту не признали в мире, только Каддафи, Хусейн и... Рубикс, латышский партийный лидер. Горбачев тут же начал поносить Рубикса, смешал с грязью. Стоит ли это делать вчерашнему генсеку, поскольку сам со своими соратниками выдвигал его. И снова болтовня, болтовня... Недостает Михаилу Сергеевичу чувства меры. Не стоило проводить пресс-конференцию в таком ключе. Телеэкран беспощадно высвечивает фальшь, дурость.

В программе «Время», особенно в российских «Вестях», клеймят фашистов-путчистов, оборотней. Выходит, председатель Верховного Совета СССР — бывший однокурсник Горбачева, фашист, министры, секретари ЦК КПСС — все фашисты. А если б переворот удался, все было б конституционно! Какой позор! Выступают А. Яковлев, Шеварднадзе. Ликуют! Победа демократии. Теперь, мол, союзный парламент должен самораспуститься, как и КПСС. Спектакль театра абсурда.

Петро перечитал свои заметки, и ему показалось, что это было не вчера, а раньше. Хоть и не искал слов, не думал, как лучше подать, а просто для себя записывал впечатления, а сегодня прочитал с интересом. Правду говорят, что любой дневник — это человеческий документ.

Какой год! И начинался он с «Бури в пустыне» — войны в Ираке. Петро невольно начал листать самый толстый кондуит, отыскивая новогодние записи. Открылись страницы накануне нового года, и в каждой записи тревога, беспокойство: что будет дальше? Про свою редакцию, про семью — скупо, а все про политику, митинги, забастовки.

А с чего все началось? Когда появились трещины в таком, казалось, монолитном здании на марксистско-ленинском фундаменте, каким представлялся Советский Союз? И вдруг все зашаталось. Рухнул социалистический лагерь, словно карточный домик. Начал вспоминать тот незабываемый митинг на минском стадионе «Динамо», после которого он впервые крепко поссорился с другом Андреем, обкомовским идеологом...

Отвернул первую страницу, а начались записи в январе 1989 года. «Значит, я тут своего рода летописец краха социализма. Верней, это субъективные заметки о конце социализма. Может, когда-нибудь напечатаю свою графоманию. А где ж про тот митинг? Состоялся он, кажется, зимой. Не в феврале ли?» Начал листать страницы, в конце концов нашел нужную.

19 февраля, понедельник. *Сегодня на стадионе состоялся митинг: около сорока тысяч человек собралось. Я шел на митинг, как на праздник. Договорились с Андреем, что я заверну к нему в обком, оттуда пойдем вместе, там рукой подать. День выдался светлый, с ветерком, легким морозцем. Возле стадиона продавали «Навіны» БНФ, там-сям развевались бело-красно-белые флаги. Центральные сектора стадиона были заполнены битком, на боковых людей меньше. На противоположной трибуне краснели плакаты. Я попросил девчат прочитать, что на них написано. «Беларускай мове — дзяржаўнасць!»[1] — молодым звонким голосом произнесла симпатичная русая девчонка. «Это мудро!» — нарочно громко сказал я. Андрей одернул меня за рукав, мол, не выпендривайся. Два дородных дядьки повернулись, косо глянули на меня, узнали Андрея, кивнули ему.*

Открыл митинг председатель горсовета, потом говорил Зенон Позняк. Говорил крайне пафосно, возвышенно, уел председателя горсовета, мол, он должен просить прощения за события 30 октября, когда на кладбище разогнали празднование Дзядов[2]. С взволнованной речью выступил Сержук Витушка: «Бюрократы, разные партократы вымрут, как мамонты. Мы придем на их место. Жыве Беларусь!» — окончил он под гул трибун. А потом дорвался до микрофона секретарь московского райкома Минска, начал на русском языке, его освистали, не дали говорить. Глянул краем глаза на Андрея — тот хмурился и кусал губы. Чудаки, партийные идеологи, неужели не могли додуматься, что выступать тут надо по-белорусски. Взволнованно, интересно, хоть и кратко, говорила заведующая детским садом о том, как они учат детей родному языку. Рабочий с «Интеграла» всыпал партийным бюрократам, будто сорвал слова у меня с языка, но он и ЦК зацепил, сказал, что «яшчо» не научился говорить по-белорусски, но активно учит родной язык. Сначала его слушали скептически, а потом скандировали: «Мо-ло-дец!» Снова вылезла партфункционерка: мол, я первая женщина среди

[1] «Белорусскому языку — государственность!»

[2] Дзяды (Деды) — традиционный день поминовения усопших у белорусов.

выступающих, и мне не станут свистеть; она учительница начальных классов, доросла до директора школы, теперь — секретарь райкома партии, она стоит горой за белорусский язык, за его государственность. Но зачем тут бело-красно-белые флаги? Зачем «Погоня»? Больше говорить ей не дали. Сначала выступающим давали по десять минут, потом — по пять. Митинг длился дольше трех часов. Люди начали расходиться раньше. Андрей потянул и меня к выходу. Вокруг группками стояла молодежь, все спорили. Мы с Андреем тоже сцепились, как никогда раньше.

Он, разумеется, поддержал райкомовскую даму: государственность белорусского языка — это правильно. Но зачем бело-красно-белый флаг, зачем «Погоня»? Я начал объяснять, что это национальные символы, а он свое: под этим флагом фашисты и полицаи уничтожали патриотов. А я говорю, что на пряжках немецких солдат было написано: «Готт мит унс» — с нами Бог, так что теперь всем верующим надо отречься от Бога, поскольку фашисты его имя испаскудили... Андрей заторопился в обком. Буркнул «Бывай здоров!» И даже руки не подал на прощание.

На троллейбусной остановке стояли два парня под бело-красно-белым флагом. К ним прицепился старик в очках: укоряет — мало вам, что ли, государственного флага, зачем фашистский? «Правильно делают ребята, — сказал я. — Это наш национальный флаг. Ему семьсот лет. Это наша история». Парни заулыбались, расцвели. А старик смолк как жабу проглотил. В троллейбусе разговорились. Ребята учатся в радиотехническом институте. У одного на лацкане куртки красивый значок «Світанак», а у второго — маленький полосатый бело-красно-белый флажок.

По-моему, митинг удался, произведет он хорошую подвижку в нашем пробуждении и Возрождении.

Вечером поднялась метель, но на завтра синоптики обещают плюс шесть, а на Брестчине — до девяти. Вот тебе и февраль! Не митингующие ли своим разгоряченным дыханием согрели природу?

Деталь, о которой чуть не забыл. Перед митингом по стадиону медленно проехали четыре большущие фуры Минского автозавода. Мол, видите, чего достигла Советская Беларусь! А может, другой подтекст: самых горячих можем запихнуть в чрево этих машин, места хватит...

Петро перечитал страницы дневника и снова поймал себя на мысли, что если бы не записывал, то многое забылось бы, осталось бы одно общее впечатление: было полно людей и был душевный порыв. Листал свой кондуит дальше и увидел дату, обведенную красным фломастером.

26 января, 1990 г. *Светлый день! Наконец принят Закон о государственности белорусского языка. Теперь постепенно, спокойно, без шума и гама надо работать. Должна возродиться Беларусь. Год назад на митинге 19 февраля я впервые увидел плакат «Беларускай мове — дзяржаўнасць!» Тогда даже не верилось, что это будет. Помогли соседи: и литовцы, и украинцы приняли уже законы о языке. Поэтому нашим партбюрократам некуда было отступать, хоть в минской «Вечерке», по радио и телевидению звучали выступления типа: я белорус или белоруска, «говорю по-русски и белорусский язык мне не нужен». Наверное, звучали такие голоса и на сессии Верховного Совета. Вице-премьер Нина Мазай сделала интересный, обстоятельный доклад, произношение у нее естественное, голос приятный, громкий. Любо-дорого слушать!*

Да, 26 января — светлый день календаря. Но есть же и другая дата: 26 апреля 1986 года — Чернобыльская авария. Между этими датами уже

почти четыре года. Чернобыль накрыл смертоносным черным крылом и мои родные Хатыничи.

А на дворе теплынь неслыханная: плюс шесть! И солнышко светит. Ласковый день. В природе потеплело, а в людских душах — холодрыга, злоба и ненависть. Азербайджан с Арменией никак не могут помириться, Грузия с Абхазией воюют, Молдавия с Приднестровьем бодаются, в Таджикистане гибнут люди. И в других странах нет покоя и лада. Поздними вечерами слушаю голоса «забугорные». Радио объединяет со всем миром, таким противоречивым, таким маленьким и таким большим. Разнообразным и единым в своей трагичности.

15 марта, четверг. *Впервые вчера услышал серьезную, аргументированную критику Горбачева: непоследовательность бросается из одной стороны в другую, за неудачную антиалкогольную кампанию, подорвавшую экономику страны, за межнациональные конфликты, порочение армии. И критиковал генсека депутат-коммунист из Кузбасса. Он отметил, что писал в ЦК КПСС в 1985 году, высказывал тогда критические замечания. Еще три оратора щипали Горбачева. Было предложение избрать президентом Бакатина. Он дважды выступал, отказывался. Да что они там — сдурели? Нашли деятеля! Собчак облил грязью премьера Рыжкова, других членов правительства — сделано сознательно, чтобы выбить Рыжкова из претендентов. Он испугался, снял свою кандидатуру. И остался Горбачев один. Снова выборы без выбора.*

Что будет дальше? Очень острая ситуация в стране. Самое тяжелое время переживаем. Одну систему рушим, хоть она и упирается. Создаем другую. А лучшую ли?

Пишу на работе. Никто меня не беспокоит, программа забита официальными передачами, все смотрят заседания съезда Советов. Это бесплатная «шпектакля». Не оторваться. Горбачевская гласность в действии. Он ее породил, она его и погубит.

Надоел телевизор, слушаю трансляцию по радио, поскольку сценарии надо читать. Заседание съезда назначено на десять. Испуганный комментатор говорит, что уже шесть минут одиннадцатого, а президиума нет. Может, не набрал Горбачев нужного количества голосов? Или завалили его в конце концов? В десять ноль восемь появляется. Все-таки прошел — набрал 59 с чем-то процентов. Может, схимичили? У нас это умеют.

Вчера депутат из Донецка сказал: я складываю свои полномочия, моя программа не выполняется, бюрократы и жиды, — так и прозвучало,— доведут страну до развала...

Поживем — увидим, что будет дальше. А я между тем думаю, где и когда буду сеять гречку.

19 марта, понедельник. *Какая теплынь! Вчера с Евой ездили в деревню. Обрезал старые яблони и так усердствовал, что сегодня не повернуть головы — шея будто деревянная. Ночь мучился: как ни лягу, не могу заснуть. Выставили вчера пчел. Перезимовали хорошо, все целы. Облетались дружно и сразу сыпанули в лес. Верба распускается, орешник давно развесил свои султаны. На месяц раньше обычного началась весна. Не удивительно, что пчелы-водоносы облепили тазик возле колодца: значит, есть расплод. Много молодых пчел, которые просят пить.*

Мысли весенние и хлопоты весенние. А что будет в нашей стране? Бурное, крутое время! Читаю речи на пленуме ЦК КПСС. Какая борьба кипит там! Наш земляк Владимир Бровиков, теперешний посол в Польше, очень остро и смело выступил. Возможно, он лучше всех понимает, куда несет нас

«рок событий». Он и раньше выступал сильно. Наживает земляк политический капитал. Может, хочет вернуться в Минск нашим генсеком? Я бы это приветствовал. Человек умный, работал у нас премьером. Редкий случай — журналист по образованию был руководителем правительства. Понавешали теперь собак на социалистическую систему. А она дает возможность любому получить образование. Выбиться в люди, а если есть характер и голова на плечах, так можешь стать государственным мужем.

На студии все без перемен. Передач наснимали, а они лежат. Официозы забивают. Кругом политика. В очередях, в бане, в спальне...

17 мая, четверг, 1990. *Ежедневно идет дождь. Слава богу, засухи не будет. Сейчас все растет, набирает силу. А в белорусском парламенте словесный поток. В первый день руководил Лагир — председатель избирательной комиссии, путался ужасно. Выбрали ему помощника — министра юстиции Цихиню. На должность председателя Верховного Совета пленум ЦК рекомендует Николая Дементея. Есть кандидатуры другие: Шушкевич, космонавт Коваленок. Некто Вечерский из Борисовского района выдвинул себя сам. Интересная ситуация! Когда такое могло быть? В современном Верховном Совете полно партийных функционеров, так что Дементей может победить.*

18 мая, пятница. *Сессия продолжается. Сегодня досталось на орехи Дементею. Сначала журналист, который на выборах победил моего земляка Сахуту, покритиковал Дементея, а потом молодой депутат Лебедько заявил: «Николай Иванович, снимите свою кандидатуру, иначе будут непредсказуемые последствия». Об этих «последствиях» говорил священник из Орши и агитировал за Коваленка. Чудеса: поп агитирует за советского генерала, который слетал в космос, мог взять там боженьку за бороду.*

Сенсации не произошло: Дементей стал председателем Верховного Совета. Я думаю, человек он не глупый, имеет опыт и жизненный, и, так сказать, служебный, но как оратор слабоват — не филолог.

19 мая, суббота. *В Верховном Совете — буря. И начинается она на площади возле Дома правительства. Там почти ежедневно митинги, пикеты. Сегодня пикетчики, а за ними и депутаты потребовали, чтобы Дементей вел заседания по-белорусски. Он сказал, что Закон о языках вступает в силу 1 сентября, предложил проголосовать: на каком языке вести работу. «Позор!» — послышались голоса. Сильно выступил Зенон Позняк. «Ваше время вышло», — как попугай повторял Дементей. «Не мое время. А ваше время вышло», — парировал Зенон.*

А на дворе холодина. Даже выскочил морозец. Поморозил раннюю картошку, помидоры в теплице, перец. Картошка оправится, а все прочее — вряд ли. Кстати, говорил Еве: не будем спешить, подождем. А она свое: помидоры перерастают, им тесно. Ну, и посадили. Погибли они на просторе, на свободе.

30 мая. *Утро светлое, теплое, а потом поднимается ветер, пригоняет темные тучи, идет дождь со снегом, с градом. Может, так бывало и раньше, ведь в народе недаром говорят: «До Святого Духа не снимай кожуха. А за Святым Духом под тем же кожухом». Это вычитал в нашем еженедельнике «Белорусское телевидение и радио». К слову, на телевидении больше стало передач на родном языке. Но их все равно мало. В программу не втиснуться — парламентская болтовня забивает все. Страна гудит. Как разворошенный пчелиный улей. Российский парламент выбирает президента. Два красных российских петушка — Ельцин, прикинувшийся демократом, и ярый антисионист Иван Полозков — сцепились за высокий пост. Избрали Бориса Ельцина. Одобряю.*

Вокруг только и говорят о новых ценах. Болтовни замного, а дела нет. Поэтому и товара, и еды нет.

19 декабря, среда. *Сегодня Никола зимний. Говорят, «до Николки нет зимы нисколько». Нынче так оно и есть. Утром впервые морозец скакнул за десять градусов — столбик ртути застыл на черте 12. Небо чистое, а день облачный, ветреный. Неуютный. И бестолковый. Скорей бы кончился этот год! Год неопределенности. Безалаберности. Нестабильности. Год самых длиннющих очередей. Таких очередей, наверно, не было никогда. В войну по карточкам минимум получали, но больше работали. Бездельников было меньше. А теперь бездельники с деньгами стоят в очередях и все скупают. Повысить цену правительство боится. Поэтому вокруг тотальный дефицит. Дефицит — главный герой дня.*

Вчера Еве позвонила знакомая: с десяти часов будут продавать костюмы мужские и ватные одеяла. Уговорила меня пойти в магазин. Позвонил заместителю, что задержусь. Приехали без четверти десять. Народ уже толпился перед входом. «А что будут давать? — громким хриплым голосом спросил краснолицый мужчина. Все молчали. — Елки-моталки! Так чего ж вы стоите, раз не знаете?» — «Теперь такой обычай. Надо постоять, чтобы войти в магазин. Прозеваешь — все расхватают», — ответила пожилая женщина в очках. Очевидно, пенсионерка. Рядом с ней стоял высокий молодой мужчина. Видимо, сын, поскольку они все время тихо переговаривались между собой. Витрины огромного магазина были завешены шторами. Краснолицый нетерпеливец заглянул в щель между ними. «Сидят. Совещаются. Машут руками. Думают, как нас обдурить», — хмыкнул веселый человек. Но никто не улыбнулся. Наконец двери открыли, толпа хлынула в магазин. Слева моментально выросла очередь за одеялами. Ева потянула туда. А справа возникла толпа, жаждавшая надеть новые костюмы. Передо мной стояла женщина с маленьким мальчиком, допытывалась у соседей: что тут будут давать? Ей нужна курточка малышу. Услышала, что в этом отделе есть только мужские костюмы и штаны, сразу потянула мальца в другую очередь.

Дебелая продавщица, растопырив руки, сдерживала жадных покупателей — так сдерживают, отгоняют гурт овец, не хватало только грозных окриков: «Шкиро! Куда лезете? Пошли назад!» Женщина в синем фирменном халатике запускала в отдел по пять человек. Когда один покупатель выходил, зайти просились двое. Иной раз женщина проявляла милосердие и пропускала двоих. «Гриша! Иди примерь», — звала сына женщина в очках. «Гриша одеяло примеряет», — хохотнул кто-то. Все вокруг засмеялись. Наконец и я с костюмом нырнул в кабину для примерки. Темно-серый гэдээровский гарнитур сидел на мне довольно-таки прилично. Хотел посоветоваться с Евой. Чтобы она глянула придирчивым женским глазом, но народ нетерпеливо подгонял, буквально дышал в затылок. Прочитал еще раз ценник, невольно подумал: более качественные товары из ФРГ заполонили всю Германию, поэтому гэдээровские спихнули бедолагам победителям. Можно долго описывать, как стоял в очереди в кассу с молоткастым и серпастым паспортом, чтобы доказать, что я не какой-нибудь бродяга или сброд, а местный, минчанин. Доболтались!

А в Москве идет съезд народных депутатов. В первый день мощно врезала Горбачеву симпатичная чеченка Сажи Умалатова: «Вы должны уйти ради мира и спокойствия...» Серьезно сказано! И депутаты — 426 — проголосовали за включение вопроса о недоверии президенту, но большинство — 1200 — высказалось против. Пока что Горби остался. Надолго ли?

31 декабря, понедельник, 1990. *Последний день года белой Лошади. Трудный был год. Ажиотажный спрос, бесконечные очереди, неуверенность в завтрашнем дне, разочарование в социализме, в марксизме-ленинизме. Недавно даже в Софии решили снести памятник Ленину, стоявший на площади его имени. Возможно, вскоре начнем это делать и мы.*

Что Новый год готовит? Какие сюрпризы и подарки? Хорошего, видимо, ничего. А вот война на Ближнем Востоке может разгореться. Саддам Хусейн твердо стоит на своем: Кувейт не отдадим. Конфликт очень серьезный. Зато астрологи успокаивают: год Козы — под знаком женщины — обещает быть более спокойным, добрым, здоровым. Так хочется этому верить!

Приятная новость: вступила в строй вторая линия минского метро — шесть станций. Хоть одна хорошая новость.

И еще штрих. Вчера в торговом центре купил бутылку коньяка. Да не абы какого, называется «Лучезарный», цена 38 рублей. На этикетке — 26 р. Новая цена — коммерческая. Очереди не было, ящиков много, думал, спиртное будет стоять долго. Дудки! Сегодня не было уже ни одной бутылки. А давали ведь по талонам. Значит, есть у людей талоны и денег не жалеют. Понимают: рубли худеют с каждым днем.

Первые новогодние записи ничем особенным не впечатлили Петра, листал свой кондуит дальше. И вот бросилась в глаза дата, обведенная черным.

17 января, четверг, 1991. *Война началась. Сегодня в три часа по багдадскому времени американцы бомбили Ирак и Кувейт. Москва развязала им руки: не следовало голосовать «за» в Совете Безопасности, разумнее было бы воздержаться вместе с Китаем. Продали Горбачев и Шеварднадзе все. А у нас же договор с Ираком. Изменническая политика. Передали по радио, что резиденция Хусейна разрушена подчистую. Турция готова выступить против Ирака. «Буря в пустыне» — назвали янки операцию. А не начнется ли «буря» во всем мире?*

В 12.30 передали наконец заявление Горбачева. Диктор сказала: «Заявление записано сегодня утром». Так почему ж раньше не передали? Горби заявил, что мы сделали все «мыслимое и немыслимое, чтобы предотвратить столкновение...» И пошла музыка. Снова концерты, фестивали.

19 января, суббота. *Крещение. Большой праздник. Третья кутья, окончание Колядок. А война разгорается. По телевидению из Москвы выступал бразильский конгрессмен, заявил, что позиция СССР в этом конфликте «вызывает сомнения». Мы все более утрачиваем уважение государств и народов.*

А я еще болею. Таблетки уже не пью, только чай на травах — «гарбату», говоря по-белорусски. Когда пьешь магазинный, то это — чай, а когда сам травы собрал, высушил — гарбата, поскольку пришлось погорбатиться.

20 января, воскресенье. *Передали по радио в 15 часов, что Ирак сбил 142 самолета. Фантастика! А может брехня? Вчера говорили про 101. Значит, советская техника не подводит. Багдад заявил, что американцы — обманщики, не говорят правды. В первый день они кричали: в Ираке все уничтожено — ракеты, самолеты, разрушен дворец Хусейна и сам он, видимо, убит. Оказывается, все это далеко от правды.*

Ясир Арафат выступил с посланием о мире. Антивоенные демонстрации в США, Германии, Судане, Иордании — в поддержку Хусейна. Неужели разгорается третья мировая? Ленин был прав: империализм не может без войны.

С помощью Евы болезнь победил. Воспрял телом и духом. Жене даже понравилось, что я болею: все вечера дома, и дни — тоже. Вечером она дела-

ла мне массаж и вдохновляла меня... на ответный массаж. Убедился, что наилучшая гимнастика, самая полезная процедура — это любовь. Как хорошо спится после любви!

23 января, среда. *Именины Егора. Народная примета: если на деревьях иней — год будет мокрым. Поживем — увидим.*

Вчера в программе «Время» объявили: с нуля часов не принимаются 50-рублевые и 100-рублевые купюры. Они будут обмениваться по месту работы на протяжении трех дней и не более тысячи рублей. Может, и нужна такая мера, поскольку у некоторых этих купюр целые мешки. По словам нового премьера Павлова, около 7 миллиардов наших денег за рубежом, и, понятно же, не рублевыми купюрами.

Поехали с Евой в гастроном «Столичный», что на площади Якуба Коласа и работает до 23 часов. В каждую кассу — очередь, шум, гам. Люди хватают все подряд, лишь бы поменять побольше крупных купюр. Мы ничего не купили, вернулись домой с пустыми руками и с теми самыми старыми купюрами. В конце концов, невелика беда — обменяем на работе. Сколько у нас тех денег! Слезы...

Деталь. На заправочной станции до полуночи стояли машины, чего зимой не бывает никогда. Не думаю, что меняли там крупные купюры, — запасали топливо, потому что сегодня поедут кто куда. Кто будет развозить деньги по знакомым в городе, кто повезет в деревню родителям. А обменять, оказывается, можно только в размере средней зарплаты, пенсионерам — 200 рублей, в больнице, в доме отдыха — 500.

На студии у нас все было прилично. Сдал и я свою тысячу. Только один сотрудник сдал две, пришлось писать объяснение. Откуда их имеет? Не успел положить на сберегательную книжку. К слову, в сберкассах, на почте — длиннющие очереди, извиваются, как змеи.

Сегодня обещали показать по телевидению новые купюры, но почему-то не показали. В Верховном Совете министр финансов путано объяснял ситуацию, заикался, называл купюры «ассингация». Несколько раз так сказал, пока не послышались голоса: надо говорить «ассигнация»! Вот тебе и министр. Может, разволновался, бедолага.

1 марта, пятница. *Снова весна! 1991-я от рождества Христова, 74-я октябрьская, 46-я после Победы, 30-я космическая. Пятая чернобыльская. Все эти весны по-своему знаковые. Последняя, чернобыльская — самая больная и страшная, как самая свежая рана...*

Новая весна приносит новые надежды. Хорошо, что кончилась война в Персидском заливе. Хусейна сильно побили, но арабо-израильский конфликт не исчерпан и не разрешен. У нас после референдума, который состоится 17 марта, повысятся цены на пищевые продукты. Да и на другие товары. Может, очереди станут меньше?

Прошедшие два года, возможно, самые болтливые в нашей стране: все заседали, митинговали, кричали дни напролет. Ночью смотрели телевизор. А когда работать? Еще ж надо очередь выстоять. А очереди всюду: за хлебом, за водкой, и чтобы шмотки приобрести, тоже постоять надо. Как хочется, чтобы скорее безголовье кончилось! Но быстро, видно, ничего не получится. Года три-четыре, а может, и больше, потребуется для стабилизации.

Снова зазвонил телефон. Петро отодвинул в сторону свой кондуит, снял трубку, услышал голос заместителя Евгена.

— Ну, докладываю. Развод состоялся. Партии как не бывало. Столько лет служили ей. Боялись гнева парторга, райкома, ЦК. Помнишь, как тебя

щипали за Коляды? Ну, за передачу Брестской студии донимали? А теперь Коляды — государственный праздник. Коляды есть, а партии нет... Разве не чудеса?

— А как собрание прошло?

— Хвактически собрания не было. Собралось несколько человек. Перебросились словом. Позубоскалили да и разошлись... Во, пишу самый короткий протокол. Просто для себя. Его и отдавать некому. Райкомы опечатываются. ЦК — тоже. О мы, славяне, разрушать и сносить большие мастера и любители. А потом на этом месте начинаем строить заново. Потому и живем бедно... Что ты сейчас делаешь? Может, пивка бы глотнули? А то как-то муторно на душе. Приезжай на студию. Куда-нибудь зайдем...

— Я не против, но дочка привязала. Поехала с подружками в Ботанический сад. Без ключей. Приедет неизвестно когда. Может, и скоро явится. Приезжай ко мне. Посидим, погомоним. Помянем монолитную и сплоченную. Кто мог подумать о таком финале? Правда, как тут не выпить? Жду.

— Лады. Через часок буду. Ты не хлопочи особо. Я прихвачу с собой мерзавчик. И колбасы кусок. Все будет хоккей...

Петро глянул в холодильник, выудил оттуда пару огурцов, помидоров, имелась там и начатая бутылка водки.

— Ну что ж, попробуем жить без партии. Без райкома и ЦК, — сам себе промолвил Петро. — Жизнь не останавливается. Жили наши предки без коммунистической идеологии. Проживем и мы.

IV

Догорало жаркое лето. Дни становились короче, солнце ходило все ниже, будто теряло силу, потому и не грело так сильно, как на Петровку. Зато ночи удлинялись, наливались темнотой, которая все густела. На порыжелую засохшую траву выпадала густая ядреная роса. Петр Евдокимович Мамута давно убедился, что в августе самые густые росы и самые яркие звезды. Правда, вчерашним вечером звезды виднелись слабо, поскольку их затмила полная луна. Огромный месяц выкатился из-за леса, как только отяжелевшее красное солнце опустилось за вершину разлапистой старой сосны в Березовом болоте.

Эту сосну Петр Евдокимович помнит с довоенного времени, когда молодым парнем приехал после педучилища на работу в Хатыничи. И вот пролетело уже больше полусотни лет. Тут он свил свое семейное гнездо, нашел жену Татьяну, вырастил с нею четверых детей, дождался внуков. Прожил с Татьяной сорок семь лет. И вот уже больше года минуло, как нет ее.

Остался Мамута вдовцом. Один в большом пустом доме, один во всем переулке, тянувшемся вдоль Кончанского ручья. В большой деревне Хатыничи осталось с десяток упрямых бедолаг, старых, поседевших, словно на их висках выступила от работы соль. Может быть, есть в этой седине и невидимые радионуклиды. Сбежал «мирный атом» из Чернобыля, вырвался, словно страшный сказочный джинн или преступник, посаженный за решетку, и смертоносным крылом накрыл чуть ли не треть Беларуси. Невидимый страшный враг оголил Хатыничи. Спаленная наполовину в войну деревня возродилась, в последние годы даже начала молодеть: парни после армии оставались шоферами, механизаторами, строили звонкие пятистенки, ибо не отпускала от себя река детства Беседь. Река далеких и близких пращуров.

Учитель Мамута косил картофельную ботву. Некоторые стебли уже почернели: прихватила фитофтора, зато зелеными папахами с серебристыми

крупинками семян высилась лебеда. «От же паскудное пустозелье, — думал Мамута, — дважды полол с Юзей картошку после того, как окучил плугом, и все равно выскочила лебеда, кое-где торчали коричневатые петушки пырея, а меж борозд расстилалась мокрица». Ну, эта хоть и тянет соки земли, но и влагу держит. А как любят мокрицу свиньи! Ученые люди пишут, что она имеет лекарственные свойства. Не потому ли деревенское сало такое вкусное, не сравнить с магазинным, росшим на ферме на комбинированном корме. Без лебеды и мокрицы.

И хоть роса уже выпала густая, коса резала слабо, — затупилась, подтачивать ее приходилось все чаще. Да и усталость уже чувствовалась, взмокла спина под полинялой клетчатой рубашкой. Петр Евдокимович снова взялся за брусок, слушал, как звон косы заливисто рассыпался по березняку, скрывавшему Кончанский ручей. Косить он начал после обеда, с полчаса подремал, поскольку вставал рано, и если днем не приляжет, то под вечер ноги совсем отказываются носить стариковское тело, а надо же еще что-то делать: или дрова рубить, или косить. А тут уже и пчел кормить надо: завтра 25 августа, самое время начинать...

Мамута окинул взглядом скошенную делянку — почти половину участка выкосил. Завтра с утра поклепает косу и добьет всю ботву. Роса теперь держится поздно, поскольку утром землю окутывает седым одеялом густой туман. Он уже вознамерился идти домой, как увидел Юзю. В желтой кофте, красной юбке она шла с ведром к колодцу. «Поздний мой цветок, — мелькнула мысль. — А почему поздний? — возразил себе. — Мы познакомились так давно. Скоро сорок лет нашей грешной любви...»

— Петрок! Может, хватит на сегодня? Иди ужинать, — позвала Юзя. — Завтра будет день. Тогда и докосишь.

— Хорошо. Иду. Сполоснусь только.

Он повесил косу под стрехой бани и потопал по тропинке мимо березняка к ручью. А мысли полетели в прошлое, в далекое послевоенное время.

Тогда он, директор начальной школы, отец четверых детей, приехал на учебу в Минск. О, как не хотела его отпускать Татьяна! Но он много раз ей говорил: «Надо окончить университет. А то приедет мальчишка с дипломом...» Поступил в университет, устроился на квартиру. И неожиданно в него влюбилась дочь хозяйки Юзя. Муж ее погиб на фронте, осталась Юзя вдовой с маленькой дочуркой. Вечером, когда хозяйки дома не было — она работала на швейной фабрике во вторую смену, а Юзя в первую, — Юзя быстренько укладывала малышку, заходила в комнатушку квартиранта: «Петя, что ты все чахнешь над книжками? Я сегодня зарплату получила. Купила вина. Давай поужинаем...» Ужинали, пили вино. Тронули его Юзины слова: «Не то что нажиться. Даже наглядеться на мужа не успела. Ушел на войну, как Минск освободили, и не вернулся... Погиб в Германии». А через день Юзя говорила: «Сегодня в кинотеатре фильм новый показывают. Взяла два билета. Давай сходим. Не пойду ж я одна по этакой темноте». — «У меня завтра семинарские занятия. Могут вызвать. Буду стоять как пень», — защищался Петро. «Ай, Петя, дорогой ты мой. Сколько у тебя еще будет семинарских занятий!» И он шел в кино. А потом была премьера в Купаловском театре, в котором он никогда не был раньше. А после кино, театра Юзя звала его в свою комнату, нежно обнимала. Кончилось тем, что однажды она призналась: «Петя, дорогой мой, забеременела я...» А тут пришло письмо от жены: заболел Юрка, самый младший, пятилетний сын.

Бросил Мамута учебу, Минск, нежно-ласковую Юзю и вернулся домой. Потом учился заочно в Могилеве. С Юзей увиделся, когда его сын, маленький

Петрик, ходил в первый класс. В Минске Мамута бывал только по служебным делам, а такой случай выпадал редко. Правда, когда вышел на пенсию, а в Минске осела после замужества дочка, начал ездить чаще. Татьяне это не нравилось. Вспыхивали ссоры, с годами у нее портился характер. Петрок и не знал, что когда-то ей попалось Юзино письмо. Татьяна болезненно переживала мужнину измену, но вида не подавала, а то письмо спрятала... Один раз они поссорились из-за какой-то ерунды, Татьяна обозвала его кобелем и попрекнула минской «проституткой».

В последние годы Татьяну мучила гипертония, все чаще болело сердце. И начала она болеть еще задолго до Чернобыля. А после того, как Хатыничи засыпало радионуклидами и сельчанам разрешили отселиться: за старые постройки платили деньги, первыми начали выезжать семьи с маленькими детьми, а потом, как нитка за иголкой, за ними потянулись и старики. Думали, ломали головы и Петро с Татьяной: ехать или не ехать. Дети звали и в Минск, и в Могилев. Переселение в Минск Татьяна отвергала, поскольку там жила *она*. На Могилев была согласна, но дочка имела небольшую квартиру, да и город, пропахший химией, после аромата прибеседского леса, их березняка, чистой родниковой воды нельзя было назвать раем.

Старому Мамуте трудно было бросить свой дом, перевозить на новое место пчел. Жалко было оставлять и баню, которую сам построил, и любимый березняк над ручьем. Ехать в соседнюю Белую Гору, куда переселилось большинство хатыньчан и потянули за собой всю радиацию, даже хлевушки перевезли, Петро считал бессмысленным. Татьяна тоже не рвалась покидать родную деревню, поскольку именно для нее Хатыничи были родиной ее родителей и дедов. Да и здоровье Татьяны ухудшалось с каждым днем.

Как-то после очередного сердечного приступа Татьяна тихо сказала:

— Ну что, Петрочек мой любимый... Чувствую, недолго мне ходить по этой земле. Отжила свое, отцвела. Зла на тебя не держу. Жили мы дружно, ладно. Плакала я тайком, как письмо етой минской Юзи прочитала. А тогда вижу, детей ты любишь, как и раньше. И меня не обижаешь. Помалу успокоилась... Когда помру, мой тебе совет: езжай в Минск, к ней. Верно ж, она моложе.

Петрок пробовал возразить, но Татьяна не дала ему говорить:

— Ты подожди, дай мне сказать... Будешь в Минске, так детям не придется сюда шастать в радиацию. Они и так ее наелись. Каждое лето к нам приезжают... А пчел, может, там, под Минском, будешь держать. Пчелы — дело наживное. Лишь бы сам был, так и они будут.

Татьяна с трудом ворочала языком, задыхалась. Петр Евдокимович встал перед ней на колени, не от ощущения своей вины, хоть и такое чувство было в глубине души. Его душа была полна любви, жалости и сочувствия к любимой жене, матери его детей.

— По любви мы с тобой сошлись. Детей вырастили. Внуков у нас полно. Я на тебя не обижаюсь. И ты меня прости, что в последнее время... Ну, срывалась я иной раз, портила тебе нервы. Прости, мой любимый. Ты у меня был единственным мужчиной... — Татьянины глаза были полны слез, голос дрожал, срывался, она тяжело дышала. — Дай, может, валокордина...

Петрок накапал в стакан лекарства, Татьяна выпила, успокоилась. Он обнял ее, осторожно поцеловал. Из его глаз посыпались горячие слезы.

А через несколько дней Татьяна ушла из жизни.

Больше полугода он прожил один. А на исходе зимы приехала Юзя убедить его, что надо бросать деревню, бежать из чернобыльской зоны.

— Петрочек, миленький, поедем. Наш сын имеет большую, трехкомнатную квартиру. Дает нам отдельную комнату. А как мы пропишемся, тебе, как чернобыльцу, могут дать однокомнатную. Сын так сказал. Он подполковник уже. Может и полковником скоро станет. Будем жить припеваючи...

Мамута особо не возражал, но приводил свои рассуждения:

— Ты все правильно говоришь. Но не готов я. Памятник Татьяне надо поставить. Годовщину справить. Пчелы на днях облетались. А там куда их денем? Может, до осени тут поживем? Увидишь, как у нас летом. Картошка растет чистая. Мед — тоже чистый. Ну, грибы, ягоды нельзя... А километров семь-восемь пройти, так можно собирать. Может, слишком напугали радиацией. Вон в Саковичах тридцать кюри с гаком. Вдвое больше, чем у нас. А и там люди живут. Приезжал один дедок меду купить. И знаешь, что он сказал? Все его ровесники, которые переехали, отсыпались. А он живет. Врезались слова его: старое дерево не пересаживают.

Юзя молча слушала, но через день-два снова начинала разговор про переезд:

— Поедем, Петро. И жена тебе советовала бежать отсюда. Мудрая была женщина. Ну чего ты уперся? Пчел на сыновой даче поставим. Пришлет сын грузовик. Заберем всех и перевезем.

— До осени буду тут. А там — посмотрим. А ты как хочешь. Чернобыль — это надолго. Успеем от него убежать. Между прочим, Татьяна заболела до аварии. Ну, до радиации. А я теперь хорошо себя чувствую. Я ж еще не слабак? — игриво поглядывал Мамута на Юзю.

— Да нет, мой дорогой. Ты еще мужик — на диво. Верно, пчелки тебе способствуют. Силу дают, — нежно прижималась к нему Юзя, жадная до любви, как и в те послевоенные годы, когда познакомились. — Ты мой самый дорогой и самый сладкий, — искренне признавалась она. — У меня было два законных мужика. С первым прожила два месяца. Со вторым — двадцать лет. Он разведенщик. Первую семью бросил. Двое дочек было. Сперва мы неплохо жили. А как начал выпивать, то и кончилась наша любовь. А с тобой я тут как в раю. Не вижу я тех радионуклидов. Не чувствую их. И голова не болит. И во рту не сушит. И спится после твоих объятий как никогда раньше. А еще знаешь? Ну, молодым кажется — все еще впереди. Целая жизнь. Натешимся. А теперь все иначе воспринимается. Неизвестно, что ждет завтра.

— Теперь — каждый раз как последний раз, — захохотал Мамута, обнял, поцеловал Юзю.

Посадили огород. Построил Петр Евдокимович новый парничок, больше, чем прежний: Юзя сказала, что очень любит выращивать помидоры. Марина Сахута дала рассады. И выросли помидоры на славу. Радовалась Юзя, как ребенок. Все реже заводила она разговор о переезде. Больно понравилась ей Беседь, лес, одно горевала, что нельзя собирать грибы и ягоды.

Как-то выбрались они в лес. Шли вдоль Беседи, чуть не до самых Белынкович: в районке писали, что там чистая зона. Набрали по кошу грибов: боровиков, лисичек, маслят. Грибов наросло много, хоть косой коси, выбирали только самые молодые. Когда возвращались, на Бабьей горе сели отдохнуть. Хатыничи отсюда — как на ладони. Еще почти все хаты стояли, только новые пятистенки хозяева забрали, некоторые продали. Зато деревья роскошествовали: густые вербы, высокие развесистые клены и липы. Петр Евдокимович рассказывал, какими были Хатыничи после войны, как строились люди, выбирались из сырых и темных землянок. Петро тоже построил новый дом, поскольку старая, тещина, хата уже врастала в землю.

Юзя слушала, под солнцем разомлела, сняла сапоги. И Петро разулся, снял рубашку.

— А может, давай искупаемся? Хоть Илья уже в воду помочился. Но погода-то теплая. Вода чистая.

— Так я ж без купальника, — спохватилась Юзя. — Не думала про купанье. А тут и мне захотелось...

— Милочка моя, зачем же тут купальник? Мы с тобой, как Адам и Ева. Вот в их костюмах и будем плавать. Никто не подсмотрит. Никто не помешает. Разве только солнце да аисты. Вон ходят по лугу. Смело раздевайся, — Петр Евдокимович отошел к густому березняку, чтобы Юзя не стеснялась.

Среди березняка цвел вереск, гудели шмели, пчелы. В воздухе разливался пьянящий аромат медового цвета.

— Ходи сюда, Юзя! — позвал он. — Тут очень хорошо...

Юзя приблизилась к нему, на ходу расстегивая кофту.

— Ох, как вереск пахнет! Чудо! Гляди, и пчелки гудят. Могут ли наши долететь сюда?

— Могут. По прямой тут каких-то две версты. Они ж нюхом чуют, что тут меньше радионуклидов.

Они давно уже были немолоды, но хотелось жить и радоваться наперекор всякому лиху, а прежде всего — Чернобылю. Юзя привезла с собой книгу о любви. Мамута где-то читал про «Камасутру», но никогда не видел. А когда полистал, почитал, понял, что жизнь прожил, детей наделал, а заниматься любовью не научился. Временами думал, что они с Татьяной были очень целомудренны. Любовью занимались, чтобы рожать детей, а не для наслаждения. Для этого у них не было времени, да и умения, даже говорить о любви стыдились. А с Юзей все было иначе.

Тем временем Юзя сняла кофту. Снимать лифчик не спешила. Мамута расстегнул сзади крючки, повесил лифчик себе на шею, улыбнулся:

— Самое лучшее в мире ярмо.

Он нежно поцеловал Юзину грудь. Затем опустился на колени. Бесшумно упала на песок юбка. Тогда он поцеловал ниже пупка Юзин живот. Она тоже опустилась на колени...

Затем они купались. Недолго, поскольку вода была уже холодная, слишком бодрящая. Юзя лишь окунулась и сиганула на берег. Мамута немного поплавал, даже нырнул раза два, но тоже вскоре выскочил из воды. И так ему захотелось лечь на теплый песок, как в детстве, перекатиться, а потом — в песке, словно в серой кольчуге, — нырнуть в воду. Но не отважился: казалось, что под каждой песчинкой затаился невидимый, страшный враг — радионуклид-убийца.

«Проклятый Чернобыль! Откуда ты свалился на нашу голову?!» — он тихо выругался и сразу почувствовал тяжесть прожитых лет.

Потом они сидели у костерка, жарили сало на прутиках, ели красные помидоры, которые вырастила Юзя в парнике. Мамута прихватил из дома чекушку, и она была весьма кстати. Выпили по чарке.

— За нашу любовь! Пусть она крепнет и крепнет... — Юзя смотрела на Мамуту, и в светло-карих, зеленоватых глазах он увидел преданность и необычайную искренность.

— Пусть будет так! — согласился он.

После обеда Юзя разостлала возле кострища куртку, легла на ней, сладко потянулась. Под кофтой соблазнительно выглядывали бугорки грудей. Мамута не сдержался, чтобы не поцеловать ее, пальцы сами начали расстегивать пуговицы.

— Искушаешь ты меня, милочка. Хоть ты штаны еще раз снимай...

— А что тебе, трудно снять? Или лень? Так я помогу, — хохотала Юзя, потом тихо добавила: — Не надо. Побереги себя. Знаешь, Петрочек мой любимый, мне кажется... Ну, у меня такое ощущение, что я никогда не была так счастлива, как сегодня. Нет, по-вашему: сянни. Сянни я самая счастливая бабуся. Влюбленная бабуся. Чтоб ты знал, сколько ночей я плакала, когда ты уехал. Даже не попрощался. Я понимала. Все понимала, но от этого было не легче. Кто мог подумать, что я брошу все и приеду к тебе! Да в Чернобыльскую зону! А по-моему, это зона любви. И сегодня, нет — сянни было как никогда хорошо. Ой, Петечка, напоил ты бабусю. И хочется говорить такое, о чем и говорить стыдно... Будь таким нежным всегда. И жадным, и сильным, и неутомимым. Подожди, я не все сказала. Никогда не думала, что мы будем заниматься любовью. Знала, что ты немолод. А теперь... Не хочется мне никуда отсюда ехать. Тут райская зона. Не радиационная, а зона радости. А может, наша любовь победит эту чернобыльскую напасть? Ты ж говорил, что мед чистый...

— Да, проверял. Мед очень хороший.

— Грибы, говоришь, дальше тоже чистые. Минчуки ездят по грибы за десятки, а то и сотни верст. А мы прошли каких-то десять. Ни тебе горючее жечь, ни в электричке давиться. Это ж чудо! А эта гора... Наши объятия тут и перед смертью можно вспомнить.

— Ой, милая Юзя, ты у меня камень с души сняла. Я ведь порой укоряю себя, что не послушался тебя. Уперся, как баран. Заставил и тебя жить тут, в зоне. Откуда почти все посбегали.

— Ну, а Бравусовы живут. У них дом в Белой Горе, а они тут. Знаешь, о чем я подумала? Как-то ты сам говорил, что хорошо коня иметь. Давай купим. Помню, в какой-то детской книжке описывается поездка по грибы. Поехали на коне. Где-то в России. Нарезали целый воз груздей. Меня это так впечатлило. Кажется, Тургенев писал.

— Нет, это, должно быть, Аксаков. А про коня и я думал. Но трудно это. И работы для коня мало в нашем хозяйстве. Лучше Бравусову буду чаще помогать. Ну, за кобылой его смотреть. Сена предложу, чтобы смелей попросить. Он так и говорит: берите, если надо. А мы купим козу. Сено есть, веников навяжем для нее на зиму. Ну что, моя радость, пока коня у нас нет, потянемся домой. На своих двоих...

— А я с тобой готова на край света. И ты — моя радость. Говори чаще ласковые слова. Жизнь такая короткая. И столько беды на свете. То Чернобыль, то ГКЧП, то другое лихо...

После отдыха, купания, хорошего обеда коши с грибами показались легче. Пришли домой они довольно быстро. Юзя сразу взялась сортировать грибы.

Все это промелькнуло в голове Мамуты, пока шел к ручью, умывался холодной родниковой водой, и снова, в который раз подумал: вода чистая, как и раньше, ну где тут радиация? Он уже ступил на крыльцо, когда внезапно отворилась калитка, и во двор вошли Владимир Бравусов и Марина. Оба прихорошенные, Бравусов гладко выбритый, в чистой белой рубахе, Марина в зеленой кофте, из-под которой виднелась белая блузка, в красно-желтой веселой косынке. Бравусов нес трехлитровую банку молока.

— О, какие гости к нам! — с радостью воскликнул Мамута. — Погляди, Юзя, кто к нам заглянул!

И Мамута, и Юзя искренне радовались гостям. Женщины взялись готовить стол, мужчины сели на крыльце побалакать про житье-бытье. Конечно же, припомнили недавнее ГКЧП, развал КПСС.

— Раньше такое, хвактически, не могло и присниться. Восемнадцать миллионов коммунистов разом стали членами преступной организации. Разве это не издевательство над народом? Ну от скажи, Евдокимович, правильно я думаю?

— Так, Устинович, мыслишь ты правильно. И я так думаю. Если верхушка зарвалась, а точней — оторвалась от партийных масс, от народа, так они преступники. Партию развалили, а теперь все посыплется. Вслед за прибалтами расползутся по своим квартирам все.

— Партия, хвактически, цементировала государство. Ето был стержень всей политики. А теперича на чем будет держаться? На религии? Так у нас же разные конхвессии. И каждый молится своему боженьке. Говнюки ети гэкачеписты. Ничего не смогли сделать. Только навредили, — с досадой плюнул Бравусов.

Мамута был согласен с мыслями Бравусова, однако у него имелось другое мнение насчет независимости и государственности Беларуси, но он понимал, что бывший участковый его мысль не поддержит, а спорить с гостем совсем не хотелось, тем более что их спор ничего не решит в историческом плане: будет то, что решат в Москве или еще дальше — за океаном.

Ужинали весело. Тон задавали женщины, особенно Юзя старалась. Мамута и не знал, что у нее столько остроумия, юмора. Под грибы опрокинули по чарке, понятно, не по одной.

— Третья чарка, хвактически, за любовь. За вас, дороженькие женщины! Что бы мы делали без вас? Как волки, сидели бы дома. А благодаря вам и в зоне можно жить. И радоваться. За вас, дорогие!

Бравусов одним духом осушил рюмку. Юзя незаметно подмигнула Петру: дескать, за нашу любовь и радость. Все дружно закусывали грибами с картошкой.

— Вы дело говорите, Устинович. Мне тут лучше, чемся в столице. Не пью никаких таблеток. Ни адельфана, ни анальгина. Никакой химии, — взволнованно и искренне призналась Юзя.

— Лучшее лекарство — две капли воды на сто граммов водки, — громко захохотал Бравусов. — Хвактически, любую болезнь побеждает ето лекарство. А жить можно и в Хатыничах. Свояки зовут меня в Белую Гору. И хата стоит там. А я не хочу. Там те же самые нуклиды. Зато ж туточки вольница! Делай что хочешь! Земли бери сколько хочешь. Нам с Матвеевной хорошо тут, — он обнял за плечи Марину, а сидели они бок о бок на деревянной лавке. — Юзя, а как ето вас по батюшке? Вылетело из головы.

— Зовите просто Юзей. Ну, если хотите, чтобы представительно было, то — Юзефой Иосифовной. Или Язэповной. Это более по-белорусски.

— Так что, Сталин по-белорусски будет — Язэп Виссарионович? — хмыкнул Бравусов.

— А что? Конечно, так и будет, — смеялась Юзя. — Вы закусывайте, а то картошка остынет. Грибы чистые. Откуда мы принесли, Петя?

— Из-под Белынкович.

— Ого, — удивилась Марина, — как далеко вы ходили.

— Ловчей было бы на коне. Мы с Петром Евдокимовичем, — Юзя подчеркнуто назвала хозяина полным именем и отчеством, поскольку заметила, что сельчане называют своего бывшего директора школы именно так, — вспоминали в лесу... Ну, где-то прочитанное, как в России целехонький возок груздей насобирали. По грибы ездят там на коне, — Юзя глянула на Петра, дескать, я подвела разговор к нужной теме, а ты заправляй дальше.

— Ну, по грибы ездят редко. Можно и пешком сходить. А вот в хозяйстве конь нужен почти ежедневно, — начал Мамута. — То дров привезти, то сено, то картошку...

— Так в чем проблема, Евдокимович? — перебил его Бравусов. — Я завсегда говорю: когда надо, тогда и берите. Моя кобылка в ваших руках. Не стесняйтесь! Она частенько прогуливает. Застаивается.

— Нет, Устинович. Мы так не согласны. Мы готовы помогать. Ну, чтобы вместе ухаживать. Вот мы, как грибы собирали, об этом и говорили. Я очень люблю лошадей, — Юзя разволновалась, расстегнула пуговицы кофты, будто она стесняла ее. — Под Минском есть школа. На станции Ратомка. Там учат на лошадях выступать... Наш сын, Петр Петрович, теперь он уже командир батальона. Подполковник. Когда был школьником, ездил в Ратомку на занятия. На спортивных соревнованиях выступал. Хочет в Хатыничи к нам приехать. Вместе со Славиком. Это внук наш. Моя мечта, чтобы самим купить коня.

— О, молодчина, Иосифовна, ну, или Язэповна. Я себе думаю иной раз: когда Мамуты сбегать надумают? Так я вам жеребенка выращу! — подхватился Бравусов. — За ето надо выпить!

— Володя, ты что-то распетушился! Хватит! — толкнула его под бок Марина. — Стемнело уже. Пойдем домой.

— Мы не часто видимся. Домой успеем. Хозяйство присмотрено. И мы ж не пьем, а лечимся. Радиацию перебарываем, — улыбался Бравусов. — Так что, за дружбу, переходящую в любовь, — поднял он рюмку. — И мы победим проклятый Чернобыль!

Хроника БЕЛТА, других мировых агентств, 1991 г.

19 сентября. Минск. *Председателем Верховного Совета Беларуси избран 56-летний Станислав Шушкевич. Для победы ему понадобились два дня борьбы и три тура голосования..*

20 сентября. Кабул. *Лидеры «пешаварской семерки» требуют отставки президента Наджибуллы.*

22 сентября. Тбилиси. *Здесь произошли жестокие столкновения сторонников президента Гамсахурдиа с силами оппозиции.*

24 сентября. Париж. *Газета «Монд» напечатала интервью президента Польши Леха Валенсы, в котором он заявил: Европа обманула меня — не дала обещанной помощи.*

V

Уже второй месяц Андрей Сахута был безработным. Он вдруг заимел столько свободного времени! Своей дачи не нажил и машины собственной не приобрел. Самый что ни на есть пролетарий. Даже хуже, поскольку бедный пролетарий обычно имел постоянную работу. Пусть заработок маленький, но получал его ежемесячно: сперва — аванс, затем — окончательный расчет, бывало, и прогрессивку получал, а потом и тринадцатую зарплату. На хлеб, на кефир, на «чернила», а то и на поллитру «белой» хватало. А у него, Сахуты, ничего. Вольный казак!

Ада по первому времени успокаивала: не переживай, отдохни, ей даже нравилось, что муж наконец дома и утром и вечером, может сходить в магазин, погулять с внуком. Но что бы он ни делал, чем бы ни занимался, в голове, словно ржавый гвоздь, сидела мысль: что дальше? Как жить? Чем заниматься? Где найти работу?

Первые дни ему было стыдно выйти на улицу, никого не хотелось видеть. Когда шел в магазин, казалось, что изо всех окон с затаенной радостью смотрят соседи: ага, коммуняка, теперь узнаешь, как люди живут, вместо коньяку попьешь кефирчик. Раньше ты видел жизнь из окна машины, из обкомовского кабинета да из президиума гордо посматривал в зал.

Однажды Сахута, впервые за долгие годы жизни в этом доме, пошел в свою районную поликлинику к участковому терапевту: донимает давление, бессонница мучает. Пошел пешком, поскольку на троллейбусе ехать, так надо пробивать талончик, а талончик надо купить, а он, Сахута, денег не зарабатывает, он — безработный. И на каждом шагу жизнь показывала ему фигу, будто издевалась: а, ты не давился в городском транспорте, теперь попробуешь, потискают тебя, голубчика.

Новое семиэтажное здание поликлиники Сахута хорошо знал: часто проезжал мимо на машине, но никогда в него не заходил. Теперь подошел, приостановился перед ступеньками высокого крыльца: мелькнула мысль, что строительством этой поликлиники, как и всей жизнью, руководили коммунисты. И он, Сахута, когда был первым секретарем райкома и после в обкоме — всегда думал о людях. Так почему же теперь разные горлопаны понавешали собак на партию? А значит, и на него, Андрея Сахуту, честного, добросовестного, преданного труженика. Почему сломали его судьбу, его карьеру?

Но шевельнулась в глубине души и другая мысль: вот нет райкома, обкома и ЦК, а жизнь не остановилась, и поликлиника работает, и трамваи, троллейбусы ходят, в магазинах есть хлеб и молоко, и даже очереди уменьшились, но не потому, что больше стало продуктов и товаров, нет, просто у людей меньше стало денег.

В довольно просторном, темноватом вестибюле Сахута сразу отметил, что низковатый потолок строения угнетает человека, — он отыскал окошко регистратуры, спросил, есть ли талончики к участковому терапевту.

— К участковому можно без талончика, — буркнула усталая худощавая женщина. — Заказывайте карточку, и все...

Карточку... Ее ж надо иметь. Да, у него была карточка в лечкомиссии. И участковый доктор, дебелая пышногрудая улыбчивая Зинаида. О, как часто она звонила, заботилась о здоровье выского партийного функционера. «Андрей Матвеевич, вы о нас совсем забыли. Надо пройти осмотр. Анализы сдать. Флюорографию», — добродушным голосом ворковала в трубку персональная докторша. Сахута давным-давно забыл про очередь в поликлинике. Для него поездка в лечкомиссию напоминала свидание с молодой, угодливой симпатичной женщиной.

Он еще раз осмотрелся и увидел окошки-амбразуры, и у каждого стояли люди. За стеклом виднелись стеллажи, заставленные толстыми гроссбухами, в которых размещались медицинские карточки жителей района. Над одним из окошек он прочитал название своей улицы, приткнулся к очереди. Люди называли адрес, говорили, к какому врачу имеют талончик и быстро отходили.

Андрей приблизился к окошку, растерялся, не зная с чего начать.

— Что вам, молодой человек? — глянула на него женщина в очках. — Говорите быстрей.

— Мне нужно завести карточку. Иду к участковому терапевту.

Он подал в окошко паспорт. Женщина полистала документ, удивленно проговорила:

— Давно тут живете. А карточку до сих пор не завели.

— Некогда было болеть.

— А некоторым так нравится болеть. Лишь бы больничный урвать. Раньше так было. Теперь, наверно, такой халявы не будет. Рынок заставит вкалывать. А то при коммунистах люди делали вид, что работают, а государство... Ну, они, коммуняки, делали вид, что платят за работу. А что теперь? Где они, те коммуняки? Попрятались, как мыши под веником. Ваше место работы?

— Белорусское телевидение... Старший инженер, — соврал он.

Соврать решил еще по дороге в поликлинику, поскольку признаться, что безработный, язык не повернулся бы. А телевидение он знает, бывал там, друг работает. Знает, с каким уважением некоторые люди относятся к голубому экрану: он друг семьи, главный советчик и собеседник. Андрей чувствовал, что уши его вспыхнули краснотой, как у нашкодившего первоклассника, но женщина этого не заметила, она торопливо выписывала карточку, поскольку очередь к окошку мгновенно подросла.

— Идите на третий этаж. Карточку передадим, — женщина назвала номер кабинета, в котором принимает участковый терапевт. — А это талончик на флюорографию. Постарайтесь сегодня сделать снимок. Аккурат она сейчас работает. Тут, на первом этаже.

Андрей искренне поблагодарил регистраторшу, которая довольно вежливо все ему объяснила и между прочим всыпала коммунякам, а значит, и ему, бывшему секретарю обкома.

У дверей, за которыми размещалась флюорография, стояла длинная очередь. Андрей приткнулся в конце ее, непроизвольно вздохнул. Пожилая женщина, стоявшая перед ним, повернулась, поняла его вздох, успокоила:

— Тут быстро. Сделать снимок — минутное дело. Запускает сразу по четыре человека. А вы к какому доктору?

— К участковому.

— Это долго. Вы и там займите очередь. А тогда сюда. Я скажу, что вы за мною заняли...

Андрей послушался мудрого совета, направился на третий этаж. В полутемном коридоре на узких топчанах вдоль стены сидело много людей. Нашел нужный кабинет, спросил, кто последний.

— Я! — взметнул руку, будто почесал за ухом, довольно молодой усатый мужчина.

— И это все сюда? — удивился Андрей, поскольку насчитал аж семь человек.

— Ну да, все, — мрачно ответил усатый.

— А кто перед вами?

Усатый ткнул рукой на женщину в красной кофте.

— Будьте добры... Ну, скажите, что я за вами. Нужно снимок сделать. Флюорографию пройти.

— Хорошо, идите. Тут надолго. Можете и пивка выпить, — повеселевшим голосом ответил усатый мужчина.

Андрей почувствовал, что ему сделалось жарко, затылок наливался свинцовой тяжестью, хоть с утра он проглотил таблетку адельфана. Почувствовал, как защемило, сдавило за грудиной, нащупал в кармане валидол, потихоньку двинулся на первый этаж. Очередь там уменьшилась, вскоре Андрей оказался в полутемном коридорчике.

— Раздевайтесь. Вешайте на стул... Майку можно не снимать, — командовал женский голос. — Заходите в кабиночку. Руки в стороны. Подбородочек выше. Так, не дышать и не шевелиться. Все, готово. Снимок получите завтра.

Хоть бы какой-нибудь чахоткой не заболеть, шевельнулась тревожная мысль, поскольку в последнее время больно мрачно у него на душе, а невеселое настроение никому здоровья не придает.

Почти через три часа Андрей Сахута возвращался из поликлиники. Чувствовал себя совсем погано. Утомился в очереди перед дверью участкового врача, а в его кабинете был совсем недолго. Тот коротко выслушал жалобы больного, померил давление — сто семьдесят на девяносто. Врач спросил, какое рабочее давление. «Сто сорок на восемьдесят». Навыписывал разных таблеток, посоветовал чаще выезжать за город, больше ходить, раньше ложиться спать, короче, вести здоровый образ жизни.

В последнее время Андрей рано вставал. Когда удавалось заснуть с вечера, то чувствовал себя лучше, а бывало, что целую ночь ворочался без сна. Тогда весь день болела голова, бился рой неотвязных мыслей: как жить дальше, что делать, где найти работу. А прежде всего мучил болезненный вопрос: почему все так внезапно обрушилось? Почему рухнула такая могучая сверхдержава? Почему рассыпалась такая монолитная, идейно сплоченная многомиллионная коммунистическая партия?..

Ответа не находил. Но все больше убеждался, что развал не был внезапным, все назревало давно. Года три назад он начал замечать, что в стране что-то происходит не так, что начатая перестройка не способствует укреплению, а наоборот — разрушает экономику, подрывает идеологические опоры общества. По радио и телевидению все больше говорилось про общечеловеческие ценности и все меньше — про коммунизм, про идеологическую работу. Говорить об идеологии стеснялись даже сами идеологи. И это веяние, этот ветер дул с востока, из самой белокаменной. А потом в ЦК КПБ поменяли название идеологического отдела на гуманитарный, инструкторы его в один момент стали консультантами. И в обкоме на Андрея Сахуту смотрели как на человека, который ничего не делает: ни промышленность, ни сельское хозяйство он не курирует, кадры не подбирает, только занимается болтовней. А в современном обществе, на всех парусах мчащемся в демократию, места для ортодоксальных демагогов нет.

Еще острей он ощутил перемены, когда жена однажды сказала:

— Ищи себе другую работу. Никому не нужна твоя идеология. Болтовня эта всем опостылела.

— Ты сама до этого додумалась? Или с чужого голоса поешь?

— У меня свое соображение. И люди об этом говорят. И пишут в газетах. Почитай «Комсомолку». Там открытым текстом сказано... Ну, не так в лоб. Но смысл такой.

Андрей читал нечто подобное и в других газетах. Ада особенно полюбила «Комсомольскую правду», хоть именно на страницах этого издания шло открытое шельмование идеалов, казавшихся Сахуте святыми, на которых воспитывался он, на которых выросло не одно поколение советских людей. Бывших комсомольцев.

Ищи работу... Легко сказать. Он же не дворник или сантехник. Подметал около одного дома, потом может орудовать метлой около соседнего или еще дальше. Где прикажут. Он же руководитель областного масштаба. Его все знают. Зачем я согласился идти в обком, иной раз костерил себя. А куда б он делся? Если бы не согласился, так поперли бы на понижение, и все начали

бы топтать. Вытирать о него ноги, как о тряпку. В глубине души он считал свое назначение не совсем разумным: лесничий по образованию, не философ, не историк. Почему технари начали руководить идеологией в ЦК КПБ? Дань научно-технической революции? Или дань моде? А потом новоиспеченные цековские «идеолухи» подбирали себе подобных в обкомы и райкомы. В таком подходе Андрей Сахута видел подрыв идеологической работы, ее ослабление. И это поощрялось центром как проявление нового мышления.

Как-то в воскресенье московское телевидение показало программу, в которой были специально подобранные кадры забастовок, демонстраций из всех союзных республик. Его охватили ужас и злость: как можно так показывать?! Диктор ни слова не сказал об осуждении шествий, не анализировались причины. Передача будто призывала: а вы, минчане, почему сидите? Почему не выходите на улицы? Почему не гоните своих партократов, идеологов? Типа Сахуты и ему подобных? Как не понимают этого в Кремле? Куда они смотрят? О чем думает Горбачев? А может, все это делается с его разрешения?

После поражения на выборах Андрей Сахута все чаще думал о своем будущем и перспективах строительства коммунизма. И его будущее, и перспективы коммунизма становились все более туманными и расплывчатыми. И он стал все реже улыбаться, вокруг глаз с каждым днем густела сетка мелких морщинок, от носа до уголков губ все глубже прорезалась морщина-подкова, глубокая и печальная.

Шло время. Ежедневно звонил Андрей бывшим коллегам, товарищам, есть ли у кого на примете вакансия, где бы возможно было устроиться. Ему сочувствовали, успокаивали, обещали поискать, но конкретных предложений не было. Словно обухом по голове ударило известие о смерти ответственного сотрудника ЦК КПБ Семена Михнюка, который некогда водил Сахуту на собеседование к Тихону Киселеву, тогдашнему первому секретарю ЦК Компартии Беларуси. Сахуту тогда избрали первым секретарем райкома. Семен Михнюк не дожил два года до пенсии, свалил преданного партийца инфаркт. «Наверное, и меня ждет такая судьба», — с печалью и безразличием подумал Андрей. Ибо с каждым днем чувствовал себя хуже. Ада каждый вечер устраивала допрос: кому звонил, кто что обещает. И почти каждый вечер вспыхивал скандал: я тебе давно говорила, чтобы искал работу, а ты все чего-то ждал, вот и дождался. Оказался у разбитого корыта.

Болезненно переживал Андрей, что не ощущал моральной поддержки детей, они стали реже заходить к ним. Сын Денис изредка звонил, утешал, дескать, не переживай, папа, все устроится, но ни разу не предложил денег, даже не спросил, не надо ли помочь. Надя сама жила трудновато, одна растила ребенка.

Впервые в жизни, имея столько свободного времени, Андрей взялся за книги. Читал разные, а больше всего потянуло к белорусской литературе. Перечитал Короткевича «Колосья под серпом твоим», заново открыл для себя Купалу. Читал его стихи, поэмы, публицистические статьи о независимости, самостоятельности Беларуси и удивлялся, как злободневно они звучат сейчас. Как-то сказал об этом другу Петру Моховикову, тот аж обрадовался:

— Ага, дошло до тебя! Ну что ж, лучше поздно, чем никогда.

Петро звонил часто, вечерами заезжал, всегда брал с собой бутылку водки, а то и коньяку, яблоки или лимоны. Долго беседовали, спорили.

— Систему разрушила не пятая колонна, про которую ты говоришь. Не западные голоса, хоть и они старались изо всех сил. Она обрушилась изнутри. Люди утратили веру в коммунистические идеалы. Хрущев что обещал? Через двадцать лет — коммунизм. А прошло уже тридцать! Где тот коммунизм? Где

обещанный земной рай? — горячился Петро. — Фига с маком! Пустые полки в магазинах. Талоны, купоны. Дурь, бестолковость на каждом шагу.

— Ну, а в Китае генсек сидит на месте. Политбюро управляет, — не сдавался Андрей. — Идет модернизация. Сами накормили свой миллиард с гаком. И нам тушенку продают. Куртки, шмотки. Даже Америку завалили товаром. Все у них есть. Значит, коммунистическая система развязала руки народу... Читал недавно Розанова. Прав Василий Васильевич, когда пишет, что Октябрьскую революцию подготовила литература. Она же, литература, подготовила и 91-й год. Вот книжечку «Тутэйшыя»[1] недавно перечитал, вспомнилось, как однажды дискутировал с ними.

— С Розановым я согласен. Литература — большая сила. Она пробуждает души людей. Там, в душе человека, вызревают революции. А затем одна искра — и вспыхивает пламя... — рассуждал Петро.

Эти встречи с другом, беседы, споры не приносили Андрею облегчения. После рюмки-другой засыпал легче, зато назавтра еще сильнее болела голова. И жить не хотелось...

Как-то вечером позвонил Микола Шандабыла из Могилева. Поговорили про житье-бытье, он и раньше звонил, успокаивал, говорил, чтобы сильно не брал в голову, работа найдется.

— Сколько твоей Брониславовне до пенсии?

— Два года. А мне целых семь.

— Да, тебе еще как медному котелку. Ну, так это ж хорошо! Молодой мужик. Еще наработаешься. Только не горюй. А то... На днях мы тут похоронили одного секретаря райкома. Сорок лет человеку. Инфаркт. Жена, стерва, пилить принялась... Доконала. Ему и без нее было муторно. Кошки на душе скребли... Слушай, а съезди ты домой. Я слышал, Марина с Бравусовым живут припеваючи. В Лобановке намечается вакансия. Главный лесничий лесхоза собирается на пенсию. Могу сосватать тебя. А с должности главного лесничего можно и в Минск сигануть, в министерство. В Лобановке председателем исполкома сейчас работает Толя Ракович. Сделали мы финт. Прежнего председателя забрали в Могилев. У него пенсия на носу. Давно просился... А Ракович молодой, толковый парень. Пускай управляет. Говорили с ним о тебе. Поддержка будет. Надумаешь ехать, звякни ему. Машину подошлет к подъезду. Что тебе по ночи тягаться...

Андрей поблагодарил земляка, сказал, что обдумает предложение.

Долго думать не было времени. Он схватился за это предложение, как утопающий за соломинку. Поехать в родную деревню хотел давно, но жена отговорила, дескать, что ты там высидишь в радиационной деревне. Теперь он решил не откладывать и через два дня выбрался в дорогу.

Билет Андрей взял в плацкартный вагон: все-таки чуть дешевле, меньше шансов встретить кого из знакомых, поскольку начальники ездят обычно в купейных. Людей набилось, как семечек в тыкву. Через час-два пассажиры начали выходить. Андрей ни с кем не заводил разговоров, читал газету, разгадал почти весь кроссворд. Похвалил себя: что-то знаю. Но кому нужны твои знания?

В Могилеве должна была состояться встреча с земляком Миколой Шандабылой. Твердо земляк не обещал, поскольку в тот день проводилось совещание, которое могло затянуться. В душе Андрею очень хотелось увидеться с другом, потому что теперь, как никогда раньше, ему нужна была поддержка, дружеский совет: как зашаталась земля под его ногами в дни ГКЧП, так

[1] «Тутэйшыя» — «Тутошние» (*бел.*)

и не обрел он твердости, определенности в своем положении безработного партийного функционера. Подливала масла в огонь и жена, которая слишком нетерпеливо ждала, когда он найдет работу. Досаждала, что не согласился с предложением Гарошки: пойти в его фирму заместителем по сбыту и обеспечению, руководителем службы маркетинга.

Гарошка удивил. Андрей считал, что бывший второй секретарь райкома затаил обиду, когда его, Андрея, избрали первым, поскольку на эту должность претендовал Гарошка. Раньше их связывали нормальные, товарищеские отношения: Андрей Сахута — председатель райисполкома, Гарошка — второй секретарь, их объединяло общее дело. А тут ситуация поменялась: Гарошка сделался подчиненным, подчеркнуто угодливым и послушным. Сахута старался ничем не обидеть товарища по партии. Года два они работали вместе, довольно дружно и слаженно, но прежней теплоты и духа товарищества уже не было. Потом Гарошка перешел в горком на должность заведующего отделом. В начале 1991 года, когда ощутил, что в воздухе запахло жареным, на имя жены, инженера по образованию, зарегистрировал фирму, которая начала выпускать счетчики горячей и холодной воды. Продукция нужная, фирма набирала силу. Гарошка расправил плечи. После ГКЧП он и позвонил Андрею: подал руку помощи. Ада ухватилась за это предложение: «Соглашайся, твоя лесная профессия в городе мало где нужна». Правда, ему обещали должность в Министерстве лесного хозяйства: министра он давно знал. Это была одна из причин нежелания идти к Гарошке. А вторая — иного рода: Андрей в глубине души боялся, что бывший его подчиненный хочет потешить свое самолюбие: «Ты когда-то командовал мной, а теперь я покомандую, да так, как захочу, поскольку никакой профсоюз, не то что партбюро, тебя не защитит».

Однако на вакантную должность в министерство взяли человека из ЦК. Жена, как прослышала об этом, учинила скандал: Андрей и Ада впервые крепко поссорились. Он пожалел, что не имеет «запасного аэродрома» — любовницы, к которой можно было бы уйти. Порой совсем не хотелось жить.

Даже возникали мысли о суициде...

Эти воспоминания промелькнули в голове Андрея Сахуты под перестук колес плацкартного вагона поезда, мчавшем его на родину. Дорога всегда успокаивает человека. И Сахута чувствовал себя увереннее, в душе проклюнулся росток надежды: станет работать в родных местах наперекор радиации. Он начнет новую жизнь, воспрянет духом и телом. Он должен выстоять. Не сломаться.

Развал партии подкосил многих. Припомнил Семена Михнюка, который не дотянул до пенсии, упал, как подрубленное дерево. А как-то Андрею попалась на глаза статья: «Они ушли из жизни вместе с целой эпохой». Это была перепечатка из французского издания. Речь шла о самоубийстве бывшего милицейского министра Пуго, участника ГКЧП, бывшего главного хозяйственника СССР Кручины, маршала Ахромеева. Сильно, болезненно впечатлила статья. И тон ее был издевательский: ушли из жизни — туда им и дорога. Андрей особенно жалел маршала Ахромеева, с интересом слушал его острые, смелые выступления на съезде депутатов в Москве. Даже возникло сомнение: а сам ли ушел из жизни этот мужественный человек, не помогли ли ему это сделать?

В Могилев поезд пригрохотал под вечер. Стоял он тут аж двадцать минут, потому и договорились встретиться с Миколой Шандабылой. Вслед за пассажирами Андрей вышел из вагона и сразу увидел земляка, переваливавшегося навстречу. Высокий, грузный, краснолицый, в шикарном светло-сером костюме, но без галстука, воротник розоватой рубашки был расстегнут. Рубашка

розоватого цвета неслучайна, чтобы не так в глаза бросалась краснота лица. Эта краснота, гладкость, а также круглое брюхо, выпиравшее из-под пиджака, ярко свидетельствовали, что заместитель председателя облисполкома по чернобыльским проблемам успешно побеждает радиацию. Своим видом он убеждал: «Вот я, мотаюсь по зоне, почти каждый день бываю в командировках, в отселенных деревнях, днюю и ночую на загрязненной территории, а меня и черт не берет».

Разве можно было узнать в нем того отчаянно-молодецкого танцора и гармониста, ловкого, легкого и с косою на сенокосе, и на вечеринке в плясках? Земляки обнялись. Николай Артемович похлопал Андрея по плечу, пристально глянул в глаза, будто искал приметы грусти и душевных терзаний у безработного обкомовца. И, конечно же, нашел их, поскольку Андрей похудел за последнее время, и плечи как-то по-старчески опустились. Но обратился земляк нарочито весело:

— Ну, выглядишь бодро. Молодцом! Не горюй! Все утрясется. Лихо перемелется, и снова хорошо будет.

— Ой, боюсь, долго лихо будет хозяйничать, — невольно вздохнул Андрей.

— Дорогой мой, никто этого не знает. Вот устроишься на работу. Поддержку гарантирую. Ты позвонил Раковичу?

— Не нашел я его, — соврал Андрей, поскольку и не искал — постеснялся. — Где-то на районе был...

— Напрасно. Ну, я сейчас на квартиру позвоню.

Попрощались без объятий. Миколе было неудобно, что не приглашает Сахуту в гости, не ищет для него вакансии в областном центре. Он и сам чувствовал себя на своей должности неуверенно, поскольку и так уже три года после пенсии работает. Кое-кто из бывших обкомовцев и городских партийных деятелей не против занять его кресло, правда, с оглядкой, поскольку ездить в зону никому особо не хочется.

Дальше Андрей ехал один в купе. Всматривался в окно, словно прилип к нему. Начался лес. Деревья то отбегали на какую версту от железной дороги, то снова обступали рельсы с обеих сторон. Лес был все больше смешанный: березы, осинник, старые толстенные ольхи роскошествовали, как барыни.

Изредка на окраине леса возвышались дубы. Они слегка закраснелись, еще не хотели поддаваться дуновениям осени. Зато осины уже вспыхнули багряным пламенем, зажелтели березы. Начиналось золотое бабье лето. Яркое вечернее солнце, словно прожектор, высвечивало и поваленные деревья, и хлам: неубранные, не сожженные ветки. Глаза не хотели это замечать, они любовались красотой верхнего яруса леса.

Андрей любил время бабьего лета. Любил прозрачность воздуха, чистоту высокого неба, многоцветное осеннее убранство и некое умиротворение в природе, которое передавалось и человеку. Легкая грусть овладевала душой: отлетело в теплые края вместе с птицами еще одно лето, впереди долгая зима, но после нее обязательно настанет весна, все живое расцветет, воспрянет душой и телом человек. Весной никто не хочет умирать. Цвести и радоваться стремится все живое.

Но на этот раз бабье лето мало радовало Андрея. И на душе не было того возвышенного ощущения, того волнения, которое охватывало, когда ехал на свою малую родину. Раньше всегда казалось: чем ближе родная деревня, тем больше в воздухе кислорода. Теперь на душе было уныло, тревога, неизвестность и неопределенность портили настроение, точили сердце.

На станцию Андрей Сахута приехал после полуночи. Несколько человек вышло из вагона, он ступил на перрон последним, сразу почувствовал дыхание влажного упругого ветра.

— Андрей Матвеевич! Добрый вечер! С приездом, — перед ним стоял высокий плечистый мужчина в темном плаще. — Узнали? Ракович.

— Анатолий Николаевич! Добрый вечер! Спасибо за встречу. Признаться, не ожидал... — пожал протянутую руку, даже захотелось обнять земляка, но сдержался: они все-таки малознакомы.

Похоже, Ракович почувствовал этот душевный порыв гостя, слегка обнял Сахуту за плечи, повел к машине. Водителя не было, Ракович сам сел за руль «Волги».

— А помните, Андрей Матвеевич, как вытягивал трактором ваш «газон»: вы тогда агитбригаду привозили на открытие клуба...

— Помню. Незабываемая была поездка. И вечер такой веселый. Концерт. Как ваш отец поживает?

— За семьдесят перевалило. На пенсии. Еще топает по хозяйству. Пчел держит. А приезжали вы... Кажется, это был шестьдесят первый год. Я закончил школу. Поступал в институт механизации. Завалил. Отец отматерил. Посадил на трактор. Вот, говорит, повкалываешь зиму, весну, так захочешь учиться. Так оно и было. На второй год поступил. И вот уже тридцать промелькнуло...

Андрей Сахута отчетливо вспомнил тот далекий осенний вечер. Как ехали в переполненном райкомовском «газике», он был за рулем, как забуксовали, пошли по грязи пешком, как встречали их сельчане. Потом — концерт, угощение, веселые пляски, особенно выделялся счастливый председатель колхоза Николай Ракович. Припомнил Сахута и незабываемый поцелуй девушки-комсорга, ее признание, что первый раз сама целовала парня, своего начальника — он был тогда первым секретарем райкома комсомола, — да еще женатого.

— Там была у вас комсоргом девушка. Кажется, Полиной звали. Агрономом работала. Не знаете, где она?

— Почему не знаю? Знаю. Она теперь директор школы в Лобановке. Не повезло ей. В прошлом году умер муж. Года три до пенсии оставалось. Не болел. И на рюмку особо не налегал. Он был начальником энергосетей. Так сказать, главный электрик района. Лег спать и не проснулся. Инфаркт. А Полине Максимовне прошлой весной исполнилось пятьдесят. Шумно, весело отметили золотой юбилей. И вот осталась одна...

Ракович рассказывал о ее детях. Андрей слушал невнимательно, у него сразу мелькнула мысль, что надо с ней встретиться... Интересно, какая она теперь? Перед глазами предстала ясноглазая веселушка с пушистой толстой косой. Весь вечер он плясал с ней, жарко поцеловал — потом себя укорял: разве можно целовать другую, когда имеешь жену, молодую, красивую, любимую. Вспомнил, как сидели за столом после концерта, Поля прижималась к его ноге горячим коленом... И вот уже, как отметил Ракович, промелькнуло три десятилетия. Как летит время!

— Мест в гостинице нет. Переночуете у меня.

Назавтра в кабинете Раковича Сахута знакомился со своим будущим шефом — директором лесхоза. Невысокий, щупловатый, под тонким птичьим носом темнели короткие усы.

— Капуцкий Иосиф Францевич, — подал узкую твердую ладонь.

Андрей назвал себя, искренне пожал руку директора, словно говорил: хочу, чтобы у нас были товарищеские отношения, я не приехал тебя подсиживать, хоть и местное начальство, и высшее — мои друзья и земляки. В круглых темных

глазах директора увидел затаенную настороженность: зачем прилетела сюда эта столичная птаха? Он знал о Сахуте гораздо больше, чем Сахута о нем.

Хитрый Ракович сказал, что ему нужно на минутку отлучиться, вышел из кабинета, чтобы коллеги-лесоводы знакомились без него. Вскоре Сахута знал, что Капуцкий родом из Ошмян, приехал сюда после института, работал помощником лесничего, потом поднялся по служебной ступеньке — стал лесничим. На этой должности отработал семь лет, затем назначили его главным лесничим, и вот уже четвертый год работает директором лесхоза.

— А я после техникума начал свой жизненный путь помощником лесничего в Лесковичах. Месяца три отработал — взяли в армию. Вернулся со службы. Может, с полгода отработал, избрали секретарем райкома комсомола. А потом — обком комсомола, ЦК, в Минске — райисполком, райком, обком... Ну, а тут известные вам события. И остался я при своих...

— Ну, я слышал о вас. Ничего, как-нибудь все утрясется. Лес шумит... Работы нам хватит, — рассудительно сказал Капуцкий.

Внешне Капуцкий был очень спокойным, но в его голове роем гудели мысли. С одной стороны, его удовлетворял такой поворот событий: будет новый главный лесничий, профессионально человек отсталый, но жизненный опыт имеет, связи в области и в столице тоже имеет. Директором его пока что не поставят, да и захочет ли он тут осесть? Карьеру лесную делать ему поздновато: перевалил за полсотни. А вот ему, Иосифу Капуцкому, самое время сбежать отсюда, из радиационной зоны. Лесхоз считается одним из передовых в области за год. Сахута обкатается тут, а он будет готовить себе почву. А вдруг жена Сахуты упрется? Верно, ей не захочется из столицы ехать сюда. А может, дети выпихнут, им всегда мало места.

Вопросов в голове Капуцкого было больше, чем ответов. И потому он осторожно расспросил про семью, про жену. То, что ей всего два года до пенсии, что она тут когда-то работала, что они тут когда-то познакомились, поженились, — обнадеживало.

— Вы родом из Хатыничей?

— Да, моя старшая сестра живет там и сейчас. В отселенной деревне. Хочу подъехать к ней. Может, Ракович даст машину.

— Можно сегодня съездить. У меня есть транспорт. И в лесничество заскочим. Там помощник исполняет обязанности лесничего. Молодой парень. Еще холостяк. Бежать хочет от радиации. Лесничий вырвался, как птица из клетки. Двое маленьких детей. Грех держать было.

Андрей слушал, и вдруг его обожгла мысль: а что если устроиться в лесничество? Раз есть вакансия. Там когда-то начинал. Марина близко живет... Ада, конечно, будет против. Зато не нужно возвращаться в опостылевший город, видеть сочувственные взгляды, ждать звонков. Просить у жены денег даже на пиво...

— А знаете, Иосиф Францевич, у меня крамольная мысль появилась. А может, устроиться пока что лесничим? Раз есть вакансия.

— Отличная мысль! До первого декабря еще больше двух месяцев. А ждать да догонять — паршивое дело. Сейчас едем в лесхоз. Напишете заявление, и катанем на смотрины.

Вошел Ракович.

— Извините, мужики, я с заместителем решал одно дело. Задержался. Вы немного познакомились?

— Мы хорошо побеседовали. С сегодняшнего дня Андрей Матвеевич заступает на работу, — с нескрываемой радостью сообщил Капуцкий, мол, во какой я дипломат.

— Вы что, шутите? На какую должность? — удивился Ракович.

— Лесничим на своей родине. Где когда-то начинал свою...

Сахута искал нужное слово и будто споткнулся. Напрашивались варианты: свою биографию, или жизненную дорогу, или деятельность. Но все варианты показались излишне пафосными: выходит, что он за тридцать лет поднялся на одну ступеньку — вырос от помощника до лесничего!

Ракович, видимо, понял переживания, душевное состояние минского гостя, поскольку поспешил подбодрить:

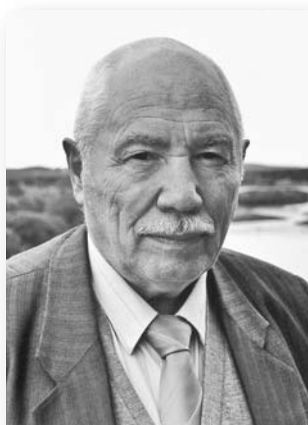
— Андрей Матвеевич, у вас есть шанс за два-три года пройти путь от лесничего до министра. Это стоит отметить.

Хозяин кабинета достал из сейфа бутылку коньяка «Белый аист», заказал секретарше три чашки кофе.

Анатолий Ракович не ждал такого поворота и был действительно рад, что высокий столичный гость не побоялся радиации, бросает столицу, чтобы начать работу на своей родине. Удовлетворение было и на лице Иосифа Капуцкого, но в глубине его темных круглых глаз затаилось несогласие со словами председателя райисполкома: он, директор лесхоза, должен идти на повышение, поскольку уже наелся радионуклидов, его дочка болеет щитовидкой. В душе Иосифа Францевича окрепла надежда, что он вырвется отсюда. Но сделает это с достоинством: поднимется вверх по карьерной лестнице.

Перевод с белорусского Андрея ТЯВЛОВСКОГО.

Окончание следует



ЮРИЙ САПОЖКОВ

А я весь мир благодарю

Вот и все... О болезни Юрия Михайловича стало известно в прошлом году. Врачи предупредили: необходима срочная операция, но гарантии, что после нее он вернется к прежнему образу жизни, они дать не могут. Всех, кто хорошо знал Юрия Сапожкова, это повергло в шок. Всегда полон энергии, всегда жизнерадостный, — само слово болезнь как-то не сочеталось с его образом…

Когда во время одной из редакционных командировок Юрию Михайловичу, который любил скорость и, казалось, никогда не разлучался со своим авто, шутливо заметили, мол, сейчас взлетим, он серьезно ответил: «А ведь я с детства мечтал стать летчиком». Не случилось. Хотя занятие поэзией — это тоже полеты. Не только мысли, нет. Это почти физическое ощущение невесомости. Юрию Сапожкову такое состояние было очень хорошо знакомо.

«Когда тебя повело — это и есть вдохновение. Потом через год посмотрел — хорошо. Но почему не гениально?!.

Я стихи не высиживаю, просто не тороплюсь на бумагу заносить. Тогда нужное слово тебе падает. Это просто любовь к точности...

Есть метафора, есть неожиданность — стихотворение есть... Бывает, нет метафоры, но стих держится на очень интересной парадоксальной мысли. Метафора покажет, кто ты есть. Это твой паспорт в поэзии. А если к этой метафоре есть еще и голая мысль... Ах, как это хорошо!»

Эти рассуждения Юрия Сапожкова Татьяна Шпартова записала во время бесед с ним о поэзии. А сколько таких интересных мыслей было им высказано другим нёмановским авторам — известным и начинающим поэтам, которые ежедневно приходили в редакцию со своими новыми стихами. Мысли, как облака: когда те словно застывают над нами, кажется, что они вечны и любоваться ими можно всегда, стоит только обратить глаза к небу...

Был ли строг Юрий Михайлович к авторам — надо спрашивать у них. Но как он радовался вслух каждому интересному образу, каждой удачной строке, обнаруженным среди большого потока обычных рифмованных предложений! Десятки авторов должны быть благодарны именно ему, что хотя бы одним небольшим стихотворением попадали на страницы журнала. Вместе с тем, он никогда не позволял себе говорить о ком-то высокомерно, подчеркивая свою значимость как поэта. А когда слышал в свой адрес добрые слова, касающиеся его творчества, казалось, даже немного смущался. Не оттого, что не знал себе цену, а оттого, что был очень чувствительным, отзывчивым на любое проявление добра. И не важно, исходило оно от очень близкого или почти незнакомого ему человека. И, наверное, еще оттого, что его поэзию, которой он отдал полвека своей жизни, как-то просмотрела серьезная критика и в Беларуси, и в России. А ведь это поэзия очень интересная, своеобразная, вневременная. Нужно было видеть, какими аплодисментами отзывалась на его стихи, прочитанные со сцены, молодежная аудитория!

Он никогда не отказывался от выступлений. Наоборот, просил: «Почаще меня приглашайте!» Он был легок на подъем, всегда в пути, всегда спешил, словно находился на трассе, за рулем своего авто.

«Взлетаем, Юрий Михайлович?..»

Теперь он уже не ответит, потому что душа его высоко, на небесах...

Алесь БАДАК

У памятника Пушкину

Открыто смотрит он в лицо столетьям.
Задумчив. Грустен. И немного строг.
Наверно, так же он стоял под пистолетом.
Никто тот выстрел отвести не мог!..
По-русски горько бабы голосили.
Шалел февраль, метелями трубя...
Одна лишь пуля.
А Россия
Все не придет никак в себя.

Нежность

Девочка с муравьиной талией,
Первое мое вдохновение.
Вся ты — словно проталинка
Среди снежного окружения.
И не думал, слепой от нежности,
Что с годами дороже станет
Островок последнего снега,
Который все тает, тает...

Расплата

Я птиц любил.
А их ловили кошки.
Но кошки ластились,
И я им все прощал.
Скворечни вешал, не жалел и крошек,
Но все же птиц и небо предавал.
И вот итог моих ошибок прежних:
Сам ненароком когти проглядел.
Живу один, пустой, как та скворечня,
В которую никто не прилетел.

Бессмертие

Невзгоды ищут нас усердно
Покоен будь — не обойдут.
И вот, не вынося из сердца,
Нас на плечах уже несут.

Пусть все кричит, что мы не вечны.
Но надо так стараться жить,
Чтобы никто не мог на плечи
Из сердца
нас
переложить.

Ночная тишина

Жизнь катится, чуть прогибая оси.
Сентябрь, октябрь, ноябрь на перелом.
В который раз уже трехтомник осени
Выходит в свет огромным тиражом.
Вновь так желанна в городе большом
Мысль о побеге в деревеньку дальнюю –
Там звуки носят мягкие сандалии
Или бесшумно бродят босиком.
Очнулся дождь и перешел на шепот.
Он что-то шепчет мне о ноябре.
Морозец ночью сможет ли заштопать
Зияющие лужи во дворе?
Я привожу в порядок мысли давние
По праву возраста...
Я очень тороплюсь:
Вдруг, как минер, не выполнив задания,
На тишине бессониц подорвусь!
Какая ночь!
С одной звездой-пробоиной
Мне говорил знакомый старшина:
«Страшна, конечно, тишина до боя.
Страшнее — после боя тишина...»
Жизнь катится...

Отец

Отец мой там, где листьев всхлипы
Над свежекрашенной оградой,
Отец мой там, где корни липы
Вчера обрублены лопатой,
День новый ясной мыслью начат:
Там холодно, темно и влажно.
Но там отец, и это значит,
Что уходить туда не страшно.

Березка

Бесхлопотно — даже прическу
Не потревожив свою, —
Шофер у дороги березку
Срубил и швырнул в колею.
И тем был он счастлив нимало,
Что слышать душа не могла,
Как долго о жизни кричало
Бескровное тельце ствола.
Пришел он домой, раздевался,
Сидел, выбивая мундштук,
И тихо над тазом ругался,
Что грязь не смывается с рук.

Поэт

О. Мандельштаму

Худой, нескладный, непричастный
К тому, что мир существовал,
Он в сорок лет в квартире частной
Светелку тихую снимал.
И мы, догадываясь смутно,
Не понимали, отчего
Так было радости уютно
В печальной мудрости его.

Любовь

В семнадцать — праздничная новь,
Она в двадцать четыре — благо.
А после тридцати любовь —
Души великая отвага.
И речь не та, и студят кровь
Увы, знакомые напевы...
Моя последняя любовь —
Нечаянная встреча с первой.

Наталье Гончаровой

Я камня на нее не поднимал.
Не убивал язвительною речью.
Поймите, наконец, на Черной речке
Ведь он ее под пулей оправдал!
Наедине подумайте об этом.
И острый камень да минует цель.
Не суесловьте о жене поэта:
Он вас не может вызвать на дуэль.

* * *

Твои уже недетские успехи
Я принимать и понимать устал.
Мне остается в том искать утехи,
Что я в тебе утехи не искал.
Нет, не искал. Что за нелепость
Брать приступом уловок и речей?
Ведь красота, она совсем не крепость —
Не брать ее, а — сдаться перед ней!

Пальцы

Ее побледневшие от сделанной ошибки пальцы,
Точеные, как оперенье птицы,
С ухоженными клювиками ноготков,
Мгновение назад лениво
Искавшие личинки букв,
Расползшиеся по клавиатуре,
Вдруг превратились в дружных жадных хищниц —
Набросились на лист испорченной бумаги,
И в урну полетел
Хрустящий косточками тонкими комок.
Ничтожное событие, и как же
Оно меня задело! Как притихла, сжалась
Душа, неведомую чувствуя опасность...
Я места целый день не мог себе найти.
Потом пришел домой и вынул из корзины
Измятый лист исписанной бумаги,
И долго расправлял его, и плакал,
И душу успокаивал как мог.

* * *

Нам надоело по углам
Слоняться здесь, мотаться там,
И, потеряв терпенье,
Мы в самый лучший ресторан
Идем, как будто на таран
Общественного мненья.
Какой блистательный уют!
Знакомцы водку лихо пьют
И в танце медленно страдают,
И речи кольцами пускают,
Глазами чутко зал стригут,
Поспешно нас не узнают.

Искушение

Девчонка с Ялтинского телеграфа, —
Глаза, как утомленный Южный Крест...
Мне совестно от взгляда, как от штрафа
За безбилетный заячий проезд.
Печалится — я вижу гор громады,
Подернутые томной синевой.
Смеется — и шальные водопады
Срываются весенней крутизной.
И будь я с северянкой не помолвлен,
Я в грозовую ночь бы в горы убежал,
И наломал бы там охапку молний,
И светом их тебя короновал.
Прощай, царица Ялты; гордо царствуй,
Не искушай непрочный мой уют.
На черном небе бешено и ясно
Нетронутые молнии цветут.

По мотивам английской песенки

Максвеллтон, Максвеллтон, зеленых склонов
В росе нарядной, мне нет милей.
Там Анна Лауре дала мне слово,
Честное слово, что будет моей.

Ее словами — такая жалость —
И раньше был я по горло сыт.
А это все-таки продержалось,
Оно продержалось дольше росы.

Благодарность

Пусть жизнь истрепана в мочало
И мир по-прежнему жесток,
Пусть бесконечное начало
И есть заведомый итог.
Но, как бы ни было мне плохо,
Свою судьбу я не корю.
Пошлет добра мне кто-то кроху,
А я весь мир благодарю.

Строка

Не по томам, что на лотке
Покоятся горою,
Поэта ценят по строке,
Единственной, порою.
Миры раздумий и страстей
Она одна вбирает.
Бывает, что и жизни всей
На строчку не хватает...

Друзьям

Я ухожу и оставляю вам
Незапертою дверь —
Как у славян
Бывало принято.
Желаю вам добра.
Огонь мой вас согреет до утра.
Но если вы придете на ночь в дом,
И соли и огня не будет в нем, —
Тогда предайте этот дом огню!
О вас я доброй память сохраню.

ВАЛЕРИЙ ГАПЕЕВ

Однажды в Почутове

Рассказы

Русалочий цветок

Наше Почутово кто не знает? А вот кому не надо, тот и не знает. Власть районная и областная не знает? Почти не знает. Газетчики да телевизионщики не знают? Не знают. Туристы всякие не знают? Не знают.

Вот и хорошо. А чего нам лезть в глаза занятым людям, может еще и добрым? Мы тут со своими проблемами сами разберемся. Нам бы, главное, чтоб два раза в неделю автолавка приезжала да почтальонка Томка пенсию исправно доставляла. Ну и газеты там разные.

Томка — молодуха ядреная, как едет на своем велосипеде, тот только поскрипывает жалобно. Семен, наш главный бабыль (не в том смысле бобыль, что один живет, а в том, что бабыль — специалист по бабам, значит), авторитетно утверждает, что Томке муж нужен непременно. Нельзя допускать, чтобы велосипед со своим узким седлом единолично мог к тайным Томкиным местам прикасаться, потому что от этого бывают всякие застойности в женских организмах.

С Семеном в этих вопросах равных, конечно, нету: у него две жены в Почутове живут, и обе законные. На одной Семен по молодости, еще до службы женился. По паспорту. Семен сам мужик здоровый, самый богатырь у нас, прокос у него больше двух метров получается, а сухостой пиленый носит на плечах, как спички. И вот, поди ж ты: выбрал в жены себе девушку росточка маленького, ну, девчушка совсем. Однако же веселая, певунья, а к работе — все в руках горит.

Ушел служить — она ему мальчонку родила. А сам Семен из армии тоже не голодным приехал: привез жену с дочкой. По военному билету. И эта жена крошечная, как кукла детская. В общем, Семен мог бы одну жену в одну руку взять, другую — в другую да и гулять идти.

Ну, раз уж получилось так, не станешь же первую жену из дома гнать. Она, конечно, обиделась поначалу, в материн дом пошла (рядышком стоит), а потом одумалась: Семен-то человек душевный, добрый. Работящий к тому же. И справный во всем, здоровый мужик. И простой силой здоров, и той силой Бог не обидел, которая мужним женам очень даже нужна бывает. Сын его любит, опять же. Да Семена все дети в селе любят. Он детворе орешника на удилища самого ровного и длинного в лесу отыщет, свистки из молодой вербы научит делать, ворота футбольные на выгоне поставит и сам в них станет, а пацаны и рады ему голы забивать. Вот первая его жена все взвесила, подумала... И мужа приняла.

Стал Семен на два хозяйства работать. Мужики-то подшучивали над ним, мол, замучают тебя бабы, а потом огляделись: сегодня он с одного двора

идет, блинами со сметаной накормленный, а завтра с другого, там драниками с мясом угощался. Жены его меж собой вовсе и не воюют. И так завидно кое-кому стало: Семен на два двора в лугах сено косит, ему две жены обеды несут: одна щи наваристые с ребрышком, вторая — картошечки молодой с укропчиком да полкурицей. За каждым мужиком одна жена сено ворошит, а за ним — две. Да и какие бабы-то! Работают, одна перед другой стараются, песни поют, детишкам успевают носы вытирать. Картошку копать — опять две хозяйки у Семена, так исправно выбирают! У соседей на поле через десять метров мешок, а у Семена и его жен — по два через пять!

Еще по одному ребенку ему жены родили. А потом — еще по одному. Как идут вместе по улице — куры разбегаются. Семен — чистый, пылинки на нем нету, статный да сытый, две красавицы-жены под руки с двух сторон, а вокруг ребятни — не сосчитать.

В общем, Семен как есть двужильный: два хозяйства в порядке содержал, нигде не течет, не валится, баню одну на два хозяйства посередке поставил и забор меж дворами убрал. И жены его мужской лаской как есть обеспечены: и на гулянках веселые, и в работе ловкие, к людям с душой, к детям с любовью, а меж собой — с дружбой.

Тут и дети подросли, столько помощников в делах всяких — бригада целая! Семен уже и не напрягается так: трактор у него теперь; как посадит в прицеп всех своих — ну цыганский табор! В лес выедут, черники за день наберут, к вечеру сдадут, а на другой день — в город. И все дети одеты, обуты. А по грибы поедут — день вместе перебирают, что-то сдадут опять же, копейки ради, а лучшее — себе, зимой грибочки маринованные с картошечкой горячей да под рюмочку — это ж самая что ни на есть земная благодать.

Вот только любил Семен один по грибы ходить. Что тут удивляться: иной раз от такого внимания да забот хочется остаться одному.

Летом дело было. Есть в нашем лесу озеро русалочье. Мы русалок очень даже уважаем: они девки порядочные, а если кого и дурят или к себе затащат — так это уж, извиняйте. На то и русалка в озере, чтоб у мужика на плечах голова была.

Вот и попал на то озеро в одиночестве Семен. Он и раньше туда заглядывал (хорошо там с удочкой посидеть на зорьке, когда русалки шалить перестают), так что бояться ему не пристало. Да и чего русалок бояться: женщина она и есть женщина. В нашем Почутове Лизавета Косая пострашнее русалок будет, свяжись только.

Но день тот особый был, а Семен про это ничего не знал. День такой: один раз в году у каждой русалки зацветает в озере ее цветок. Через этот цветок душа ее выходит в светлый Божий день на солнышке согреться. Тяжело ведь — день в темной воде, а если на берегу, так все ночью да в сумерках. Цветут те цветы чаще в местах труднодоступных, чтоб людской глаз не соблазнять. А тут расцвел цветок у самого берега. Правда, берег был сильно болотистый, люди здесь не ходили.

А вот Семена черт попер в эту болотину.

Увидел тот цветок Семен. Красоты он необыкновенной: и простой совсем с виду, вроде кувшинки на воде плавает, а словно светится весь, будто живой. Понятное дело — душа там.

И сорвал тот цветок Семен. «Старшей дочери подарок», — подумал. Она у него рисовать училась, весь дом картинками увешала, и даже ворота с улицы решила разукрасить. Семен уже и ворота эти белилами выкрасил, да все не могла дочка выбрать, что там нарисовать. А такой цветок всем на удивление будет.

Принес цветок домой Семен.

И уснул.

День и ночь, и другой день спит. Не могут его ни жены разбудить, ни дети, ни соседи. И не знали бы причины, если бы старая Митричиха не заглянула, не увидела цветок, который Семен принес.

И сказала женам:

— Идите к озеру. Ждите русалку. Теперь ее душа уже никак не согреется на солнце. Значит, кому-то из вас нужно в русалки идти, и свою, и ее душу через цветок согревать.

Опечалились жены Семена. Думали-рядили до позднего вечера, так ни к чему и не пришли. Решили саму русалку спрашивать.

Узелок собрали, взяли сливянки графинчик для угощения, пошли к озеру. Вышла к ним русалка. И вправду, нехорошее дело Семен сотворил: бледная женщина, холодная, трясет ее. Ну, от рюмки сливянки малость порозовели щеки, и то ладно. Стали ей жены говорить:

— Вот незадача какая: нас ведь у Семена две жены. Будь одна — не было бы проблем. Хоть одна, хоть другая пришла бы к тебе, только бы Семен проснулся. А нас две. Кому идти? Одна пойдет, другая до смерти себя корить будет. Как детишкам в глаза смотреть? Да и Семен ту, которая с ним останется, разлюбит: это ж получается, та, которая в озеро пошла, его больше любила.

— Да уж, и вправду, задача непростая, — ответила русалка. — Не знаю я, бабоньки, чем вам помочь. Может, мне самой которую из вас выбрать? Так нет же, скажет потом Семен: почему ту выбрала, а не эту? А про жребий думали?

— Думали, — ответили женщины. — Да ведь кто жребий подтвердит? Не станешь же его перед всей деревней бросать, а злые языки все одно сболтнут что Семену.

— Ладно, — говорит русалка. — Отложим это дело на завтра, я у своих еще спрошу, которую из вас к себе взять за цветок. И как взять. А теперь налейте-ка еще по рюмашке, хорошо-то как стало...

В общем, долго сидели две жены Семена и русалка на берегу лесного озера, угощались сливянкой, говорили о своем, о бабьем: и о веселом, и о грустном...

Но ведь как в жизни бывает? Это добро известно от кого идет, а зло — оно само по себе появляется. Пока две жены с русалкой на берегу сливянку пили, понеслась по Почутове молва: во всем старшая дочка Семена виновата, художница. Дескать, если бы не задумала она цветок на воротах рисовать, не стал бы Семен цветок рвать. Как услышала старшая дочь Семена эти россказни, ночь не спала. А наутро достала все краски, какие отец купить успел, вышла к воротам и принялась цвета подбирать.

День был летний, горячий, опустело Почутово: у всех дел хватает. Девочка весь день на солнцепеке рисовала, в краски перемазалась. Как присело к вечеру солнце на крышу сарая старой Митричихи перед тем, как за горизонт закатиться, собралась вся деревня у ворот Семена на диво глядеть: цветок-то ровно живой у Семеновой дочки получился! Солнце на крыше словно забыло, что ему катиться дальше надо, освещает его ласковыми теплыми лучами, а краски так и играют! Удивляются все: откуда краски такие, если были у Семена красная, синяя да зеленая с белой, какими только заборы и красить, а на цветке вовсе невиданные!

Тут солнце, вспомнив про свое расписание, за лесок с крыши скатилось, а цветок еще ярче стал в сумерках. Не расходится народ, любуется цветком.

Глядь — идут к Семенову дому русалки. Надо вам сказать, что наши, местные русалки, они вовсе не с рыбьими хвостами, как где-то там в заграницах. Наши — девки простые, веселые, только, чертовки, одежки у них про-

зрачные. Смущают сильно. И волосы, конечно, распущенными носят. Но это у нас непорядок так ходить, а им — можно, на то они и русалки.

Подходят они прямо к дому, где уже сколько дней Семен спит. Остановились у ворот, замерли перед цветком.

Тут старшая их (а без старшей, гляди, и они не могут) повернулась к людям и спрашивает:

— Кто же это сделал?

А что тут искать, если дочка Семена у ворот, подле цветка своего стоит, вся измазанная с ног до головы. Но, наверное, для порядка надо было спросить.

— Я, — отвечает девушка.

— Спасибо тебе, — говорит старшая русалка. — Нынче у нас под водой солнце гостило, всех согрело. Никогда так весело у нас не было. Раньше тепло к каждой по очереди приходило, одну солнце светом поило, а нынче настоящий пир у нас был, такой радостный, такой светлый! Иди, буди своего отца, хватит ему отдыхать, травы по пояс стоят!

Рассмеялась русалка, а за ней и все ее подружки. И тут же ушли.

Девчушка в дом побежала, возвращается — отца за руку ведет, а тот зевает во весь рот, грудь почесывает.

Вот такая история с Семеном и его женами приключилась. Цветок на воротах Семена цветет. А вслед за цветком враз и старшая дочка Семена расцвела. Нас-то, почутовских, красотой особо не удивишь, всяких мы видывали. Только вот у дочки Семена глаза такие — как омуты бездонные.

Так бы и утонул в них... Если б моложе был годков на пятьдесят...

Про Горыныча

Вот что у нас в Почутове любят особенно, так это баниться. Бань у нас, считай, в каждом дворе. И все бы хорошо, но как-то нескладно получается: ведь после хорошей баньки да за самоваром с чем-нибудь крепче чая посидеть — оно ж сам Господь велел. Но по душам-то поговорить с кем? К примеру, Митрич со своей Митричихой шестьдесят годков вместе живут, потому он давно наперед знает, что она скажет, что подумает и о чем помыслит. Собрались мы, значит, однажды, мужики почутовские, на лавке у Митрича. Он и говорит:

— Неправильно живем. Нету у нас общности, все растянули по своим хатам одноособным, пустили ветром дух коллективизму!

Молчат мужики: прав Митрич, чего спорить понапрасну.

Тут Митрич шапку с головы снимает, хлоп о скамейку. Серьезное дело, знаем: просто так свою оппозиционную голову Митрич показывать никому не станет. У него на голове как: волосы седые, будто побеленные, а посреди — ровная полоска лысины, загоревшая. Как есть флаг бывший, национальный. И знаем: если Митрич при народе шапку снял — дело серьезное. Митрича, опять же, мы уважаем, пусть он сейчас, как вопросительный знак, согнувшись ходит по селу. (По секрету скажу — силу свою мужскую до сего дня имеет. Да еще и молодые обзавидуются).

— Будем строить баню. На берегу пруда, под вербами. На пять голов, — сказал Митрич.

— А почему на пять? — удивились.

— Хорошо две бутылки на пятерых идет, самая норма. Опять же, если голосовать, чтоб нечет был.

Сказано — не забыто. Картошки посадили, самая пора за баню взяться. Но чего ее строить, если у нас в Почутове уже три избы пустые стоят? За

день разобрали, на другой собрали. Митрич командовал. Ну, делали на пять тазиков, а оно и семерым не тесно будет. Бабы-то наши поглядывали искоса, перешептывались, а потом пришли разом и всем нам ультиматум: они сейчас, значит, глины накопают, намесят, кирпичей на печку натаскают, тут все опосля вымоют, выскребут, а чтоб пятница — ихний день. Спор, конечно, нешутейный возник: кому суббота, кому пятница. И тот день, и другой — женского роду. Но наш Степан-книжник точку поставил:

— У Робинзона, который на острове тридцать лет и три года жил, друг был, мужик. И звали его Пятница!

— Тьфу, окаянные, — плюнула в сердцах Лизавета Косая. — И тут без педерастии не обошлось.

Ну, Лизавета пускай себе плюется ядом, змея она и есть змея, а аргумент у Степана серьезный. Так мы, мужики, пятницу себе отстояли.

Вот и стала у нас, почутовских мужиков, пятница не просто там помывочным днем, а, как это сейчас по телевизорам говорят, клубным. Возле бани, как полагается, скамейки со столиком соорудили, да и крышу какую-никакую приделали. Хорошо, я вам скажу... Когда выйдешь весь распаренный, чистый, сядешь под вербой, а солнышко последними лучами последние капельки на лице просушивает, да пивка холодного мужики в руки подадут... Вот истинно я вам говорю: в такие моменты точно знаешь, что душа у человека есть, и после бани она у него не внутри, а снаружи тела. И радуется, как дитя малое.

Возле бани дело это и случилось. Осень уже к нам пришла, картошку выкопали, огороды убрали. Дождались мы своего расписания, пришли в баню: я, Митрич, Семен, Степан. Попарились по первому разу, присели дух перевести. Тут и услышали: гудит. Ревет даже. Что-то реактивное идет на посадку и почти прямо на нашу баню. Подскочили, руками замахали, чтоб полосу, значит, посадочную обозначить. Тут он из-за старого сада и показался, Горыныч. Еле дотянул на повороте, самая малость — и в пруд бы ахнулся или баню снес.

Отдышался, крылья сложил, присел на скамейку. Голову обхватил, качается. (Вот, опять же замечу, одна голова у Горыныча, враки все это про Змеев трехголовых, это только телята, бывает, о двух головах рождаются.)

— Дайте, мужики, пива хлебнуть... Все, отлетался!

И столько горести в его словах было, что почуяли мы: неладное что-то с Горынычем. Ну, мы ж не бабы, чтоб сразу с расспросами в душу лезть, пусть та душа и Змеева. Попил он пива, молчим.

Митрич свою самокрутку свернул (ох и самосад у него, настоящий, ядерный), повернулся к Горынычу:

— Дыхни-ка...

Горыныч дыхнул осторожненько, Митрич прикурил. Это у них игра будто: нравится Митричу так прикуривать, словно от огнемета. Рисковый дед.

— А теперь рассказывай, — выдохнул Митрич свой дым, что сбивает с ног неподготовленного ничуть не хуже пламени изо рта Горыныча.

— А что тут сказки баять? — вздохнул Горыныч. — Антарктиду вот облетел. И там нету. Нету, мужики... Нигде нету, ни на одном этом континенте. Один я Змей на всей земле остался, нигде Змеяны не нашел. Все как есть вымерли. Ох, может найдете, мужики, чего нашенского, покрепче пива? Это ж как больно себя самым последним чувствовать!

И слезы у него из глаз самые настоящие. А вот когда мужик плачет, да еще такой, как Горыныч, это уже беда настоящая. И мы это враз все поняли: помрет Горыныч один — и все, не будет больше у нас Змеев. Никаких.

— Дело серьезное, — говорит Степан-книжник, — а вот решать его надо на трезвую голову.

Тут мы все переглянулись: это ж Степан намекает, что дело решить можно? И как?

— А так... — бахнул Степан кружку с пивом на столик. — Перво-наперво, давайте Горыныча в баню. На нем песок с Сахары, грязь из нигерийских болот, лишай из тундры. Отмыть его, как полагается. Да и попарить надо, душу на место посадить — она ж у него где-то в хвосте сидит. Одежка вся истрепалась. Ну, штаны у меня дома есть, ненадеванные, на смерть жена купила, враз будут.

— А у меня пиджак есть, армейский, с погонами ефрейтера. В шкафу с тех времен еще висит, крепкий, — поддержал Семен.

— Погоны убрать немедленно, — категорично высказался Митрич. — Хватит, отмаялись под погонниками, продразверстку с вами вспомнишь. Значит, все быстро ополоснулись, а пока я Горыныча попарю, вы ему одежку свежую принесете. А дальше Степан пусть распоряжается...

Через полчаса Горыныч наш сидел под вербой, как только из яйца вылупленный: свежий, блестящий. И во всем чистом. Китель Семенов ему особенно подошел: ну, настоящий Змей-лесник.

Горыныч бутылку на стол поставил — заморское что-то, красивое. Я ее, как это заведено, открыть взял, а Степан в крик:

— Не трогать! Это для дела.

Вот же вредный: как о деле думать, когда бутылка на столе?

— Это для дела, — повторил Степан и другую ставит: нашу, скромную. — Вот из этой по рюмашке, чтоб думалось охотнее...

Выпили, прикусили яблочками.

— Ученые открыли, что всякое существо из одного кусочка, из одной капли сделать можно! — важно начал Степан.

— Удивил, — хмыкнул Семен. — У меня шестеро детей, и все из капелек получились...

— Молчи пока, — отмахнулся Степан и дальше говорит: — В той капле есть гены, маленькие такие, а все про существо в них записано. Значит, чтоб наш Горыныч сохранился... — и замолчал многозначительно.

— Хвост ему отрезать, что ли, и в холодильник упрятать? — спрашиваю я.

— Не дам хвост! — испугался Горыныч. — Чем в полете управлять?

— Тебе все одно не летать, сам говорил — отлетался.

— Мало ли чего я говорил... Полечу в Тибет, технику медитации освою, усну на тыщу лет...

— А потом?

— Да тихо вы! — закричал на нас Степан. — Чтоб гены сохранились, надо Горыныча женить!

Точно! Голова Степан!

— А на ком? — испуганно спрашивает Горыныч. — Нету ж Змеян на земле...

— На Лизавете Косой женим, — ударил рукой по столу Степан.

Тут мы все испугались.

— Да ты что? Да она такая змея — всех Змеян змеиней!

— Так это ж то, что и надо, — улыбается Степан.

— Это ж какая смесь атомная будет, если Горыныча да на Лизавете женить... — приуныл Семен.

— Степан дело говорит, — подумал и сказал Митрич. — Лизавета, конечно, змеюка еще та, а вот я думаю, что весь яд ее от того, что мужика у ней нету. Оттого и вся вредность ее.

— И вся ее жизненная энергия поэтому расходуется на всяческие гадости, — как точку поставил Степан.

Тут мы все на Горыныча посмотрели: что он думает?

— Да я че ж... Мне б детишек... Лизавета вредная баба, конечно, я у нее на трубу присел было, уставши, так она керосина в печку плеснула... Но, может, шутила она так. А, в общем, она мне по душе: нашей, змеиной породы.

— Внимание на себя обращала, непонятливый ты, — догадался Семен. — Чего ты на трубу садился, если б мог и в дом зайти?

— Так вот и хотел поближе ее рассмотреть...

— Все, значит, решено, — подвел итог собрания Степан. — Митрич у нас за свата, мы — в дружках.

Собрались мы быстренько, полотенца банные льняные Митричу как свату накрест повязали, Горынычу — бутылку красивую, я с яблоками, Семен цветов из своего палисадника рванул охапку, и пошли к Лизавете.

— Если сбоку смотреть, то никакая Лизавета и не косая, — рассуждал по дороге Горыныч.

— А с лица воду не пить, — поддержал его Митрич. — Не волнуйся ты так, хвост дрожит.

Подошли к дому Лизаветы, а боязно заходить-то. Митрича потихоньку вперед толкаем: ему что, он свое почти прожил, если чего вдруг да как...

Только на двор ступили, тут Лизавета из сарая:

— Что надобно, пьянтосы?

Стоит вся, как обычно: злющая! В старой длинной фуфайке, в шароварах цвета непонятного, через которые уже почти светятся ее колени. Босые ноги в глубоких калошах, а те калоши в навозе. Должно быть, у поросят чистила. Вся растрепанная, платок на затылок сбился, паутина старая к волосам прилипла. На крыльцо свое взошла, галошами шлепая, руки в бока наставила.

Митрич для порядка откашлялся и говорит:

— Ходили мы, значит, ходили... У вас — товар, у нас — купец!

— Чего-о-о-о?

Тут мы все впервые увидели, что оба глаза Лизаветы очень даже могут и в одну точку свестись. Так она двумя глазами на Горыныча, который посреди нас стоял, посмотрела — дырку чуть не прожгла.

— Вы чего? — переспрашивает строго Лизавета, а голос, голос у нее, не поверите, дрогнул.

— Да вот, — осмелел Митрич от такого Лизаветиного дрожания. — Нашему молодцу ищем красну девицу. Подсказали люди добрые, что дальше этого двора и ходить не надо. Он, болезный, сто тыщ верст отлетал, а ничего краше трубы на этом доме, где б присесть можно было, не нашел. Так пустишь ли в дом сватов?

— Так это вы меня сватать пришли? За Горыныча? — тихо спрашивает Лизавета, а мы на шажок попятились: знамо дело, если Лизавета голос приглушила, жди чернобыльского взрыва.

Митричу отступать некуда, набрал воздуха побольше и рубанул:

— Выходи, Лизавета, за нашего Горыныча замуж!

Лизавета глазищами (а они у нее большие, ерунда, что косые) хлоп-хлоп — и в сени дверь закрыла.

Стоим, как паром обданные.

— Кипяток из печи тащит, — думает вслух Митрич. — Это ж, зараза, сейчас плеснет, обварит всего... Митричиха меня вареного в дом не пустит.

— Или ухват побольше выбирает.

— Может, пойдем, а? Чего мы здесь будем стоять посреди двора, как пять тамбовских сирот? — спрашиваю я.

— Вот сейчас до нуля от десяти посчитаю, и пойдем, — говорит Горыныч.

— А почему от десяти, а не от пяти? — переступает с ноги на ногу Семен. — От десяти можем и не успеть...

— От десяти потому, как важно все очень. Тут, можно сказать, судьба всего вида Змеиного решается, а тебе — от пяти считай.

И тут дверь отворяется.

Если б Лизавета с большим чугунком кипятка на пороге появилась, мы бы ничуть не удивились. Да не было в руках у Лизаветы чугунка.

И Лизаветы не было.

В смысле, той Лизаветы, злой растрепы не было.

Стоит на пороге женщина.

Платье на ней ситцевое, белое в черный горошек, коленки высоко открывает (ах ты, Господи...). А под тем платьем томятся, лезут в вырез такие белые, упругие груди, такая меж ними ложбинка, что у меня слюноотделение приключилось. А ниже, а ниже то! Это ж кто видел, что у нашей Косой Лизаветы такая талия тонкая, а живот круглявый такой и ровненький? А эта... эти... бедра, вот! Бедра такие, что руки аж зазудели, вот подошел бы и обнял, прижался... Эх! А ноги! Матерь Божья, это ж как на станке кто их выточил! Загорели ровно, аж светятся, и кожа словно бархатная, так и поблескивает. И ноги те в лаковых черных туфлях на каблуках. Стоит Лизавета на этих каблуках так уверенно, как будто в них и родилась. Волосы причесаны, по плечам рассыпаны.

Улыбается смущенно Лизавета, порозовела вся. И ямочки у ней на щеках откуда-то взялись. Озорные такие.

И никакая она не косая, смотрит на нас своими большущими глазами, а в глазах тех блестит то ли слезинка, то ли лучики заходящего солнца.

В руках Лизаветы на вышитом ручнике круглый хлеб.

— Добро пожаловать, гости дорогие!

И нам поклонилась. И через тот вырез та самая ложбинка меж грудей — прямо по нам, как пулеметной очередью.

Степан из нас самый слабый оказался, как стоял, так и сел и стал вровень с Митричем.

У Семена рот раскрылся, аж страшно стало, как заклинило его. У меня яблоки из рук выпали, прямиком к сеням, к Лизавете покатились. Митрич вдруг встрепенулся, штаны одним рывком подтянул, распрямился весь, грудь вперед, подбородок поднял и стал, как некогда говорили, во фрунт.

А у Горыныча хвост отпал. Враз. И морда втянулась, клыки спрятались, кожа побелела...

Вот такой конфуз нам Лизавета устроила.

Дело, конечно, свадебкой закончилось. Скромной, но душевной. Горынычу Лизавета одного за другим родила двух мальцов и две девчонки. Нормальные дети получились, без хвостов, шебутные только очень. А старший у деда Митрича иной раз за зажигалку работает. С младшенькой самой, правда, проблем хватает: крылышки у ней прорезались. Не уследить стало, как на крыло встала. Но не озорничает девчушечка, наоборот: тихая да участливая, не отлетает далеко от деревни. Мы ее Мотыльком прозвали.

Ну и пусть себе будет у нас в Почутове девочка летающая. Мало ли у нас всего было...

Сохранились гены-то, прав был Степан...

Инопланетный аппарат

В этом году Леший нас так всех достал — спасу нету. То, что он в лесу ребятню с бабами пугает, мужиков с троп сбивает — это у него служба такая, тут мы не серчаем. У каждого его работа: кому хлеб растить, кому в лесу страх наводить. Однако же, возомнил себя философом — тут все и пошло у нас через пень-колоду.

А все оттого, что в минувшем году инопланетяне в самой чаще лесной, где бурелом, аварийную посадку сделали. Их и путать не надо было — сами так заплутали, еле Леший обратно к их тарелке потом вывел. Ну, они поремонтировались, как могли, а Лешему в знак признательности и дружелюбия оставили такой как бы телевизор. Телевизор этот мог показывать прошлое и будущее, если его отремонтировать. В общем, всякую судьбу человеческую. Леший пытался нам это объяснить. Дескать, у каждого человека не одна судьба, а великое множество. Как сучьев у дерева. А человек — это, скажем, червяк на том дереве. И сам он выбирает, где в каком месте на какой сук повернуть, на какую ветку выползти, к какому листочку доползти.

— Темнота вы дремучая, — хвастался Леший. — Все ж просто. Вот ты, Митрич, вчера от речки шел по лугу, никого не встретил. А мог бы повернуть и пойти домой через старый колхозный сад.

— И чего? — поинтересовался Митрич.

— А того! — важно поднял кривой палец Леший. — В саду колхозном в это время аккурат Горыныч был... с Лизаветой. Вот ты бы их застал...

Тут уже Горыныч кашлянул для порядка, спрашивает:

— И чего было бы?

— Так я откудово знаю? Однако же было бы что-то совсем другое. И у тебя с Лизаветой, и у Митрича. Может, у вас с Лизаветой ребятенка бы не получилось.

— Другой бы раз получилось, — засмущался Горыныч.

— А в другой раз другой бы и ребятенок был! — отрубил Леший. — Или не мальчик, а девчушка.

— Так это получается, от одного моего шага не в ту сторону, все по иному у Горыныча с Лизаветой сложилось бы? — не поверил Митрич.

— Все можно на этом телевизоре увидеть... Только ему ремонт небольшой нужен, будете ко мне приходить, смотреть: каждому из вас девятьсот девяносто девять жизней дается, шаг в сторону ступил — новая жизнь пошла. Дорого брать не стану, по ведру картошки. Салом можно...

Девятьсот девяносто девять... Тут не хочешь, а задумаешься. Как бы все пошло, если б, скажем, тот же Митрич согласился сорок лет назад в бригадиры пойти? А если б Степан в партию вступил? А если б Семен не привез с собой вторую жену?

Увидеть бы это хоть одним глазком...

И погрустнели мы. А пуще всех Степан. Неделя проходит, вторая — а он все темнеет лицом. И вот попарились мы как-то, присели отдохнуть, а он и говорит:

— Который день думаю — зря я, наверное, на своей Ольге женился. Эх, зря...

Ольга — это жена его, Степаниха, по-нашему.

— Это почему? — испугался Митрич.

— Она всю жизнь свою на меня положила. Всю себя из девичества самого мне отдала. А что я ей дал взамен? Вот если бы ей другой, лучше меня, повстречался, как бы счастлива Ольга была!

Тут, скажу честно, всем не до шуток стало.

Вот ведь какое дело. Жизнь семейная Ольги и Степана под самым бдительным наблюдением всей деревни находилась. Аж покудова они внуков не приждали. А все почему? Да из-за необычности их отношений.

Степан сейчас похож на оглоблю, на которую недоросток-тыкву посадили и очки нацепили. Как его Степаниха не кормит, а все не впрок! Худой, ребра торчат. Но голова работает, видно, вся энергия от харчей идет на умственную деятельность. Так вот, Степан в юности такой же был: высокий, худой и грамотный. Книжки читать любил. И все чего-то записывал: кто у кого когда родился и какая драка меж соседями по этому поводу приключилась, или как я кабана колол, а он убежал и в речке утоп... Все Степан записывал. Был он парень скромный, стеснительный, хоть и видный. Ну, к тому времени, как служить ему идти, и невеста нашлась: девка вся из себя, статная, грудь такая, что и тронуть боязно: надави сильнее — брызнет молоком.

Степан хоть и любил книжки читать, был работящий. Только уж больно тихий, всем во всем уступчивый. А женщины именно таких и любят: на такого сядешь и поедешь.

Вот, значит, всем селом отправляем служить Степана. Это теперь на полтора года идут в армию баловаться, а тогда на все три, а Степана и вовсе в морской флот взяли на четыре года! Уж как невеста его убивалась, как его грудь слезами да соплями мочила...

И тут конфуз на всю деревню.

Была у Сидора одноногого дочка. Мать-то на лесоповале сосной зашибло — он сам девчушку поднимал. Четырнадцать ей в то лето исполнилось. И бежит на танцы со всех ног. Поверите, нет, а все к Степану! Она ему аккурат подмышку уместилась бы. Все смеются — и она смеется. «Мой жених», — говорит на Степана и ничуть не обижается, если Степан с другой провожаться идет. «Все равно мой будет!» — топнет босой ножкой в клубе. Нам, понятное дело, смешно — чудит девочка.

И вот эта девочка Ольга приходит на проводы Степановы. Отплакали уже все, кто хотел, тут она подходит, козочка с двумя косичками, к Степану и говорит ему так серьезно: «Ты служи и возвращайся, я тебя ждать буду!»

Ну, понятное дело, все в смех, а она как заплачет!

Тут-то и сказала Митричиха: «А ведь дождется».

И дождалась. Та самая невеста, которая сопли о грудь Степана вытирала, за эти четыре года двух мужей сменила. А Ольга, сколько в ней сил было, ждала. Письма Степану писала. Степан, правда, не отвечал, однако, если домой писал, совесть ему подсказывала хоть привет этой козе с двумя косичками передать. Год прошел, два, три... Тут мать Степанова уже Ольгу принимает почти как свою дочку: когда две женщины одного мужчину ждут — одна сына, другая... ну, пусть, жениха, разве ж они не родные? Вместе волнуются, если вестей долго нету, радуются разом, как письмо придет.

Вернулся Степан. Видали бы вы: бравый моряк, статный такой. Как прошел по Почутову — куры шептаться стали. Как водится, всей деревней собрались моряка встретить вечерком. Сидит Степан в форме морской, а рядом с ним — дивчина городская, вся такая культурная, курицу вилкой ест.

И Ольга пришла. Она к этому времени уже и не козочка с двумя косичками, а дивчина дай-то Бог, с косой в руку за спиной. Вместе с матерью Степана хлопотала, на стол подавала, гостям угождала. А уж как все к концу пошло, встала и сказала: «Ты, Степан, сколько хочешь, невест привози, а все равно мой будешь».

Опять оконфузила деревню.

Месяц прошел — зовут Степана учиться. Он же книжки читать любит, — кому еще быть бухгалтером? Поехал Степан учиться. А через месяц-другой к его родителям — сваты в дом. Люди знатные на машине собственной приехали. Ну, и с дочкой своей.

Видел я ту дочку. Курица курицей. Вроде все при ней, да только — никакая.

Тут надобно вот что пояснить. Степан наш по женской части — полный профан. Где любовь, а где притворство — ни в жисть не разберет. Если его которая голубит да целует — Степан уже думает, что это любовь настоящая. Ну, известное дело, книжки читает... Беда, в общем. И вот эта городская, у которой родители с машиной, тоже и целовать умела, и в постель к Степану залезла. Тот как познал всю сладость любви, ни о чем думать не мог дальше. Все, говорит, люблю ее.

И вот, сидят-рядят семьи Степана и этой городской, а Ольга под окнами сторожит. И только вышел Степан до ветру — она его на обратном пути и перестрела.

И увела!

Черт его знает, что в то время в голове Степановой делалось, но видно вспомнил он, что это девчушка... да уже девушка, ждала его верно четыре года, матери его опорой была... В общем, пожалел Степан Ольгу. Пошел с ней гулять у речки.

Признавался мне потом Степан по секрету: если у него с городской той сладость была как от меда липового — сладкая да приторная, то с Ольгой у него под вербой у пруда такая нежная боль приключилась, что сам он слезу обронил.

А тут крик на всю деревню: ищут Степана, замовины же идут, о свадьбе договариваются.

Оставил Степан Ольгу, побрел в свой дом — где его со сватами другая невеста ждала.

А Ольга час спустя всю одежду с себя как есть сняла, камыша нарвала, им стыд бабий прикрыла да и пришла в дом. Там и оторопели. А она с порога: «Не видать вам Степана! Мой он!»

Выгнали Ольгу. Свадьбу стали готовить. И тут оказывается, что у той, городской, живот расти стал. Ну, Степану жениться — как черемухе цвести: не отвертеться.

В то лето, как сейчас помню, косили мы в лугах заливных. Тяжко, скажу вам. На неделю уезжали из деревни. Там и ночевали. Ну, и бабы с нами — сено из болота выносить. И вот шалашик Степан сделал себе и другу, а тут Ольга явилась. Другу слово шепнула, в руки сунула чего-то — тот и пропал. И сама Ольга в шалаш к Степану залезла.

Сам Степан говорил: не любил он Ольгу. Но жалел. Вот от жалости и принял. Еще раз.

И понесла Ольга. Да так свой живот впереди себя носила, словно хоругвь на крестном ходу. Радовалась.

Ну... Расстроилась та городская свадьба, как узнали они, что Степан девке ребятенка сделал. Безо всякой свадьбы (так, посидели вечерком) пришла Ольга в дом Степана и стала жить.

Тут надо честно сказать: хозяйка она отменная. И мать Степанову, лежачую три года, доглядела так, как иные своих матерей не глядят.

Про Степана и говорить ничего не надо: он за Ольгой как за каменной стеной оказался. Идут ли гулять — она соколом у него под рукой. В том смысле соколом, что скажи кто слово против Степана — кинется, глаза выцарапает. Уж как глядела — пылинки сдувала. Степан всегда накормленный,

ухоженный. На работу свою в бухгалтерию идет — все на нем выстиранное, выглаженное. В доме чистота да порядок, которых Почутово отродясь не видывало: в горнице в носках без обуви ходят, едят каждый из своей тарелки, как в ресторане. Однако пылинки сдувала, а самому спуску не давала: он при ней только, не дай Бог на какую иную глянет...

В общем, мало кто Степану не завидовал. Ну, честно сказать, и сам Степан, пусть себе и бесхарактерный, однако же руки имел мужские: порядок поддерживал, дом содержал в исправности, двор в чистоте. У него все записано было: когда корова покрывалась, когда свинья рыскала, чем одна отелилась и сколькими другая опоросилась.

Ровно жизнь Ольги и Степана текла. Пятерых детей вырастили, те разъехались, внучат нарожали. Почитай, каждое лето изба Степана и Степанихи полна ребятни.

А Степаниха Степана до этой поры ревнует: в баню его соберет, даже чекушку положит в сверточек, а вот после бани всего обнюхает: не слышно ли какого запаха чужого, женского. А ведь больше полвека вместе прожили...

— Так вот, мужики, — молвил Степан после третьей стопки, — разве моя Ольга такой жизни достойна? Я ж ей дать ничего не смог, как ни старался. Бухгалтером в сельпо отсидел — вот и все мои заслуги. Ну, голубил, как умел, да что я умею? С ее то любовью, как сейчас понимаю, с ее-то жертвой — разве же я достоин? В общем, Леший, ну-ка, тащи сюда свой телевизор. Если бы я не принял Ольгу, наверняка бы у ней жизнь счастливая была, наверняка бы встретила человека достойного!

Тут наш Леший задом-задом к болоту отступил:

— Погоди, Степан, у меня... эти, два фильтра частот не настроены... Вот недельку посижу, подберу количество витков — будет тебе вся жизнь твоей Степанихи в полном комплекте — все 999 вариантов как есть.

— Ну, давай там, поспеши, — кивнул скорбно головой Степан.

В общем, совсем невесело стало у нашей бани. Да и Степан откололся: не могу, говорит, себе позволить такого удовольствия, пока не узнаю все про Ольгу...

Через неделю собираемся в пятницу, как положено, у бани, без Степана уже, тут Леший приваливает, — скрюченный, хоть ты его в лукошко клади.

— Слышь, чучело лесное, чего тебя так пригнуло? — спрашивает Горыныч.

— С вами, людьми, намыкаешься, — отвечает Леший. — Хотел просветить, понимаешь, отсталость серую, так они непонятно что устроили...

— Ты поясни, а потом обвиняй, — убедительно попросил Семен. — А то я ведь сгоряча...

— Цыц всем! — отдал приказ Митрич, учуяв настоящую беду Лешего. — Сказывай, лесной дед, что случилось?

— Вот и случилось... — присел Леший на скамейку, козью ножку у Митрича взял, затянулся, выдохнул облако и стал сказывать: — Вот не знаю, кто про мой телевизор напутал, да только стали ко мне приходить молодухи, чтоб я им погадал! Не, вы это видели: Леший работает за гадалку! Это ж первый Леший-философ, можно сказать, во всей округе, а они из него бабку-гадалку сделали.

— А чего тебе гадать? Включил бы им телевизор...

— Так я и хотел было включить! — отчаялся Леший. — Сделал ведь, все показывает. Да только...

— Что только? — спрашиваем.

— Степаниха ко мне пришла, ну, Ольга, нашего Степана жена, — начал рассказывать Леший. — Пришла, вот такой кусок свежины притащила, не вам

ровня, жадины. Пришла, значит и говорит: «Ничего я в жизни этой не видела, окромя любви своей Степана. Всю жизнь ему собой застила, насильно на себе женила, и первого ребенка, его не спрашивая, без свадьбы от него зачала. И всю свою жизнь положила на то, чтобы рядом со мной он был, чтобы счастье мое со мной было. А если бы не была я такой настойчивой? Степан же умный мужик. Женился бы он на той городской, выучился может, и министром стал бы, при деньгах был бы, при должности. А я его, баба деревенская, в четырех углах закрыла, от света отгородила, что я ему дала? Любовь свою? Так любовь на хлеб не намажешь, на плечи не накинешь... Включи свою машинку, Леший, хоть правду знать буду: каким счастливым был бы мой Степан, если бы я, дура такая, не уцепилась в него кошкой остервенелой...»

Вот те и раз. Тут мы все про сомнения Степана вспомнили.

— Надо им очную ставку сделать, — говорит Семен. — Степану и Степанихе. Чтоб не несли всякую чушь друг на друга.

— Сам чушь несешь, — отвечает Митрич. — Надумал, тоже: в любовь соваться. Без нас разберутся. Слышь, Леший, а машинку ты починил, все исправно показывает? Степанихе показал?

— Починил, — говорит Леший. — А Степанихе не показывал, сказал — неисправный. И сам не глядел. Ну его... Вот, с собой притащил, — и ставит на столик наш, между пива, свой гадский телевизор.

— Это хорошо, — говорит Митрич. — А за сколько ты его продашь?

— Продать? — вскинулся Леший. — Да он мне столько денег принесет...

— Ладно, договоримся, — говорит Митрич. — С каждой моей свежины тебе... пол-лопатки.

— И полендвицу! — добавляет Леший.

— И с меня пол-лопатки, — расщедрился Горыныч.

— Так и я не против Лешего попотчевать, — подключился Семен. — Мои, знаешь, какие кровянки вкусные делают? А колбасы?

Растерялся Леший. Подумал-подумал и решился:

— Ладно! Ваш аппарат! Но чтоб честно!

— Да кто же тебя, черта лесного, обманывать будет, — усмехнулся Митрич. — Давай, Горыныч...

Ну, Горынычу два раза повторять не надо. — Дыхнул он сильно, но осторожно, затяжным выдохом — пламя аккуратно на аппарат пришлось. Тот и сгорел, только кучка пепла осталась.

— Ишь, технология какая хорошая, — заметил Митрич. — С такого большого аппарата пепла чуточку.

Так и не узнал Степан, что бы да как было, если бы он не женился на Ольге, а Степанихе мы и вовсе сказали, что все про аппарат наврал Леший.

И правильно мы сделали. Потому что, как узнали в Почутове, что сгорел аппарат инопланетный у Лешего, враз веселее стало возле нашей бани.

Про Митрича

Помер наш Митрич.

В ту самую пору, когда после скучных дождей приходят ядреные светлые утра.

В пятницу он попросил Семена взять машинку постричься. И Семен его аккуратно постриг возле бани. Попарились мы с чувством: все работы в огородах сделаны, осталось свеклу подергать, но до морозов еще далеко. Сидели, любовались на солнышко золотистое, слушали Горыныча: он про

дальние страны рассказывать мастак. О хорошем все говорили, тихо и тепло, без споров.

Митрич домой пришел. Митричиха его, как обычно такой порой, сериал свой смотрела. Прилег Митрич на диванчике в передней. Попросил чаю. Митричиха говорит, дай, мол, досмотреть, потерпи: тут вроде сейчас очень интересно будут в любви признаваться. Досмотрела свою серию. Кричит Митричу:

— Дай-ка телефон, там лежит у тебя под головой, позвоню соседке, спрошу, что-то я не поняла, любит он ее или бросать будет.

Молчит Митрич.

Глянула Митричиха, а он помер.

Похоронили мы Митрича. Отродясь таких поминок в Почутове не было: на полдеревни столы прямо на улице поставили. А что ж...

Про Митрича и его силу мужскую у нас все знали. Да не все. Только мне Митрич признавался, что да как случилось.

Митричиха — она же не всегда Митричихой была. Звали ее и Клавдией. А Митрич, тогда Митька, звал Клавушкой. Месяц они после свадьбы пожили и ушел Митрич на войну. Клавдия ему сыночка родила. Да не судьба: как почутовцы от карателей зимой у Болотника хоронились, заболел и помер мальчишка. Убивалась Клавдия.

Вернулся Митрич с войны, один мужик на все Почутово с руками и ногами. Нашей стороне уж больно досталось: по одному-два мужика возвращались в села. Да что ж, жить надо. Мужикам — дома строить, печи класть. Бабам — детей рожать. А от кого?

Была у Клавдии подруга роднее сестры. Пришла она к ней и говорит, как есть, прямо: одна я на белом свете, никого из родных не осталось, мужиков нету. Пусти своего Митрича ко мне... печку сложить. Ни взглядом, ни словом после не упрекну, дай только возможность мне ребеночка заиметь...

И не выдержала, завыла Клавдия так, как только бабы воют — так что всякому ясно станет: горе страшное, непоправимое. И рассказала Клавдия подруге: Митрич мужик, да только... не мужик. Ранило его, да в такое место, что все на месте осталось, кроме мужской силы. Вернулся Митрич здоровый будто, а жизнь не в радость. Словечка не вытянуть, все дни по хатам: печки кладет людям, избы строит, а придет — отвернется к стене и спит будто... Стали вместе две бабы реветь. Услышала этот рев соседка Клавдии, старая Прасковья, пришла. Клавдия и тетке призналась, чего уж... Не утаишь ведь, все равно все узнают. Сказала тогда Прасковья прийти Клавдии к ней поздно вечером.

Пришла Клавдия. Дала ей Прасковья узелок, а в нем — яиц пяток, трава особая сушеная. И подсказала путь к Висюну.

— Только смотри, девонька: узелок этот чтобы принял да выслушал тебя. А уж какую плату возьмет — этого я не знаю...

Висюн в старом ельнике, месте страшном и нелюдимом, жил. Там и в яркий день сумрачно. Пришла в тот ельник Клавдия. Позвала Висюна. Явился, как корч старый, сухой, скрюченный. Протянула ему узелок Клавдия и говорит:

— Просить тебя хочу, Висюн-хозяин.

— От ведь бабы какие вредные! — вскинулся тот. — Мужиков в селах не осталось, а ты еще и силы которого лишить собралась! А дети откуда браться будут?

— Наоборот, прошу дать ему силу, — сказала тихо Клавдия.

— Как так? — аж подпрыгнул Висюн. — Ты, девка, в своем ли уме? Знаешь ли ты, что, сколько лет я живу, столько лет и силу мужскую отымаю,

по просьбам вот таких, как ты, дур. Как же ты надоумилась просить такое у меня?

— Так, Висюн-хозяин, раз волен силу отнимать, волен ее и давать. Проси, чего хочешь у меня взамен.

Прищурился Висюн. Подумал и сказал:

— Верно, могу отнять, могу и дать. Первое тебе условие: не иметь зла на мужа, ежели он другой бабе ребятенка сделает.

Согласно кивнула Клавдия и сердцем сжалась — ждет, что дальше.

— Второе мое условие: ты от него детей никак не родишь до той поры, пока третье условие не выполнишь. А какое третье — говорить не стану.

Все внутри Клавдии черным стало, холодным. Но рассудила: ей с Митричем так и так детей не нажить. Пусть он хоть себя мужиком чувствует. Только бы не бросил ее... Да если и бросит... Главное — чтобы счастливым стал. Пусть у него детишки будут. Ее ведь вина, Клавдии, что их сын-кровиночка сгорел в болоте.

— Согласна.

— Хорошо, девка... — уставился на Клавдию Висюн своими глазками-точками. — Возле деревни стоит груша старая, засыхает уже, одна ветка чуть зелена. Иди домой и думай. Если решишься — бери нож. Палец-мизинец на левой руке разрежь и крест на стволе той груши нарисуй. Сама все увидишь... И знай мое слово: обратно силу у Митьки твоего не заберу, а тебе детей не дам.

Вот так было дело.

Все дивились, как вдруг старая сухая груша-дичка стала в листву среди лета убираться...

Ни в чем Клавдия Митричу своему не призналась. Уж какой он счастливый был, как же он свою Клавушку целовал, голубил, ночей не досыпая...

Отправился он в соседнюю деревню печь класть. Работал весь день, а хозяйка все то рядом с ним, то вокруг него. Спать лег — пришла к нему. Дрогнуло сердце у Митрича. Он же человек не железный.

Вернулся Митрич домой, поел, вышел покурить, глядь — та самая женщина стоит на пороге с его Клавдией. И тычет его жене узелок с чем-то... А Клавдия плачет. И женщина плачет...

Но Клавдия ничего про тот узелок Митричу не сказала. И Митрич не сказал ничего.

Год прошел. Все по селам да по деревням Митрич печки вдовам да молодым женщинам кладет, избы ремонтирует... Ночевать иной раз остается. Как тут устоять?

А Клавдия, хоть и лаской мужней не обделена, а в землю глядит.

Летом как-то, когда свободней стало, пошла Клавдия по ягоды. Далеко зашла: так ягоды вели, почти до того ельника, где Висюн живет.

Тут и нашлись они.

Девчушке годков пять, не больше. А мальчонке не боле трех. Сидели они в яме, изодранные, почти голые, исхудалые до костей, изгрызенные в кровь комарами. Испугались Клавдии, вжались в землю, глазки блестят, как у волчат.

— Да что ж вы... Да откуда ж вы... Вот хлебушка, хлебушка нате, — спешит, рвет Клавдия узелок, что с собой взяла, тянет детишкам хлеб.

Тут мальчонка хлебушек увидел и шепчет тихонечко, в глаза Клавдии глядя:

— Мама... хлеб...

— Мои вы, мои детки!

Привела Клавдия детишек домой. Рассказала старшая, что давно они ходят от деревне к деревне, что умерла их бабушка, а матери и отца не знали вовсе. И что заблудили давно, несколько ночей в лесу одни.

Вернулся вечером Митрич, а Клавдия счастьем светится, ведет его в дом и говорит:

— Вот, Митенька, дети наши...

— Ух ты! Да сразу и двое!

Опять время побежало. В заботах о детях да делах ничего Клавдия не замечала. Но однажды вышла в огород репу детишкам вырвать, взглянула за Почутово: а груша-дичка сухая стоит, без единого листочка. Тут же и ощутила, как сладко шевельнулось в животе раз и другой. Охнула Клавдия от счастья, обхватила живот руками. Шагнула к дому и видит: под стеной сарая стоит Висюн.

— Что ж бабонька, не сказал я тебе про третье условие, сама ты его исполнила. Живите.

И пропал.

Родили Митрич с Клавдией четверых детей. Полон дом ребятни. Веселые! Печь Митрич переделал на большую, чтобы всем места хватало...

И вот помер Митрич.

Стали к вечеру приезжать в Почутово машины: сильные мужики, красивые женщины. Заходили в дом, кланялись у порога, подходили к гробу, в котором лежал наш Митрич удивительно спокойный, будто снился ему сон, в котором он встречает у порога всех своих детей.

И все эти мужики и женщины были и меж собой похожи и похожи на нашего Митрича в молодости.

Никто и не знал, что столько детей у него. Со всего Почутово собирали столы для поминального ужина.

Вот, собственно, и все.

Клавдия каждый вечер носила на могилку своего Митрича заваренный чай. Все сорок дней в одно время, как Митрич тогда попросил, заваривала и несла. А когда отмечали мы, как заведено по вере нашей, сороковины, приготовила она стол, присела на краешек стула, да и не встала больше. Рядышком с Митричем положили мы Клавдию.

А сериалов больше в нашем Почутове никто не смотрит, даже женщины.

Такие вот у нас истории.

Одно скажу напоследок: все как есть правда, нигде не соврал. А если что — приезжайте в Почутово. Возле баньки встретимся. Краше места, чем наша баня на берегу пруда, нигде не найти. Уютнее и роднее.

Приезжайте, все вспомним. И про девятьсот девяносто девять жизней каждого из нас поговорим.

Перевод с белорусского автора.

МИКОЛА ШАБОВИЧ

В моем дому не меркнет солнца свет

* * *

А я возьму с собой в дорогу
Все, что забыть я не смогу:
Веселый дождик босоногий,
Крутую радуги дугу,

Рассвет, пронзительный и чистый,
И травы в утренней росе.
Они — как память об Отчизне,
Ее торжественной красе.

Я с ней — с утра до ночи поздней,
Я с ней — от ночи до утра.
Она во мне как свет, как воздух,
Моей души и крест, и Храм.

* * *

Не все, не все еще разгадано,
Пока хвалиться нечем нам.
И, может, болью, а не радостью
Дано наполниться стихам.

Живя несмело и с оглядкою,
Быть может, слишком жестким стал.
И песня не такая гладкая,
Как ты лелеял и мечтал...

Не все, не все еще разгадано,
А век стремительный спешит.
И жить легко под звездопадами,
И трудно жить.

В родной деревне

В плену у дум своих неторопливых
Я не могу так многого понять.
И хочется — до боли — стать счастливым,
И хочется от боли застонать.

На улице — ни шороха, ни звука,
Такая тишина в разгаре дня.
Лишь издали деревья многоруко,
Листвой шурша, приветствуют меня.

И, старая, меня приветит хата,
И встретит мама.
Но среди весны
Проснется остро в сердце виноватость
От тишины, от этой тишины.

Дом

А станет грустно, горестно и горько,
Я в мысли не пущу обиды тень.
На январем заснеженном пригорке
Мой дом всегда распахнут для гостей.

Хоть он не слишком, может быть, просторен,
Я в нем живу —
и лучше в мире нет.
Пусть наметает ветер снега горы —
В моем дому
не меркнет солнца свет.

* * *

Там, за невидимой чертой,
Где звезды спелые,
Еще мы встретимся с тобой,
Как Богом велено.

И будем трепетно ловить
И нежность осени,
И дней непрерванную нить,
И небо в просини,

И чувства пригоршнями пить —
Томимы жаждою,
И слушать вечность, и любить
Росинку каждую.

Еще мы встретимся с тобой,
Как Богом велено, —
Там, за невидимой чертой,
Где звезды спелые.

* * *

Когда не вместе — одиноки мы.
Зачем, друзья, так редки наши встречи?
И груз вины все чаще давит плечи...
Когда не рядом — одиноки мы.

Печалимся: «Нет времени совсем».
Не пишем и звонками не тревожим.
Опомнимся: «А что одни мы можем?» —
И вновь живем в надежде перемен.

Друзья, не вместе — в одиночку мы
Смеемся, и грустим, и ожидаем,
И лишь во сне друг друга мы встречаем.
Когда не рядом — одиноки мы.

* * *

Следы скрываются в тумане —
Такой загадочный сюжет.
Скажи, задумчивая пани,
В чем красоты твоей секрет?

Сама секрет ты знаешь этот?..
Застыли звезды в тишине.
И яблонь тени-силуэты
Не доверяют тайну мне.

* * *

Я попрошу свои все дактили,
Я попрошу свои хореи,
Чтоб не болела ты, не плакала,
Чтоб никогда ты не старела.

Я попрошу свои анапесты,
Все амфибрахии и ямбы,
Чтоб нам не быть с тобой на паперти.
О, как завидовали нам бы!

Пусть слухи-сплетни разгораются,
Пускай смеются все в глаза нам,
Наверно, зря они стараются —
Мы сдали на любовь экзамен.

* * *

Зима писала твой портрет,
Плененная изгибом тела,
И больше вьюжить не хотела,
И лишь тебе смотрела вслед.

И лишь надеялась она
С тобой, надменной, подружиться
И в снежном вальсе закружиться,
Не расставаясь дотемна...

Была причудливой зима,
Но не виновной в том нисколько.
Ведь королевна — ты сама,
Зима — твоя служанка только.

* * *

Твоя печаль с моей обручена.
Сама зима нам ватный строит терем.
Моя находка ты (а чья потеря?),
Сегодня нам с тобою не до сна.

Пурпурно-черный — цвет любви твоей.
Но с каждым часом нежность исчезает.
Так быстро прячет листья снеговей,
Так льдинка под весенним солнцем тает.

И вот исчез совсем пурпурный цвет.
Остался черный — вестником печали.
Какую сказку нам дарил рассвет!
Как быстро струны счастья отзвучали!

* * *

Судьбою ты мне послана, быть может,
Моя царевна, дней моих весна.
И, может, обо мне грустишь ты тоже
И ждешь меня, по-прежнему одна.

Ты помнишь нашей первой встречи вечер
И телефон, что тропки породнил?..
Вчера с тобой я легким был, как ветер,
И, кажется, таким счастливым был!..

Ты не ищи причин печали множить,
Не закрывай передо мною дверь.
Судьбою ты мне послана, быть может.
С судьбой не спорят, милая, поверь.

* * *

Наверно, вновь уснуть я не смогу.
Ужель судьбой подаренная встреча
Мне принесет не боли тяжкий груз,
А радостью манящий звездный вечер?

Ужель,
тебя случайно повстречав,
Вновь потеряю в суете нежданно?
И все ж я жду с надеждой встречи час,
Зову тебя любимой и желанной.

И кто сказал, что счастье не для нас,
Что жар любви — лишь выдумка поэтов,
Когда над нами, словно в первый раз,
Призывно-жарко пламенеет лето?!

Перевод с белорусского Елизаветы ПОЛЕЕС.

АЛЕКС ПО

Всей силой чувств

Рассказы

Странные рассказы пишет, а точнее, придумывает этот автор. Но интересные. Порой кажется, что живет он не в Беларуси, а где-то в Америке. Сюжеты не из нашей жизни, герои с иным менталитетом… Да и зовут их часто не по-нашему: Берг, Джимми, Крис… То криминальный рассказ, то приключенческий, то романтическая история о вечной любви. Да и псевдоним у него странный: Александр По. Но запомните это имя.

Олег ЖДАН

Мастер розыгрыша

Ко мне пришли двое полицейских.

Терпеть не могу полицейских. К тому же я ждал их только через несколько дней.

— Мистер Берг, простите нас за причиняемые неудобства...

Они всегда так говорят.

Лица у них были наглые, а манеры обходительные. Как всегда. Короче, они хотели «осмотреть» — как они сказали — мой дом. Они сказали:

— Только осмотреть, если не возражаете.

Но я-то понимал — это будет настоящий обыск. Я решил немного с ними поиграть:

— А если возражаю?

К такому обороту они готовы не были. Оба как-то даже застеснялись. Представляете себе картину: стесняющийся полицейский. Что-то в этом есть, правда? Так вот, тогда тот, что был поменьше ростом — маленькие всегда наглее — спросил:

— Возражаете? Позвольте узнать причину.

— Не позволю, — ответил я спокойно.

У меня это получилось даже с какой-то радостной интонацией.

— Простите? — пробормотал карлик в форме.

— Пожалуйста! — ответил я, и, как ни в чем не бывало, захлопнул дверь прямо перед их обалдевшими физиономиями. Потом пошел, сел в свое любимое кресло-качалку и взял журнал. В это время они постучали опять.

— Кто там? — спросил я.

Несколько секунд стояла тишина. Наверное, за дверью просто соображали, в своем ли я уме. Потом голос из-за двери произнес:

— Полиция! Пожалуйста, откройте.

— Кто там? — переспросил я.

— Полиция! Откройте! — уже погромче.

— У вас есть ордер на обыск? — я неожиданно перешел на шепот.

— Что, простите? — не расслышали за дверью.

Я повторил.

— Вы не могли бы погромче? — попросил голос.

Уверен, в это время оба полицейских стояли, прижавшись ушами к моей двери. Интересная получилась бы фотография.

— Ордер есть? — мне надоело шептать.

— Ордер? — переспросили за дверью.

— Да, ордер, ордер... — ответил я, зевая и полистывая журнал.

— Простите, но это, так сказать, неофициальный визит, — донеслось из-за двери.

Ах, неофициальный значит! Может быть, эти шпики еще и думали, что я с удовольствием буду поить их чаем, рассказывать анекдоты, пороть разную чушь, чтобы показаться своим парнем? Я, в дом к которому они неофициально вламываются с настойчивостью асфальто-укладочного катка.

— Что-то не припомню, чтобы я на сегодня приглашал гостей! — прокричал я. Это они должны были расслышать.

Опять тишина. Потом я услышал, как за дверью они о чем-то спорят. И наконец до меня донеслось:

— Мистер Берг, все же мы бы очень вас попросили бы...

Мне сразу стало совсем неинтересно. Скучно становится от таких оборотов и напористости. Напористость всегда скучна. Фи! Я подошел к двери, но не открыл ее, а только сказал в щель:

— Рад был бы выставить вас вон, но, по-видимому, не могу сделать это безнаказанно. А дать вам возможность долго и с удовольствием бить меня ботинками по голове — не слишком ли жирно, а, шеф? — и, так и не открыв им дверь, вернулся обратно в кресло.

Теперь, чтобы почитать у меня было уже целых двадцать секунд. Потом из-за двери донеслось уже почти жалобно:

— Мистер Берг, если бы вы...

— Входите! — перебил я. Мне уже надоела эта игра. — Дверь не заперта!

Они вошли как-то не особо веря, что я их наконец-то впустил. Боязливо осматриваясь и очень настороженно. Я захотел гавкнуть, чтобы они подпрыгнули от неожиданности, но решил — лучше потом. Эти мерзавцы заслуживают большего.

— Странная у вас манера общения, — заметил долговязый.

— Это еще цветочки, — ответил я.

Похоже, они не оценили мой ответ, так как их реакцией стали две глупые рожи, которые они вдруг состроили совершенно синхронно. Да, не оценили. Эти ребята вообще могут оценить только: насколько человек пьян, да и то, если это будет касаться их лично...

— Итак, что мы будем искать? — спросил я.

— Можно узнать, где сейчас ваша жена? — холодно спросил карлик, осматривая мое жилище.

— Три дня как она ушла от меня в неизвестном направлении, — ответил я. — Могу предположить, что, как всегда, побежала плакаться к своей мамочке.

Шпики хмыкнули.

— Ее там не было.

— А не могли бы вы пояснить причину вашей последней ссоры? — спросил долговязый.

— Ссоры? — не понял я.

— Вы только что сказали, что поссорились.

— Когда?

— Только что.

— Ничего такого я не говорил, — запротестовал я, — а только сказал, что она покинула меня и ушла в неизвестном направлении.

— Просто так? Ни с того ни с сего?

— Да, просто так. Ни с того ни с сего.

— Как вы считаете, ваша жена нормальная психически? — вопрос был задан с явной издевательской интонацией.

— По крайней мере, до этого момента считал ее именно такой.

— Так вы не можете открыть нам причину вашей ссоры?

— К сожалению.

— Предпочитаете говорить в более официальной обстановке?

— Знаете, — ответил я, — с утра у меня было хорошее настроение, однако, похоже, оно начинает портиться. Если же оно испортится совсем, я попрошу вас удалиться. Это ясно?

Они ответили, что ясно, и что они больше так не будут — прямо как в детском саду.

— Как же вы можете объяснить, что ваша жена ушла от вас, не поставив вас в известность, и пропадает уже три дня?

Я пожал плечами.

— Кто их поймет этих женщин?..

— Соседи говорят, что вы иногда не находили общий язык.

Я снова пожал плечами.

— Это трудно объяснить.

— Постарайтесь!

— Ладно, — ответил я, — я подумаю, как объяснить это подоходчивее.

— Вы даже не удивлены, что ваша жена исчезла? — спросил карлик.

— Расстроен ли, хотите спросить? — уточнил я.

— Хорошо, расстроены?

— Как и любой здравомыслящий человек.

— Вы не могли бы отвечать по существу?

— Я так и отвечаю.

Они переглянулись.

— Мистер Берг, соседи неоднократно слышали крики у вас в доме. Они сказали, что вы часто ссорились.

Пауза. Они ожидали, что я скажу. Но я молчал.

— Не скажете ли нам все-таки, где сейчас ваша жена?

Я пожал плечами:

— Думаете, я прячу ее труп?

Они переглянулись.

— Значит, не знаете?

— Вот именно. Не знаю.

— Мы осмотрим ваш дом?

— Хотите найти следы преступления?

Карлик потупился.

— Если они есть. Что, например, в этом мешке под диваном?

Я взмахнул рукой:

— Естественно, труп моей жены. Показать?

Ни один из них даже не улыбнулся. У этих парней чувство юмора, как у бульдозера. И лица у них тоже, как у бульдозера.

— У вас есть подвал?

— О, а вот это уже захватывает, — произнес я с пафосом. — Труп в подвале... это так романтично!

Они хотели что-то сказать, но я не стал дожидаться:

— У меня нет подвала, к сожалению. Зато есть чердак, но не беспокойтесь — там я тоже время от времени прячу трупы. Хотите покажу?

Они, естественно, хотели. Но к их величайшему сожалению трупов там не оказалось. Ну ни одного!

У них были такие разочарованные лица, что я с сожалением подумал, что к их приходу так и не удосужился заиметь ну хотя бы один мало-мальски приличный труп.

Они спустились и стали обыскивать комнаты. Начали с гостиной. Я принес им лопату из сада.

— Что это? — удивился карлик.

— На случай, если вы вдруг захотите покопать, — ответил я, — держите.

Но лопату карлик не взял.

— Я поставлю ее в углу, — сказал я тогда, — вот здесь. Возьмете, если будете копать.

Они неожиданно прекратили поиски в доме — наверное, просто хотели посмотреть на мою реакцию, и вышли в сад.

— Мистер Берг, что вы закапывали вчера в своем саду? — неожиданно спросил карлик.

Я побелел. Значит, соседи заметили это!

— Что-то случилось? — спросил долговязый с плохо скрываемой ухмылочкой.

— Нет, нет... все в порядке, — я сумел взять себя в руки. — Просто почему-то стало плохо. Сейчас пройдет.

Они буквально расцвели.

— Так что же вы копали этой ночью, а, мистер Берг?

— Я? Так, ничего, знаете ли... ну, садовые работы, прополка...

Карлик кивнул.

— Ага. В два часа ночи.

— Все бывает.

— Конечно.

Они с легкостью обнаружили следы свежевскопанной земли, хотя я и пытался их замаскировать.

Долговязый засучил рукава и взял лопату, которую я поставил в углу. Карлик неотрывно смотрел на меня. Долговязый стал копать. Когда он уставал и останавливался, я говорил:

— Вот видите? Я же говорил, что это была просто прополка. — Тогда он сразу же принимался за работу вновь.

Когда же он снова уставал, я предлагал ему свою помощь, и тогда он снова остервенело копал. Потом он совсем взмок, и ему стал помогать карлик. Они углубили и расширили яму, теперь карлик мог бы скрыться в ней полностью.

— Просто осмотреть дом... — как бы невзначай проговорил я.

Они сделали вид, что не расслышали. Оба были уже все в земле и тяжело дышали. Наконец, они вылезли из ямы, вытирая взмокшие лбы.

— Просто прополка, — заметил я.

— Или вы перепрятали тело.

— Хотите, я покажу, где еще можно покопать? — предложил я.

Долговязый со злостью швырнул лопату в яму. Она упала, издав странный звук.

Я побледнел. Полицейские остановились. Они вернулись к яме и, наблюдая за мной, продолжили копание.

— Простите, я на минутку... — проговорил я и попытался удалиться.

— Не думаю, мистер Берг, что вы сейчас куда-нибудь сможете уйти.

Я остановился. Наблюдая за мной, чтобы я чего доброго не сбежал, они откопали большой мешок и с трудом вытащили его на поверхность.

— Что в этом мешке?

— Боюсь, не могу вам этого сказать.

— Почему?

Я не ответил.

Они разрезали мешок и присвистнули. В мешке были человеческие части тела. Рука, нога, что-то еще... Они обнаружили! Вы бы только посмотрели на их лица в тот момент. Но я ждал финала.

— Это... это...

Да, их ждало сильное разочарование. Все эти руки и ноги были всего лишь камуфляжем! Перебирая пластмассовые конечности и не веря своим глазам, они отходили от небольшого нервного потрясения секунд двадцать. Какая жалость, что они не видели своих лиц!

— Мистер Берг... извольте объяснить, что этот разобранный манекен делал в мешке под землей? — наконец спросил карлик. Он отошел от потрясения раньше своего напарника, хотя лицо его по-прежнему было очень расстроенным.

Я только пожал плечами за сегодняшний день уже раз в десятый — безобидный жест, которого все-таки маловато, чтобы посадить человека за решетку.

Ну, они порыскали в саду еще некоторое время. Больше нигде землю я не копал и они, без сомнения, это видели.

Они вошли в дом и стали осматривать комнаты.

— Ну теперь-то можно мне ненадолго отлучиться? — поинтересовался я.

Они насторожились.

— Зачем?

Не знаю, чего они сейчас боялись больше: что я сбегу или что устрою им очередной розыгрыш.

— Нужно, знаете ли.

Долговязый пошел со мной и осмотрел уборную.

— Все в порядке, Джим! — закричал он карлику. — Можете войти.

— Благодарю.

Конечно они не знали, что у меня в уборной есть маленькая дверца во двор.

Минут через пять долговязый нетерпеливо постучал в туалет.

— Мистер Берг?

Я не ответил.

— Мистер Берг?!

Тишина. Долговязый разогнался, выбил дверь плечом и влетел в уборную. Она была пуста. Долговязый нашел дверцу у самого пола и, не сумев ее открыть, выломал. Все, что он увидел в образовавшееся отверстие — это огромный надувной красный кукиш, которым я затыкал отверстие от котов.

Полицейский попытался выбить его кулаком наружу, но кукиш был резиновый и только мялся. Вы бы посмотрели на эту картинку! Я до сих пор начинаю истерично смеяться, когда вспоминаю.

Бум! — Ни черта...

Бум!! — Ни черта...

Бум!!! — Ни черта...

Бум!!!!

Через минуту долговязый догадался продырявить игрушку ножом. Сдуваясь, она стала мерзко пищать. Полицейский ткнул ее ножиком еще пару раз, но от этого она не стала сдуваться быстрее, а только запищала еще более омерзительно. Через две минуты полицейский все-таки победил мой кукиш. За ним оказалось маленькое отверстие в сад.

— Проклятье! Он смылся! — он понял это только тогда.

Карлик бросил копаться в шкафу и прибежал к долговязому.

— Как я и ожидал!

Они тут же кинулись за мной, но меня и след простыл.

— Надо сообщить в управление.

— Ладно, только закончим осмотр. Труп непременно в доме!

— Что все-таки в том большом мешке под диваном?

— Труп жены он сказал.

Они с трудом вытащили пыльный мешок.

— Какой тяжелый...

— Внутри определенно не белье...

На мешке была молния. Они стали ее расстегивать...

И вот тут-то я и гавкнул!

Из мешка и прямо на них!

Карлик нервно дернулся, мгновенно побледнел и отскочил от мешка, а долговязый кричал от неожиданности, наверное, секунд десять.

— Ну что? — спросил я из мешка, вдоволь насмеявшись. — Может, вы все-таки поможете мне выбраться? Или предпочитаете застегнуть мешок и предать инцидент забвению?

Но они еще не отошли — оба определенно пытались справиться каждый со своим собственным, небольшим, но очень гаденьким сердечным приступом. Пришлось выбираться самому.

— Простите, — сказал я, — но я просто хотел доходчиво объяснить вам, почему мы с женой иногда не находили общий язык и... — я говорил что-то еще, но они не слушали. С них хватило.

Немного же им надо! Они даже не дотянули и до середины моих сюрпризов, не говоря уже о главном, финальном.

Ну, конечно, сперва чуть не дали мне по физиономии. Сказали на прощание несколько мало уместных слов, которые для них в тот момент казались очень уместными. Заодно пригрозили, что подадут на меня в суд за издевательство над офицерами полиции. Но не думаю, чтобы они и в самом деле сделали это.

— Я позвоню вам, как только моя жена объявится! — закричал я им с крыльца. — А она, я уверен, вернется! Она и раньше часто уходила от меня. Людям просто иногда так хочется побыть в одиночестве. Просто чтобы к ним никто не лез.

Они не обернулись, но подтекст, думаю, уловили.

Я постоял еще с минуту, глядя, как они садятся в патрульную машину и уезжают.

Честно говоря, я никогда особенно не обожал полицейских. А эти мне совсем не понравились. Вот как-то не понравились и все!

А интересно, как бы вам понравились двое полицейских, заявляющиеся вдруг к вам домой, когда вы еще даже не успели как следует спрятать труп?

Обманщик

— Я не помешаю, профессор?

Профессор поднял голову и посмотрел поверх очков. Молодой человек, очень похожий на студента, напрашивался нарушить его одиночество.

Профессор пожал плечами. Молодой человек воспринял это как приглашение и осторожно присел.

Это происходило в солнечный летний день, на улице, за столиком открытого кафе. Профессор просматривал газету и вот-вот должен был приступить к своему любимому кофе. Он, во второй раз недовольно оторвавшись от газеты, посмотрел на собеседника и кивнул.

— Вы преподаете у нас теорию вероятности, — продолжил молодой человек. — И весьма оригинально. Не поймите меня неправильно, но вы — мой любимый преподаватель.

Профессор кивнул еще раз. Он понял, что почитать у него, видно, не получится.

— Что вам угодно? — спросил он, складывая газету.

— Этого не объяснить в двух словах.

— Объясните в трех.

Молодой человек улыбнулся.

— Вы, как всегда, шутите! Если бы вы могли уделить мне достаточно времени...

— Боюсь, это невозможно.

— Тогда, быть может, где-нибудь в более спокойной обстановке...

— Да о чем вы говорите!

— Ну, хорошо, — выдохнул молодой человек, — раз вы так заняты... Профессор! Вы верите в паранормальные способности?

— Перемещение предметов взглядом? — усмехнулся профессор.

— Например.

— За всю свою жизнь я не встречал ни одного явления, выходящего за рамки обыденности. И даже, если бы я увидел нечто особенное, то подумал бы, что меня разыгрывают.

— Но что бы вы решили, если бы я прямо на ваших глазах сумел переместить, к примеру, вашу чашку с кофе?

— Я решил бы, что из вас получится неплохой фокусник и вы зря тратите время в этом институте.

— А если бы мне удалось доказать вам, что это не фокус?

— Вам бы это ни за что не удалось. В крайнем случае, я не поверил бы своим глазам.

— Жаль. Очень жаль.

— Не хотите же вы сказать, что имеете такие способности?

— Боюсь, что нет.

— Но что-то вы все-таки умеете?

— Увы, профессор, мои способности гораздо менее впечатляющи.

— И вы думаете, я поставлю вам экзаменационную оценку по своему предмету только за то, что вы сейчас одурачите меня дешевым фокусом?

Молодой человек покраснел.

— Ничего подобного, профессор! Конечно нет!

— Увы, юноша, за свою практику мне приходилось сталкиваться и не с таким.

— Простите, я не знал.

— Так что за фокус вы хотели продемонстрировать?

— Дело в том, профессор...

Молодой человек замолчал.

— Не тяните, у меня и так мало времени.

— Дело в том, что иногда я могу читать мысли собеседника!

— Вот как! Очень любопытно. И о чем же я сейчас подумал?

— Вы подумали, что я — обманщик.

— Угадали!

— Это было несложно, — признался молодой человек.

Профессор встал.

— Вот что, юноша, мне пора! Успехов вам в чтении мыслей.

— Подождите, профессор!

— Ну что еще?

— Позвольте продемонстрировать, что я умею. Если бы вы задумали какую-либо цифру...

— Вы прочитали бы ее в моих глазах?

— Нет, профессор — в ваших мыслях. Вообще-то я и сам не знаю, как ко мне приходит информация, просто я ее вижу. Иногда отчетливо, а иногда плохо.

— Хорошо, и какое число я сейчас задумал?

Молодой человек закрыл глаза.

— Семь!

— Не угадали. Я задумал семьдесят. Играйте в такие штучки с девушками. Всего хорошего.

И он попытался оставить студента одного.

— Но ведь семь и семьдесят — очень похожи! — вскричал тот. — Простите, я просто не увидел нуля... И мы договаривались не о числе, а о цифре.

— Ладно! — профессор остановился. — Какую цифру я загадал теперь?

Молодой человек опять закрыл глаза.

— Опять семь!

— Угадали! Но это не считается.

— Попробуйте еще раз, профессор.

— Хорошо. Сейчас?

— Единица! — выпалил молодой человек с таким азартом, как если бы он на экзамене в самый последний момент вдруг вспомнил правильный ответ.

— Угадали! Но я опять уверен, случайно.

— Не слишком ли много случайностей, профессор?

— Не слишком. Что я задумал сейчас?

— Пять!

— Хорошо. Угадали. А сейчас?

Последовала пауза. Профессор посмотрел на часы и увидел, что опаздывает.

— Ну так как?

— Девятка, возможно. Но я не уверен — плохо видно!

— Хм! И на этот раз угадали. Пока вам везет. Ну а теперь?

Молодой человек открыл глаза. Потом обратно закрыл.

— Плохо видно, — сказал он морщась. — Может быть пять, а может быть — три.

— В ваших интересах рассмотреть!

— Сейчас, сейчас.

Он закрыл глаза руками, и лицо его покраснело от напряжения.

— Три!

— Опять верно! — произнес профессор растерянно. — Простите, но я уже начинаю сердиться. Как вы это делаете?

— Извините, профессор, не знаю! Я обнаружил эту способность только несколько дней назад. Я могу прочитать не любую мысль, а только ту, которую человек сам захочет передать мне.

— И это все, что вы знаете о своем феномене? — профессор снова сел.

— Боюсь, что да!

— И это все, что вы умеете?

— Боюсь, что да...

Молодой человек явно расстроился.

— Я не произвел на вас впечатления?

— Вот что... — профессор замолчал. — Сейчас у меня лекция, но найдите меня обязательно после занятий. Посмотрите в расписании. Обязательно! Договорились?

Молодой человек просиял.

— Непременно, профессор! Спасибо. Простите, что не дал вам спокойно почитать.

Он поднялся и пошел в сторону института, а профессор все еще неподвижно сидел в плетеном кресле. В этот день он впервые забыл и про свой кофе, и впервые в своей жизни — про лекцию.

После последнего занятия профессор специально задержался. Прошло пять минут, десять, пятнадцать, а его нового знакомого все не было. Профессор закрыл аудиторию, спустился в холл и сдал ключ.

Он вышел на улицу.

«Прекрасный вечер», — подумал он. Но в этом прекрасном вечере одно совсем не прекрасное обстоятельство портило ему настроение.

На улице он напрасно рассматривал лица студентов, пытаясь обнаружить утреннего собеседника. Постоял несколько минут на ступеньках, вздохнул и пошел к метро.

«Не может быть! — думал он. — Не верю! Не верю! Такого не бывает. Но все было слишком правдоподобно. Как же ему удалось угадать эти проклятые цифры? Надо было задумывать другие... Откуда же он сам их взял? Сначала он задумал семьдесят. Откуда взялась эта цифра? Семьдесят часов в месяц — его норма преподавания в институте. И вчера, учитывая всю свою нагрузку, он внес в администрацию института предложение по уменьшению этой нормы. Его предложение временно отклонили. Возможно, студенты разнюхали об этом. Допустим, что он неосознанно назвал это число. Можно было предположить, что человек, которого обременяет нагрузка в семьдесят часов, назовет именно это число. Это, конечно, не обязательно, но фокус удался. Потом он задумал семь. Это то же самое, только без нуля. Его ведь попросили загадывать именно цифры. Дальше... Что же он задумал дальше? Единицу? Да, единицу. Почему? Возможно потому, что единица — первая цифра, не считая нуля. Но собеседник попросил его задумать именно цифру, а тогда, с нулем, когда он задумал семьдесят, студент ошибся и попросил его загадать другое. Поэтому ноль он и не загадал. Сложновато... Ну хорошо. Допустим, что и это можно было просчитать. Потом шла пятерка. Возможно, что, загадывая единицу, он неосознанно воспринял ее как минимальную оценку. Потом назвал максимальную — пятерку. Любой здравомыслящий человек в его ситуации, пожалуй, задумывал бы те же самые цифры! Или нет? А потом? Потом он задумал семь. Или три? Или девять? Да! Девять. Почему девять? Может быть потому, что девять — это самая большая цифра? Сначала он задумал самую маленькую, потом среднюю, потом самую большую. Возможно. Но он мог загадать все по-другому. Мог загадать все что угодно, черт возьми! А его собеседник угадал все эти цифры без единой ошибки.

Смог бы он повторить это сам? Он подумал и понял, что не смог бы. Никто не смог бы!

Сколько же цифр он загадал? Пять или шесть. Да, шесть. Какова вероятность угадать их случайно? Десять в шестой степени. То есть — один к миллиону. Это значит, что загадывай он каждый день по шесть чисел, его собеседник мог бы угадать их все правильно только однажды. Однажды из миллиона дней! Это, конечно, могло произойти в любой день. В миллионный, к примеру, или в тысячный по счету. Могло не произойти никогда или произойти в первый день».

Такое было возможно, но профессор не верил в такие совпадения. Теперь он понял, почему студент не появился после занятий. Его фокус удался! Удался как нельзя лучше. Он произвел впечатление и знал, что его захотят проверить еще раз. И уж на этот раз он не отгадает!

Профессор вспомнил, как студенты, бывало, шли и не на такие ухищрения, лишь бы не учить его предмет, но все же получить хорошую оценку. Он вспомнил, как на одном из первых занятий по теории вероятности в прошлом году объяснял студентам на примере простые шансы. Тогда он спросил группу:

— Какова вероятность, что монетка, которую я сейчас подброшу, упадет вверх орлом?

Шансы были один к одному или пятьдесят на пятьдесят. Когда он сказал об этом группе, один из студентов заметил, что вероятность не пятьдесят процентов, а чуть меньше.

— Ведь монетка, — сказал студент, — может еще и встать на ребро.

— Это настолько редкий случай, что мы не принимаем его в счет! — заявил он студенту. Студент не согласился.

Тогда он пообещал, что поставит этому студенту оценку за экзамен, если тот сможет продемонстрировать данный шанс.

После этого все студенты готовились к экзамену, читая чужие конспекты, а один студент тренировался лишь бросать монетки. На экзамене он достал толстую юбилейную монету и подбросил ее так, что она просто покатилась по столу, а потом остановилась на ребре. Профессор запротестовал, что такой бросок не засчитывается, но студент достал из сумки словарь, где к слову «подбросить» давался следующий комментарий: «Подбросить что-либо — подкинув вверх, дать данному предмету упасть». О высоте броска и перевороте там ничего не говорилось. Профессору пришлось поставить студенту пять за сообразительность. После этого случая он стал осторожнее со своими обещаниями.

В тот раз было все ясно. Но чтение мыслей — это что-то новенькое. Если кто-нибудь действительно может угадывать цифры или, тем более, мысли, то все, чему он всю жизнь учил студентов, вся теория вероятности — фикция. Он зря потратил столько лет на то, чтобы доказать, что никто не может нарушить законы логики, законы самой жизни, и вот теперь... Если тот парень в самом деле умеет угадывать цифры, он уволится из института!

Профессору вдруг стало больно за все те годы, которые он провел в этих стенах. Вся его жизнь была поставлена под сомнение в целесообразности. Как там говорил Сократ? «Непродуманная жизнь не стоит, чтобы ее прожить».

— Так! — сказал профессор самому себе, ожидая поезда в метро. — Или я разоблачу этого обманщика, или мне придется уйти на пенсию! Пока первый раунд за мной, раз он не явился на встречу.

На следующий день у него было занятие в той группе, где учился его новый знакомый. Как он и ожидал, на лекцию тот не явился. Профессор неожиданно почувствовал себя опять нужным и шутил много, как никогда.

Один раз очень удачной и своевременной шуткой он даже заработал дружные аплодисменты, что в учебных заведениях большая редкость.

Лекция закончилась. Он расписался в журналах, дождался пока из аудитории не вышел последний студент и стал закрывать дверь.

— Добрый день, профессор! — услышал он знакомый голос за спиной.

Он обернулся. Перед ним стоял долгожданный студент.

— Простите, что не подошел вчера, — проговорил он. — И сегодня не был у вас. Проблемы в личной жизни.

— Вот как?

— Да. Знаете ли, моя способность имеет и свои минусы! Моя девушка стала тайно встречаться с другим.

— И вы прочитали это в ее мыслях?

— Как вы догадались?

— Тоже читаю мысли иногда. Правда, не так хорошо, как хотелось бы...

Они шли по длинному коридору института.

— Вы правы! Так вот, когда я сказал ей, что все знаю, она обвинила меня в том, что я выслеживал ее! А когда я сказал, что умею читать мысли, она обозвала меня еще и обманщиком и сказала, что у нас все кончено.

— Вот как?

— Да, профессор. Вы мне не верите?

— Нет, почему же. Это куда как более правдоподобно. Но вы говорили, что можете читать мысли, только если их хотят вам передать?

— Да, именно. Но оказалось, что когда человек хочет скрыть мысль, он наоборот, начинает излучать ее еще сильнее!

— Как интересно!

— Да нет, не очень! От меня ведь ушла моя любовь.

— Понимаю, — сочувственно протянул профессор. — А, простите, вы не потеряли от этого своих способностей?

— Способностей? — очнулся молодой человек.

— Чтение мыслей, — напомнил профессор.

— Ах это? Конечно, нет! А почему вы спрашиваете?

— Это было наиболее вероятным исходом истории.

— Что вы имеете в виду? — не понял юноша. — Так вы до сих пор сомневаетесь, профессор?! — обиженно проговорил он.

— Честно?

— Честно!

— Я не верю вам ни на грош!

— Но как же я тогда угадал вчера восемь цифр подряд?

— Всего лишь шесть. И это было не так уж сложно, если разобраться. Конечно, вы рисковали, но, в крайнем случае, вы могли сослаться, что «плохо ее рассмотрели». Вам просто вчера крупно повезло.

— Не хотите ли испытать меня опять? — вызывающе произнес молодой человек.

— А вы, оказывается, действительно читаете чужие мысли! — заметил профессор с сарказмом.

— Тогда, в чем же дело?

— Вы не отказываетесь?

— Прошу вас, профессор.

Профессор открыл аудиторию:

— Входите!

Молодой человек вошел. Профессор расстегнул портфель, достал чистый лист и ручку.

— Я напишу несколько цифр, — сказал он. — Если вы угадаете хотя бы половину из них, я сниму перед вами шляпу и попрошу прощения. А заодно освобожу вас от посещения моего предмета с защитой всех работ и проставлением высшей экзаменационной оценки. Но если не угадаете, вы признаетесь в том, что вы — ловкий плут! Идет?

— Вы очень добры, профессор! Но мне, боюсь, придется все же сильно вас разочаровать. Если вы готовы к такому разочарованию, — молодой человек улыбнулся, — прошу вас!

Профессор смерил выскочку презрительным взглядом, взял лист, положил спереди свой портфель, чтобы студент не мог догадаться по движению его руки, и остановился.

«А не розыгрыш ли все это? — подумал он. — Все это может быть, например, для того, чтобы я не появлялся на кафедре в течение некоторого времени, а студенты, уговорив кого-нибудь из других преподавателей, спокойно списывают экзаменационные билеты, пока я тут, как болван, проверяю неизвестно что!»

Он резко поднялся и почти побежал к двери.

— Куда вы, профессор? — испугался студент.

— Ждите меня здесь! — прокричал профессор и выскочил из аудитории.

Он так резко открыл дверь, что ударил какую-то девушку, стоящую около нее. Он извинился и побежал по коридору. Добежал до кафедры и дернул за ручку. Как он и ожидал, дверь оказалась закрытой. Тогда он открыл ее своим ключом и вбежал внутрь. Он ожидал увидеть студента, спокойно списывающего билеты, но в комнате никого не оказалось. Тут профессор вспомнил, что билеты он хранил в своем сейфе, ключ к которому был только у него.

Дьявол! Как он мог забыть об этом?! Но на всякий случай он все же проверил, на месте ли конверт с билетами. Конверт был на месте и был даже не вскрыт. Профессору стало стыдно. Он отер рукавом пот со лба и тщательно закрыл сейф на оба замка. Подергал на всякий случай за ручку и взмокший вернулся в аудиторию.

— Все в порядке, профессор? — студент терпеливо дожидался своего судью.

— Готовы?

— Готов, профессор.

Профессор внимательно осмотрелся. Не успел ли его испытуемый наклеить маленьких зеркал за его спиной, пока он отсутствовал? Он ничего не заметил, но на всякий случай пересел за первый ряд парт.

Теперь он сидел в одном ряду со своим учеником.

«Бред какой, — внезапно подумал он. — Как же глупо я себя чувствую!»

Он написал три пятерки подряд, потом три тройки, потом три двойки... Он внезапно почувствовал, будто кто-то заставляет его писать не то, что он хотел сам, а то, что было нужно. Он хотел написать еще и другие цифры, но остановился. Он написал ноль, потом почему-то зачеркнул его и написал еще три четверки.

Итого: 555 333 222 ~~0~~ 444.

Тринадцать цифр. Вероятность угадывания один на десять в тринадцатой степени. Даже если бы каждый человек на земле написал по одному варианту, вряд ли кто-нибудь смог бы отгадать именно эту последовательность: число людей меньше этого числа в две тысячи раз.

Профессор посчитал, что достаточно. Да. Более чем.

— Я написал здесь несколько цифр, — сказал он. — Теперь я, видимо, должен каждую из них попытаться мысленно передать вам, так?

— Не обязательно, профессор. Я постараюсь написать те же цифры на своем листочке.

— Сказать вам их количество?

— Только если хотите!

Профессор посчитал.

— Тринадцать.

— С зачеркнутым нулем или без него?

— С ним...

Профессор внезапно замолчал. Потом побледнел.

Молодой человек встал и подошел со своим листком. Профессор с ужасом заметил, что у него дрожат руки. Он прижал их к столу. Перед ним лежал лист с абсолютно теми же цифрами.

— Не верю! — закричал он. — Не верю! Как вам удалось провести меня?!

— Я не обманывал вас! — испуганно проговорил студент.

— Я требую объяснений! — проговорил профессор дрожащим голосом.

Он увидел, как студент раскрыл перед ним зачетную книжку.

— Вы обещали, профессор...

Профессор безропотно поставил оценку за экзамен. Он обнаружил, что у студента досрочно сданы уже все предметы, кроме его. По всем ним стояли только высшие оценки.

Он как во сне вернул зачетку.

— Спасибо, — сказал молодой человек. — Ваш последний экзамен был самым трудным. Другие преподаватели соглашались гораздо раньше.

— Но как же так?.. — прохрипел профессор.

— Хорошо, профессор! Вам я могу признаться. Дело в том, что паранормальными способностями обладаю не я, а моя подружка.

И он произнес какое-то имя. Профессор не расслышал его. Но этот звук отдался в нем эхом, какофонией средних веков, пряностей, ночного ожидания, беспокойством моря... Профессор не успел найти другие образы. Дверь открылась, и в аудиторию вошла маленькая, ничем не приметная девушка. Профессор вспомнил, что именно ее ударил дверью, когда выбегал.

— Дело в том, профессор, — продолжил молодой человек, что моя подруга обладает способностью на небольшом расстоянии подталкивать людей к принятию определенных решений. Она просто заставляла вас придумывать именно те цифры, которые вы и задумали. Я, таким образом, все их знал заранее. Простите за небольшой обман, профессор, но так я окончил институт в два раза быстрее. Чего тянуть, правда? Теперь мы уезжаем! Конечно, мне все время приходилось выдавать, что это я имею способности, а не она. Спасибо за оценку, профессор. Прощайте!

Они вышли, и профессор остался один. Он сидел и смотрел в пустоту. Минуты текли, а профессор все сидел и сидел. Минут через двадцать он очнулся, закрыл аудиторию и сдал ключ.

Он решил, что с завтрашнего дня пойдет на пенсию.

Всей силой чувств

Медленно-медленно, переводя дух после каждого шага, он вышел из кухни и с большим блюдом приблизился к столу посреди гостиной. Аккуратно поставил индейку на стол, устало выдохнул и опустился рядом с женой.

— Ну где же Мария и Виктор?! — спросила жена в который раз крайне нетерпеливо.

— Они будут чуть позже, — он для вида посмотрел на давно остановившиеся, единственные в доме большие напольные часы с маятником.

Часы эти он не заводил уже много лет. Однажды почувствовал, очень явно ощутил, что каждый щелчок, каждое движение, каждая секунда, отнимая жизнь, приближает его с его любовью к расставанию. И тогда часы остановились. Они встали, и он больше не заводил их, так было легче, и потом часто жалел, что не сделал этого раньше. На закате жизни каждый миг мог стать последним, и он остановил время для себя и своей любимой, двух противоположностей, как маятник составляющих единое целое.

Он считал, что она — точь-в-точь маятник, застывший в крайней левой точке, а он — в правой. Противоположности в едином целом. Противоположности с их единством и борьбой. И любовью, и ненавистью. Чем больше он любил ее, тем сильней она его ненавидела, и чем сильней она ненавидела его, тем больше он ее любил: маятник чувств, безнадежно раскачивающийся все сильней. Он часто подолгу думал об этом.

Он думал, что он — это ДА. А она — это НЕТ. Он всегда соглашался с нею и делал все, что она хотела. А она никогда. До этого он полагал, что согласие всегда означает слабость. Но нашел, что всегда, кроме как в любви.

Да и просто — точь-в-точь как маятник, запертый в своих часах, были и они — уже так давно не выходящие из дому, двигающиеся все медленней, все больше и больше застывающие в своем времени, в своих воспоминаниях. Они достигли уже того мгновения, когда впереди было только прошлое, а будущее осталось позади.

— Нехорошо опаздывать на юбилей! Уверена, это все ты виноват! Небось перепутал время, как всегда...

— Что ты, милая. Они вот-вот будут, я обещаю, потерпи еще чуть-чуть... — Он ответил так ласково, как только мог, но ее злость на него не прошла. Она не проходила никогда.

— Ты поставил им стулья, бокалы? — спросила она, подслеповато щурясь. — Наверняка, как всегда, забыл!

Сейчас она была похожа на ведьму. Это видел даже он. Но он любил ее, и все остальное было неважно.

— Конечно, милая.

Он очень хотел бы называть ее любимой, но ей это не нравилось, поэтому он не раздражал ее лишний раз. От «любимой» она чувствовала себя неблагодарной. От «милой» только хмурилась, но терпела. Он долго искал это слово и нашел. Возражать и сердиться тут ей было не на что, и отныне она сердилась только на то, что теперь у нее нет причины сердиться. Он считал это разумным компромиссом в сложившихся обстоятельствах и другими комплиментами больше не раздражал и не импровизировал.

— И стулья, и бокалы, — все как нужно, — смиренно заверил он.

На столе стоял огромный букет прекрасных цветов, бутылка дорогого шампанского, на тарелке — отборная клубника.

— Я слышу запах индейки, — сказала она.

— Я приготовил, как ты любишь, под белым соусом.

— И шампанское?!

— Да-да... — поспешно подтвердил он, — и шампанское.

— Комнатной температуры?

— Комнатной температуры.

— А клубника?

— Конечно, милая.

Она потупилась, задумалась и... внезапно улыбнулась...

Она улыбнулась и... словно пасмурным днем солнце вышло из-за хмурых туч. Это было то, ради чего он жил. Это был знак. Благодарность. Она снова была в прошлом, в своей молодости, снова чувствовала, что все еще только начинается, весь мир узнает о ней, покорно склонит голову и ляжет у ее ног.

Теперь же у нее была только любовь к молодости, только эти воспоминания, эти прекрасные сны, да вдобавок — ненависть к нему, и от этого «только» они были особенно любимы. А у него были только его воспоминания и вдобавок к ним — любовь к ней.

Мария и Виктор умерли несколько лет назад. Он скрыл это от нее, и все эти годы как великий актер играл для нее жизнь, бросив вызов Всевышнему. Жизнь штука неровная: кто-то уйдет раньше, кто-то — позже. Кто-то уйдет вместе, кто-то — порознь. А сегодня у его любви был юбилей. В прошлом году ему исполнилось семьдесят. Сегодня исполнялось столько же ей.

Самое тяжелое в старости — мысли об ушедшей молодости, о разбившихся мечтах, о том, что счастье едва ли было и уж точно не будет. Сколько раз он думал сжечь все фотографии, которые нагоняли на него страшную тоску, если бы она не потребовала оставить. Ей они нравились. И теперь, вечерами, она подолгу перебирала их, а он должен был сидеть рядом и поддерживать беседу. Где-то в глубине он догадывался, что, скорее всего, она ненавидит его и делает это и все остальное назло... И так будет всегда, всегда, всегда! Но пытался верить в лучшее.

Она была уже совсем-совсем не очень, но это еще сильней приближало ее. Жалость? — думал он. — Нет, она тут не причем. Это любовь. Ведь по-настоящему любишь только то, что можно потерять, и чем скорей возможность потери, тем сильней.

Это была любовь. Любовь, точно. Он знал это. Но что он мог? Что? Только противопоставить всему этому миру силу своей любви. Противопоставить ее их старости, неумолимо все ускоряющемуся времени, ее бесконечно растущей злости, болезни, тоске. Просто только на любовь сейчас он был способен, на свою пустую, глупую, никчемную любовь к той, которой она была совсем не нужна, которая эту любовь ненавидела.

— Откроешь шампанское не раньше, чем явятся эти капуши! — приказала она вдруг, выбив его из воспоминаний.

— А они уже пришли! — радостно ответил он. — Звонят. Пойду встречу.

— Правда? А я не заметила.

Она засмеялась нежно-нежно, как смеялась в шестнадцать, ему сразу вспомнилось что-то прекрасное, что-то неясное и далекое, и он до боли сжал кулаки. С трудом поднялся из-за стола, прошел к двери и открыл ее.

— Вот и они! — сказал он. — Здравствуй, Мария. Привет, Виктор.

Суетясь за троих, он помог им быстро раздеться.

— Мария, сестренка, подойди же, обними меня, — раздалось из-за стола.

Он подошел и обнял любимую так, как это всегда делала ее сестра: нежно, по-родственному.

— Здравствуй, любимая... — прошептал он ей на ухо, прижимаясь щекой. Для таких моментов он всегда тщательно брил щеку и душился по-разному.

— Нехорошо опаздывать! — она обняла его в ответ. — Чудесные духи, милочка. Ну, а где твой красавец?

— Здесь, сударыня! — он отстранился, щелкнул каблуками и обнял ее с другой стороны совершенно по-другому, как мужчина обнимает чужую желанную женщину.

— Ай, проказник! — восхищенно воскликнула она, когда он чмокнул ее прямо в губы. — Я ведь замужем!

— Но ваш муж знает, что и я люблю вас!

Виктор, конечно, не ответил бы так. Но не он. Не он. Он делал для нее совершенный мир.

— Ай-яй-яй... И у тебя, как всегда, мой любимый одеколон и легкая небритость. Мило. Спасибо, что пришли, любимые. Присаживайтесь, присаживайтесь. А где же этот нерасторопный увалень? Одни проблемы с ним! Ладно, не будем ждать, откроем шампанское! Давай, Виктор, открой за него. Он даже на это неспособен... — она заговорчески прыснула, поднеся пальчик к губам и услышала, как гости засмеялись в ответ.

— Слушаю и повинуюсь, моя госпожа, — сказал он грубоватым голосом.

— Ай, смотри, Мария, как бы твой муж не положил глаз на меня... — она погрозила пальцем.

— Уже положил, сестренка, — наклонившись почти вплотную, прошептал он ей нежно. — Уже.

Сестра бы, конечно, едва ли ответила так. Но не он. Не он.

Она засмеялась. Смех был легкий и приятный, как глоток свежего воздуха в душной комнате, и всем в ней сразу стало ясно, что имениннице сегодня действительно хорошо.

— За твое здоровье, любимая... — сказал он тихо ей на ухо и чокнулся по особенному, как всегда чокалась с ней сестра.

Она подняла бокал выше и перевела взгляд на соседний стул, куда он тот час пересел.

— За ваше здоровье, мадам! — сказал он громко и грубо, и снова чокнулся.

Они пили шампанское с клубникой, вспоминая былые годы, молодость, счастье... Но каждый — свое. Он держал ее руку и гладил, как это всегда делала ее сестра. Сейчас он мог себе это позволить.

— Сестренка... радость моя... — шептала она, сонно клоня к нему голову.

Он гладил ее по седым волосам, и она улыбалась сквозь сон.

«Что такое счастье? — думал он. — Это отсутствие несчастья, и это прошлое. Для счастья нужно порой так мало».

Она уже начинала видеть сны, прекрасные сны о молодости, о настоящей бесконечной любви, ей было хорошо, действительно хорошо, он снова сделал ей так, создал для нее это состояние, этот целый, безумно счастливый мир, когда неожиданно встрепенулась:

— Нет, ну даже во снах он все портит! Одни проблемы с ним. И, как всегда, ничего не подарил! Единственная радость, — она осмотрела стол, — что вы еще со мной... Мария... Виктор...

Она улыбнулась им.

— Думаю, он все же любит тебя, дорогуша, — сказал он, гладя ее руку в этот момент особенно нежно.

— Любит? Ха! Когда мужчина любит, он создает для своей женщины рай. Рай! А мой что?.. Тьфу! Ну а я как, ты не спросишь? Почему? А я? Я? За что бог послал мне несчастье?

Он тактично перевел беседу на более приятные темы.

Они шутили, выпивали, чокались. Ей было хорошо, действительно хорошо, как иногда все же случается в этой жизни.

— Нет, ну это вообще никуда не годится! — Встрепенулась она снова. — Мне шестьдесят, а этот старый олух даже в юбилей не может побыть со своей любимой женой?! Пойду посмотрю, где он.

Он похлопал ее по руке.

— Сиди, сестренка, сегодня твой праздник, я сама позову его.

Он встал, прошел через комнату, хлопнул дверью, но остался внутри, тихо вернулся и сел с другой стороны.

— Мадам... — громко произнес он, поднося бокал полный шампанского. — За ваше здоровье, мадам!

Она повернулась, улыбнулась, тепло, очень душевно, как долго-долго никогда не улыбалась ему.

— Мы... э-э-э... одни? — спросила она, опасливо щурясь.

— Совершенно!

— Ах, Виктор, любовь моя! — она прильнула, и он обнял ее и нежно, и грубо одновременно. — Почему все в жизни всегда наизнанку? Почему любим одних, а выходим за других? Зачем врем всю жизнь? Зачем так зла любовь? Ах, какие сны теперь я вижу! В них все так прекрасно, так прекрасно, как никогда не было в жизни, как не может быть в ней. Ну почему нельзя остаться в этих снах? Я правда чувствую себя в них молодой и счастливой! Правда! А потом просыпаюсь и... Почему, ну почему нельзя остаться в них? Каждый день думаю: как уснуть и не проснуться?! Каждую ночь мечтаю умереть, уснуть... Там лучше. Там жизнь. Нет, в этом мире бога точно нет, раз он так отвратителен и несправедлив. Бога точно нет! Он просто не мог, не мог бы так издеваться над нами! У меня все болит... болит... и душа... душа особенно. За что, о Господи?

В этот момент он всегда старался сдержаться от слез, но ему никогда это не удавалось.

— Жизнь все же... отличная штука, — ответил он, стирая слезу дрожащим кулаком. — Если бы все было правильно, было бы не интересно: ни тайных встреч, ни опасных связей, ни романтики...

— Романтик мой! Любовь моя! — Она подставила губы. — Скорей, пока они не вернулись. Мой дурачок так ни о чем и не...

Он прильнул и стал целовать. Он целовал ее грубо, слишком грубо, совсем не так, как нравилось ему, совсем не так, как он сам всегда любил целовать ее. А она шептала сквозь поцелуи, сквозь время и сквозь толстый слой губной помады, как она сожалеет, что прожила жизнь с ним, насколько он всегда был неприятен ей, и насколько Виктор лучше, лучше, несравненно лучше.

Это было платой. Теперь он мог целовать ее и даже называть любимой: тем, кем она была для него. Целовать, но все же не так, как он хотел. Называть любимой, но все же чужим голосом.

Потом, как всегда, расчувствовавшись, она всхлипывала в его объятьях.

— За что бог наказал меня? За что заставил жить с таким человеком? Ну и где он?.. Небось, заигрывает с сестрой! Уж я его знаю! И это-то в мой-то юбилей...

Он терпеливо слушал.

— ...А завтра, завтра, слава богу, на целый день он едет к врачу. Приходи, я так скучаю, так скучаю по тебе! Да?..

Он закивал.

— Это будет настоящий подарок... — шептала она. — Мы вдвоем, как раньше... Богу этот мир явно не удался, но, может, он удастся нам? Тебе и мне?

Он старался сдерживаться, сколько мог, но, как и всегда, надолго его не хватило. Влюбленные обнимали друг друга и тихо плакали. Плакали, но каждый о своем.

Он, влюбленный в нее, играл в это ради нее. А она, давно влюбленная лишь в свою юность, действительно верила в это ради любви к себе и, где-то на дальнем плане, из ненависти к нему: больше некого было винить в ее неудавшейся жизни, больше вообще никого не было в ее жизни рядом, а те, кто когда-то был, незаметно ушли.

Это был его кошмар. Его боль. Его ад. И его рай. Одна надежда, что все это одновременно было и не было сном, лживым сном или реальностью, враньем всего лишь или правдой, пустым звуком или все же осмысленным словом, случайной ошибкой или счастливой лазейкой, подарком Бога или все же его опечаткой, которую он нашел и которой воспользовался. Бога, которому удался и не удался этот мир, Бога, которого просто не было или иначе просто не могло не быть...

Он запутался и тихо-тихо, чтобы не раздражать ее, плакал в сторону, тайком стирая слезы.

Они прижимались друг к другу все сильней, ощущая все глубже начинающуюся бурю чувств, рождающуюся внутри, невыразимую словами, составляя единое целое, единство противоположностей, любви и ненависти, в этот удивительно неправильный, но такой прекрасный миг в этой Вселенной. И по очереди, как дети, то плакали до слез, то смеялись сквозь слезы.

Молодость и старость. Любовь и ненависть. Мечты и реальность. Могущество и бессилие. Удовольствие и боль. Счастье и беда. Прошлое и будущее. Война и мир. Добро и зло. Жизнь и смерть. Надежда и безверие. Да и нет.

Противоположности.

В борьбе и единстве. Он запутался и этим нашел свой путь.

Они прижались друг к другу изо всех своих последних сил и затихли, как всегда в такой момент, зажмурившись. Замерев совершенно неподвижно в совершенной тишине в этом безжалостном, равнодушном и несовершенном мире, спрятавшись от него на краткий миг в свой маленький иной мир: иллюзорный, лживый, но безумно восхитительный. Свой совершенный внутренний мир, ради которого стоило жить. Юркнув в свою норку, свою придуманную гавань души.

А в мире снаружи, на столе, неслышно, медленно, но неумолимо вяли прекрасные цветы, стыла нетронутая индейка и, казалось, в абсолютной тишине вот-вот снова затикают большие стоящие часы.

МИХАИЛ КУЛЕШ

Non sum quale's erat[*]

Христос воскрес!

К концу подходит Всенощное бденье,
Погас последний фитилек свечи.
Священник завершил богослуженье
И освятил мирянам куличи.

По воле Божьей, как из доброй сказки,
Где каждый человек друг другу брат,
Явился миру светлый праздник Пасхи —
Великдень, как в народе говорят.

Чтоб веры свет пролился в души черствых,
Смиренно на Голгофе смерть приняв,
Наш Бог Иисус Христос воскрес из мертвых,
Своею смертью в муках смерть поправ.

Весь мир наполнен торжеством и новью
И Божья благодать сошла с небес.
И мы друг другу говорим с любовью:
— Христос воскрес! — Воистину воскрес!

* * *

Как быстро все меняется с годами:
У мамы за последних пару лет
Прибавилось морщинок под глазами,
Да и в глазах огня былого нет.

Мы приезжаем редко, ненадолго,
И так всегда прощаться тяжело,
Но как-то в этот раз перед дорогой
Мне что-то больно сердце обожгло.

[*] Я уже не тот, что был раньше

Присели как обычно на дорожку
На лавку вдоль кухонного стола.
Яиц десяток, сала и картошку
В дорогу, как обычно, собрала.

Но почему-то в этот час прощальный
Заплакала, уткнувшись мне в плечо.
А взгляд такой тревожный и печальный:
— Побудь, сынок, увидимся ль еще?

Non sum quale's eram

Стал реже волос и мудрее взгляд,
Не балуюсь ни рюмкой и ни трубкой,
Желанья нет, как тридцать лет назад,
Задрав штаны, бежать за каждой юбкой.

Уже не ем копченой колбасы —
Ем творог и овсяное печенье,
Не брею поседевшие усы
И церковь посещаю в воскресенье.

Меня ничем сегодня не проймешь,
Я закален в житейской круговерти:
Познал беду, предательство и ложь
И был не раз на волосок от смерти.

Рассудит Бог — кто прав, кто виноват,
Но, несмотря на опыт свой печальный
Я тот же, что и тридцать лет назад —
Простой, открытый и сентиментальный.

Спешу на помощь, если вдруг беда,
Кормлю батоном белым птичью стаю
И по коленкам голым иногда
Украдкой от жены еще стреляю.

Я в жизнь врезаюсь, как шахтер в забой,
Девиз мой прежний: «Доброта и честность!»...
Я, в принципе, остался сам собой —
И лишь немного изменилась внешность.

* * *

Край родной мой, прекрасный и древний,
Мне и горе с тобой — не беда...
Я когда-то ушел из деревни,
И, казалось, ушел навсегда.

Жил в райцентре, учился в столице —
Всюду сервис, комфорт и уют.
Магазины, театры, больницы,
И что надо — здесь все продают.

Но ночами по-прежнему снится,
Как синеют в траве васильки,
Колосится под солнцем пшеница
И пасутся стада у реки.

И хоть к прошлому нету возврата,
Но живу эту память храня...
Я ушел из деревни когда-то,
Но она не ушла от меня.

* * *

Не тешь себя надеждой на любовь —
Промчалась жизнь веселым хороводом.
К тебе пришел я из далеких снов
За тем, что было там запретным плодом.

Ты так же весела и хороша,
С тобою мне приятно и не скучно.
И радуется грешная душа,
Что ты, как воск, в моих руках послушна.

Для жизни ночь, где вместе ты и я —
Мгновенный кадр на старый «Полароид»,
Но у тебя и у меня семья,
И нам об этом забывать не стоит.

Не стоит бередить былое вновь,
Ведь мы сейчас за две семьи в ответе,
А первая далекая любовь
Пусть белой яхтой растворится в Лете.

* * *

Совсем не за личной утехой,
А чтобы не хуже других!
Я в Турцию летом поехал,
Попить коньяков дорогих.

Джакузи, ковер необычный
И с видом на море окно,
Отель пятизвездный отличный —
По принципу «Все включено».

Их сервис на наш не похожий —
Я шопы там все исходил.
Купил себе куртку из кожи
И перстень с печаткой купил.

Вставал каждый день спозаранок,
Объездил там все и везде
Увидел и Хлопковый замок,
И храм Аполлона в Сиде.

Античные видел искусства
И в море бросал якоря...
Но, если б не Танька с Иркутска —
Поездка прошла б моя зря.

* * *

В парилке, несмотря на то, что поздно, жарко,
А в раздевалке споры как всегда:
Подорожали водка и солярка
И даже минеральная вода.

Кто пиво пил, а кто — чаек с лимоном,
И тут привычным нормам вопреки
Зашел мужчина в куртке с капюшоном
И крикнул всем: «Здорово, мужики!»

Не мог придумать ничего умнее
Для незнакомых голых мужиков?!
Но в жаркой бане стало вдруг теплее
От тех нехитрых, всем знакомых слов.

Они задели каждого по сути —
Я видел — равнодушных рядом нет!
Один сказал: «Здорово, коль не шутишь!»
Другой кивнул с улыбкою в ответ.

Он те слова сказал совсем недаром —
Как будто эстафету передал:
Сосед меня поздравил с легким паром
И «До свиданья» банщице сказал.

ВЛАДИСЛАВ ГОЛУБОК

Что с плеч, то в печь

Владислав Голубок (1882—1937) — талантливый белорусский прозаик, поэт, драматург и публицист. Пьеса В. Голубка «Писаревы именины» — настоящий шедевр национальной драматургии. Ему принадлежат замечательные новеллы-миниатюры: «Маримоновы собаки» (1911), «Гроза» (1911), «Отвага» (1911), «Вода помогла» (1912), «Чужое вкуснее»(1912), «Ошибка ученого» (1913), «Образованная кобыла» (1914), «Дорогие лекарства» (1914), стилистика которых берет начало в глубинных пластах народной культуры. Сюжетную основу большинства рассказов В. Голубка составляли потешные истории и анекдотические происшествия. Некоторые из них мы представляем читателям «Нёмана».

Маримоновы собаки

Хотя и трудно жилось Маримону, но то ли по доброте душевной, то ли по привычке, он никогда ни избавлялся от приплода, который приходил от животных в его доме. Хозяйство Свежинского было не очень крепким: старая кобыла и рябая сука. Вот от последней Маримон и дождался прибыли: восьмерых щенят. Соседи советовали свести со свету этих дармоедов, однако он не соглашался с ними. «Пусть качаются», — говорил. И вправду: подросли собачки. Мать их хорошо лаяла, а детки — и того лучше: не пройти возле дома бобыля.

Вот как-то под осень (бабьим летом), в праздничный день сидел наш Маримон на завалинке, искал трубку, почесывал свой, как груша, нос и посматривал на дорогу. Вдруг видит: плывет от соседнего двора теща пана. Тащится, прикрывается красным зонтиком, сама толстая, как кадушка, юбка на ней сидит, словно на тугих обручах. Но шляпа, шляпа! Такой и отроду Маримон не видел. Как назло, здесь же крутилась и рябая сучка со своей дружиной. По-видимому, эта-то шляпа и кольнула им глаза, словно перевернутая обеденная миска. Вот они и бросились на пани, только пыль столбом. Не успел Маримон осмотреться, как зонтик, которым пани пыталась защититься, был разодран в клочья. А пока Маримон подбежал, пани уже повернула оглобли и чесала во все лопатки к своему двору.

«Откуда только у нее силы взялись так бежать? Видимо, помяли собаки ее красоту», — думал Маримон, почесывая затылок. А чесать затылок было из-за чего. Прилетит пан — будет конец! Еще, чего хорошего, месяца на два *дармовые обед и квартиру влепят!*

Только начало клониться к вечеру — так оно и есть: катит пан к Маримону, а у того и блохи уже издохли.

— Твои собаки дали прикурить моей теще? — спрашивает пан, войдя в дом.

— Мои, паночек, мои, чтобы их волк задрал, — отвечает Маримон. — Я их уже под засов посадил.

— А нельзя ли посмотреть на них, какие они? — снова спрашивает пан.

— Почему же нельзя, хоть сейчас, — сказал Маримон и выпустил собак из-за ограды во двор.

Долго присматривался пан через окно, как крутилась рябая сучка, обнюхивала чужой след, как вприпрыжку за ней кидалась ее семейка. А затем и говорит Свежинскому:

— Слушай, брат, продай мне их. Хорошие деньги дам.

Смотрит Маримон, глаза вытаращил. «Издевается пан, или еще какое лихо?» — думает он. А пан вновь обращается к нему:

— Ну что здесь долго думать, соседское дело. Вот тебе за сучку троячка и за этих карапузов по рублику за хвост. Думаю, не обидишься. Бросай малых в мешок или в корзину какую-нибудь и тащи в мой двор, а сука сама за ними полетит.

«Издевается или нет? — думает удивленный Маримон. — Но если дают хорошие деньги, то почему не брать?»

Сгреб Маримон щенят в кучу, снял с кола мешок и побросал в него.

Забросил мешок за плечи и тащит в панский двор. По дороге не выдержал:

— Паночек, — говорит, — простите, что буду спрашивать. Мои же собаки не научены охотиться, зачем же вам это волчье мясо? А вдруг они снова испугают пани? И так они, кажется, вам навредили?

— Навредили? — не останавливаясь, говорит пан. — Помогли, Маримонка, помогли! Когда теща вернулась после той бани, она сказала: «Если бы у тебя были во дворе такие звери, я бы и на день не осталась здесь!»

Вода помогла

— Ну, так идем, моя рыбка, к колдунье в Углы, — говорила мать своей дочери. — Может тебе и не поможет, но все словно в бубен бьют, что она всех выручает. А разве ты хуже других людей?

— Идем, если так, — отвечала дочь, — только я ничего говорить не буду, разговаривай с ней ты. Ты — старая, а старой женщине, что с плеч, то в печь.

Так посоветовавшись и договорившись, мать с дочерью выправились в путь. Тащились, бедняги, по Борисовскому тракту с самого утра, и только поздно вечером попали они к колдунье.

Осторожно отворили дверь, переступили высокий порог. Колдунья как раз была дома, стояла возле печи с огромной кочергой в руках.

— Откуда, женщины? — спросила она странниц.

— Издали, госпожа, издали! Измучились совсем, ищем совета и помощи. Весь мир обошли. — У старой женщины из глаз покатились слезы, крупные, словно боб. — Еще в прошлом году отдала дочь замуж за Гвоздка, — начала старая, — прошел год, начался второй, а детишек все нет и нет, а она сохнет, несчастная, как цветок без воды. Посмотреть — молодица хоть куда, красненькая, как брусничка, сама хочет приплода, а здесь хоть шаром покати. Кому же тогда иметь детей, если не ей!

Помолчали некоторое время, старая женщина продолжала дальше:

— Она мне давно жалуется, что ее мужа словно сглазили. Может, и ***струю Бога!***

Во время рассказа матери молодица прятала свой маленький носик в пестрый платочек и беспокойно сидела на диване.

— Может, сглазили, а, может, и нет, — сказала колдунья. — Может, так какая мерзость прицепилась. Нужно подлечить, отпустит. Тогда, бабушка, будешь иметь внуков.

— Ох, госпожа, о, родная! Если знаете способ, помогите! Очень хочется перед смертью взглянуть на свою кровь.

Сидя на лаве, мать плакала и утирала рукавом слезы, а дочь, потупив глаза, будто виноватая, тихонько примостилась возле матери, изредка вздыхая.

— Оставь плакать, бабушка! — сказала колдунья. — Вот только приготовлю ужин своему мужику, а там узнаем, сглаз это или другая какая напасть прицепилась. — Она снова начала ворошить кочергой в печи, искоса посматривая на настил, где лежал ее муж, уставив глаза на молодицу.

— Что ты глаза вытаращил? Что бы ты на жару сжарился! — крикнула на него колдунья. — Вот сейчас горячей кочергой глаза твои выжгу! Смотри, как уставился, чтобы ты утоп, старый лапоть. Кажется, весь порох высыпался, а как узрел молодицу, словно леший его колотит.

— Идемте во вторую половину, — обратилась она к женщинам.

Взяв с припечка карты, колдунья перемешала их и начала раскладывать. Подумав немного, она сказала, что мужика сглазили, и помощь от сглаза может оказать только здешний крестьянин Кирилл, вдовец.

Позвали Кирилла.

Через полчаса скрипнула дверь, и в дом ввалился Кирилл, — высокого роста, плечистый, не старый еще мужчина, с необыкновенно роскошными усами.

— Вот, спасение здесь! Проси, женщина, его вылечить. А я с уверенностью говорю, что случится то, чего вы хотите.

— О, дядечка! О, колосок! О, спаситель, выручай! — бросилась старая женщина к доктору. — Хотя бы одного ребеночка. Я же мать, своей дочушки мне жаль, изнывает, бедняжка, свету не видит...

Кирилл бросил взгляд на молодицу, покрутил черные, словно смола, усы и начал густым басом:

— Помочь то можно, но, вижу, бесплодие очень глубоко сидит в дочери,— сказал он и попросил кружку воды.

Подали.

Кирилл зажал в могучих руках кружку, стал в угол, что-то несуразное нес, и наконец, передал воду молодой, наказав, чтобы она сама понемногу пила и мужика время от времени поила. Кирилл при этом по привычке заверял, что это лекарство болезнь осилит, и принесет здоровья полный мех.

Тем временем, старая женщина достала из котомки бутылочку картофельной самогонки, поставила ее на стол.

Кирилл, когда увидел такой презент, кажется, от радости еще больше вырос, и глаза его заблестели, как у волка.

Сели за стол. Сначала Кирилл выпил с молодицей, затем с ее матерью, по чарке с хозяевами, которые собирались отдыхать. Опустошили бутылку. Кирилл — словно волшебник — поставил вторую. И пошло веселье.

Неизвестно, долго продолжалось бы веселье, если бы, наконец, не погасла лампа. Само ли оно так произошло, или так требовала медицина, не нам,

простым людям, о том знать. Одно только можно утверждать, не зря сходили к колдунье.

Через полгода к колдунье пришла старая женщина. Теперь она принесла подарки, и на лице ее светилась радость.

— О, госпожа моя, родимая моя, спасибо тебе, спасибо, — все хорошо. Благодаря Богу, дочь получила надежду. Вот тебе за ворожбу скатерть новая, а доктору, пусть он всегда здоров будет, за беспокойство, полотно на рубашку, — говорила старая женщина, вынимая подарки.

Чужое вкуснее

В деревне Неманец жил старый Игнат, овдовевший лет десять тому.

Дед имел характер старосветских людей. Его длинная седая борода, красное приветливое лицо вызывали уважение. Кто хоть раз видел деда, всегда вспоминал его статную фигуру. Хозяйство он имел не очень большое, но работал с утра дотемна, поэтому и хлеба имел даже слишком.

Стоило только попасть к Игнату, и голодным не останешься: накормит, напоит, а страннику еще и в дорогу даст.

Помню, как сегодня: зашел я в праздничный день к деду поговорить. Дед обедал. Тотчас же собрал сладости, какие у него были, посадил меня на кут и угощает. Слова за слово, разговорились о хозяйстве. Вот дед и говорит:

— Все, слава Богу, родит: и хлеб, и огурцы, и картошка. Но как вырастет, никакого вкуса не имеет, хоть выбрасывай. Вот, возьми, попробуй!

Съел я несколько картошек, и хотя, может быть то и грех, но я подумал, что у Игната от старости вкус пропал. Не желая перечить ему, я согласился с ним и сказал:

— В самом деле, отец, в самом деле, нет в ней вкуса. Не картошка это, если она отдает можжевельником. Вот, если бы ты моей картошки испробовал, то, наверняка, и на семена попросил бы!

Надолго не откладывая, приглашаю Игната к себе, а сам при этом прикидываю, как выбросить шутку и накормить деда его же собственной картошкой.

Незадолго перед приходом деда, я попросил у помощницы, работавшей у него, свежей картошки, очистил ее и сварил.

Пришел дед. Сели за стол. Сваренную картошку с горячим паром, в большой миске, со шкварками поставили перед ним на стол. Чарку — дед, чарку — я, и навалились на картошку. Дед еще и не пробовал, но уже хвалит:

— Сразу слышно, что картошка намного лучше, чем моя. Смотришь, душа радуется. Вот, кажется, и земля одна, и работа одинаковая, но в моей картошке какой-то изъян есть.

Не успели осмотреться, как ни одной картошки не осталось в миске.

Дед вскоре начал собираться уходить, благодарит он за угощение, за необычайно вкусную картошку. А я ему и говорю:

— Не стоит, дядька, за свое добро благодарить. Если бы ты кушал мою картошку, то это совсем другое дело. А поскольку уплетал свою картошку только в моем доме, то благодарить не стоит.

Дед от удивления вытаращил глаза.

И как я ему не доказывал, он не поверил моим словам. Но, уходя домой, покивал головой, рассмеялся и молвил:

— Правда, сосед, чужое всегда кажется вкуснее, чем свое.

Образованная кобыла

Однажды Гавриле удалось купить на рынке по сходной цене красивую, необычайно рослую сивую кобылу.

Радовался Гаврила, глядя на лошадь. Хвалили и соседи, говоря, что она полковая кобыла.

День, второй подержал ее Гаврила на хороших кормах, затем, хочешь не хочешь, а нужно в соху впрягать.

Не складно ходила с сохой кобыла, видно было, что не приучена она для работы на земле.

Заскучала кобыла, поработав без перерыва несколько дней, от восхода до захода солнца.

Возвращаясь с поля вечером на отдых, кобыла грустно смотрела в ту сторону, откуда пригнал ее новый хозяин. Она вспоминала, как хорошо ей жилось раньше, и как плохо теперь. Бывало — овса вдоволь, досмотр, а работы никакой, гарцуй себе под музыку! А здесь измеряй из конца в конец длинный шнур на поле.

«И что это за издевательство надо мной совершили?» — горько жаловалась она самой себе.

Однажды в праздник Гаврила решил выбраться в город, побыть среди людей да кобылу немного разгрузить. Только въехал он на широкую улицу, как навстречу ему, под треск барабанов, идет полк солдат с музыкой впереди.

Гаврила съехал в сторону, остановил кобылу.

Вдруг музыканты заиграли марш.

Не успел Гаврила дух перевести, как его кобыла сильно рванула вперед, сбросила повозку в канаву и в оглоблях понеслась вдогонку за музыкой, подбрасывая зад вверх.

Гаврила врезался лбом в фонарный столб и не видел, что дальше происходило. Когда он пришел в себя, увидел, что его кобылу за уздечку ведет десятник.

— Ты что это на танцы ее привел людей пугать? — грозно спросил он.

— Черт только знал, что она танцует, — ответил Гаврила.

Кобылу отправили на пожарный двор, а Гаврилу вызвали в часть.

Только на следующий день Гаврила увидел свою кобылу. Она заржала и приветливо взглянула на него.

По упавшим бокам было видно, что она всю ночь простояла голодной.

Посмотрел Гаврила на нее и усмехнулся. Злость сразу покинула его.

— Ну, а как же танцы? — шутил он. — Не получилось? Я так и знал, что не попадешь в такт. Я вот человек и разум у меня не кобылий и то не пытаюсь, а она — замахнулась! Людей напугала, фонари вывернула. Едем домой, в гостях — это не дома. Наверняка, и клока сена здесь в губу не дали. А меня, признаюсь тебе, хорошо угостили...

Дорогие лекарства

Прицепилась к Язэпу болезнь, как пьяный к забору. Чем он, бедняга, только не пробовал лечиться, ничего не помогало.

— Ну, пусть бы болезнь как болезнь была, — жаловался Язэп, — а то ведь, день тянет, день сосет, два рвет, три полощет!

Разными способами пробовал Язэп излечиться, — все впустую.

— Нужно, — говорили соседи, — обращаться к доктору, тот сразу угадает. Не узнает сразу — машинку подведет, и будет знать, в чем дело.

— А может и правда, — задумался Язэп, — людей нужно слушать. — И долго не раздумывая, начал собирать деньги на лекарства.

Несколько дней кряду он не ходил с визитами в шинок и смог собрать кое-какую копейку.

Наконец выправился в город. Быстро нашел доктора и в полдень уже сидел в приемной.

Там находились молодые и старые с задумчивыми лицами.

Посмотрев на всех, Язэп подумал, что с такой болезнью как у него, здесь наверняка никого нет. Все внешне здоровы, как кресты.

Вскоре начался прием.

Язэпа приняли последним. Доктор долго расспрашивал, пьет ли он горелку, как спит, хорошо ли кушает.

Язэп отвечал, но остерегался, чтобы доктор не узнал, что он горелку пьет, словно в лейку льет. Но доктор сам узнал и запретил ему ходить в шинок. Отсчитал Язэп полрубля за визит и направился в аптеку.

Там посмотрели рецепт, отсчитали на два рубля лекарств и сказали приходить за ними через час.

Даже страшно стало Язэпу, когда он услышал о такой цене лекарств. Но согласился. Ведь сам виноват, что позволил болезни так разгуляться.

За лекарством пришлось отправляться на следующий день, поскольку рассчитаться за них не хватало денег.

Отходя от двери аптеки, он еще раз взглянул на блестящую лысину аптекаря. Уходя, сказал сам себе, что денег не следует жалеть, главное — справиться с болезнью.

На следующий день Язэп не поехал за лекарствами, а отправил жену.

— Не забудь взять корзину! — в десятый раз напоминал ей Язэп. На два рубля их дадут столько — в подол не вместишь, да еще по дороге растолчешь.

— Хорошо, хорошо, — отвечала жена. — Взяла. Мало одной корзины, вторую про запас прихватила.

Приехала она в город, гордо вошла в аптеку, неся с собой две огромных корзины.

Своим глазам не поверила женщина, когда увидела, что все лекарства не только в корзине вместятся, но в одной руке их, как конфетку, можно спрятать.

Не мог поверить и Язэп, когда увидел, что привезла жена.

— Видимо, обманул меня, сермяжного, тот шарлатан? — переживал Язэп, взирая на флакон с лекарствами.

Прошло немного времени. Соседи и спрашивают Язэпа:

— Помогли ли лекарства?

— Да где там! — со злостью отвечает он. — Два рубля с половиной впер неизвестно во что, а ожидаемой помощи нет. Лучше бы я за те деньги напился, так три дня голова бы болела, а так — ничего.

Вступительная статья и перевод
Ивана САВЕРЧЕНКО.

«Еще ни один автор не стал сам по себе всемирно известным»

Современную украинскую литературу мы знаем не так уж и хорошо. Конечно, в эпоху вездесущего интернета у кого-то эти слова могут вызвать улыбку. Но ведь мы, как и во времена Пушкина, «ленивы и нелюбопытны», чаще обращаем внимание на то, что больше раскручено, что на виду. А в первую очередь раскручиваются, известное дело, коммерческие проекты, не всегда отражающие самые характерные, глубинные процессы, происходящие в национальной литературе.

Ведя переговоры с украинской стороной о публикации на страницах «Нёмана» современных украинских поэтов и прозаиков, мы исходили еще из того, что в нашем журнале вообще уж как-то давно не появлялись произведения представителей одного из самых близких нам народов. А помогла нам с этой публикацией Галина Тарасюк, которая любезно согласилась ответить на несколько вопросов.

Досье

Галина Тарасюк — одна из самых ярких современных писательниц Украины, член Национального Союза писателей Украины, Национального Союза журналистов Украины, Ассоциации украинских писателей. Лауреат многих престижных международных литературных премий, причем, как в области поэзии, так и прозы. Кавалер Ордена княгини Ольги, Заслуженный деятель культуры Украины.

Родилась в селе Орловка Винницкой области. Училась, работала и сформировалась как интересный, самобытный поэт в г. Черновцы на Буковине. Там же издала девять поэтических сборников. В начале 90-х решительно перешла на прозу. Уже ее первый «маленький роман», «Смерть — сестра моего одиночества», произвел необычный для того революционно-растерянного времени фурор, даже скандал. Впервые в украинской литературе так бескомпромиссно, точно и смело было рассказано о событиях на Украине «от Чорнобыля до Незалэжности и после», об истинном демократическом возрождении народа и перерожденчестве его поводырей, о вечных ценностях, их переоценке и «цене вопроса».

Роман «Смерть — сестра моего одиночества» стал первым бестселлером украинской постсоветской литературы и сделал Галину Тарасюк популярным и востребованным современным автором. Подъему творчества благоприятствовал и ее переезд из города Черновцы в столицу, работа в таких изданиях, как «Слово Просвіти», «Літературна Україна», «Українська літературна газета». Одна за другой выходят ее книги: «Дама последнего рыцаря», «Между адом и раем», «Женские романы», «Ангел с Украины», «Храм на болоте», «Мой третий и последний брак», «Новеллы», «Короткий танец на Венском балу», «Ковчег для бабочек», «Цинь Хуань Гонь», которые поставили Галину Тарасюк в авангард современной украинской прозы. Читателей восхищает трагическая правда ее произведений, потрясающе «живые» образы современников, драматизм и чувство юмора, которое вселяет надежду на высшее торжество правды и справедливости. Литературоведов покоряет ее талант «художественной трепанации своего времени и своего общества», захватывающий

сюжет, богатство языка, глубокий психологизм, знание жизни от ее вершин до низов.

Недаром один из молодых критиков заметил: «Несмотря на то, что свой стиль и творческий метод Галина Тарасюк называет «абсурдным реализмом», именно по ее книгам в будущем будут изучать истинную историю Украины». Сама же писательница так оценивает свое творчество: «Я пишу о нынешней Украине. Это трудно, сложно, иногда невыносимо, но это — мой крест».

Стихи и проза Г. Тарасюк печатались в Австрии, России, Италии, Канаде, США, Румынии, Молдове, Польше, Латвии, Эстонии, Туркмении, Киргизии... В 1989 году издательство «Советский писатель» в переводе на русский язык выпустило ее поэтическую книгу «Свет родника».

В 2012 году под редакцией Галины Тарасюк в киевском издательстве «Золоті ворота» вышла книга известной белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Игра в Альбарутению». Перевод Олеси Сандыги.

— Галина Тимофеевна, после издания стольких поэтических сборников, после того большого признания, которое вы получили как поэт, вдруг бесповоротно ушли в прозу. Может, сейчас не время поэзии? И разве поэт в Украине «не больше, чем поэт»?

— Все дело в том, что мой путь в литературу начался в конце далеких 60-х годов и из прозы. Где-то в старших классах, конечно, под влиянием шестидесятников и своего отца, который меня воспитывал на традициях классической литературы, я написала около двух десятков новелл — всю правду-матку о мире, в котором жила: колхозное село, затерянное в степях Украины. И все это направила в молодежную газету «Комсомольское племя», даже не надеясь, что напечатают. Но на мое счастье в той редакции работало несколько молодых писателей, которых мои новеллы чем-то поразили. Несколько из них напечатали, а остальные разошлись «по рукам и шуфлядам», что тогда было признаком признания. Так неожиданно ко мне пришла слава. Но несмотря на то, что впоследствии меня как молодое дарование поддержали такие известные писатели, как Ирина Вильде, Владимир Бабляк, Роман Иваничук, Иван Свариник, книга прозы так и не вышла: некоторым мое наивное творчество показалось подражанием Кафке и Джойсу (о которых я тогда даже не слышала), что, разумеется, не вписывалось в рамки соцреализма... Но это не сбило меня с «пути истинного». К счастью, я была слишком молода для разочарования и просто стала писать стихи. И уже за первую поэтическую книгу по благословению незабываемого Павла Загребельного меня приняли в члены Союза писателей СССР. Затем была творческая пауза, заполненная рутиной журналистского труда, семейными драмами, идеологическими перипетиями в духе того времени, и только в годы перестройки я снова почувствовала, что «я поэт и даже больше». Результат: восемь поэтических сборников, и девятый — «Свет родника», который вышел в переводе на русский язык в «Советском писателе». Далее были 90-е, бурная общественно-политическая деятельность, свобода творчества, появился стимул взяться за прозу, по которой, по правде говоря, очень тосковала. Мой первый роман «Смерть — сестра моєї самотності», как писали впоследствии критики, стал «первым украинским бестселлером» и вызвал большой скандал. А все потому, что, пытаясь дать объективную оценку общественно-политическим событиям, которые происходили в стране, я невольно затронула и морально-этические проблемы, о которых раньше не принято было писать. Но времена были уже другие. И скоро мой «еретический» социально-политический роман «затмили» фривольно-раскованные произведения постмодернистов. Эти авторы были моложе меня, не обремененные горьким опытом неудач, свободные от комплексов, кроме того, они восприняли свободу слова не как долгожданную возможность наконец вылить на бумагу все, что болело и жгло всю жизнь, а как право писать все,

что хочешь и как хочешь. И все же я поняла, что пришла пора большой прозы. И что это мое время. В 2000 году я переехала из Черновцов в Киев и за эти 12 лет написала и издала 12 прозаических книг, каждая из которых была отмечена литературной премией. Тем не менее, оказалось, что я опять не вписываюсь в «рамки», но уже постмодернизма, как последователь... соцреализма. Такой парадокс. Все это я рассказываю не ради собственной рекламы, а из сожаления, что до сих пор наши уважаемые литературоведы, увлекшись фантомным явлением постмодернизма, не желают признать, что в настоящее время в Украине существует мощный пласт очень серьезной, талантливой остро-социальной, человекоцентристской литературы, которую творят... женщины. К сожалению, мало раскрученные. В доказательство этого я недавно подготовила антологию современной женской прозы, в которую вошли произведения женщин-прозаиков примерно моего поколения — «семидесятников», действительно пишущих из убеждения, что писатель в Украине больше, чем писатель.

— Ваши произведения переведены на многие языки мира. Теперь легче стало попадать на страницы зарубежной печати, чем это было в советское время?

— Что было хорошего в советские времена, так это замечательная традиция — дружить литературами, переводить друг друга и издаваться на государственные средства. Теперь все зависит от менеджерских талантов самого писателя, его личных связей и, конечно, денег. Имеешь все это — переведут и в Африке. У нас есть несколько писателей, которые печатаются за рубежом за свой счет, но выдают это за мировую известность. Существуют различные иностранные гранты, но ими пользуется очень узкий круг авторов, творчество которых, к сожалению, не представляет собой яркие образцы национальной литературы, а скорее тексты, адаптированные к глобалистическим процессам. И все же меня радует, что настоящий прорыв в Европу сделали молодые писатели, знающие иностранные языки, которые сотрудничают с посольствами европейских государств как переводчики и популяризаторы их литератур в Украине. Радует, что в ответ тексты некоторых из них тоже где-то перевели. Но это — капля в море. К сожалению, у нас в Украине государство совершенно не заботится о популяризации отечественной литературы за рубежом. Я имею в виду не только наши посольства, или соответствующие министерства. Нужна серьезная государственная программа, как, например, уже давно и плодотворно работающая программа «Держкомтелерадіо» на поддержку отечественного книгоиздания «Українська книга», благодаря которой наши библиотеки каждый год пополняются новыми талантливыми и социальнозначимыми произведениями современных украинских и даже зарубежных писателей. Но инициаторами этого святого дела должны стать прежде всего народные депутаты, среди которых есть писатели, и государственные культурные и научные учреждения, и общественные институции: Академия наук, Институт литературы, творческие союзы, и средства массовой информации, обязанность которых — формировать общественное мнение. Ведь, как известно, еще ни один автор не стал сам по себе всемирно известным. Даже знаменитая мама Гарри Потерра — это тоже в определенной мере реализация имперских амбиций Англии в мировом (теперь информационном) пространстве. К сожалению, мы так долго были «безгосударственными», что до сих пор не способны мыслить по-государственному. Особенно, когда речь идет об оценке наших творцов. Так недавно повторилась (один к одному) забытая печальная история по выдвижению на Нобелевскую премию Ивана Франко, которая завершилась неудачей только потому, что украинского гения не поддержали ученые земляки... Казалось бы, горький опыт должен чему-то научить. Но увы! Недавнее выдвижение на эту престижную награду патриарха нашей поэзии Бориса Олийника вместо активной общественной поддержки вызвало равнодушие, и даже...

необоснованную обструкцию некоторых писателей... Что поделаешь: таковы «издержки» свободы слова... Поэтому пока государство Украина (власть и народ) не поймет, что литература — это важный аргумент для ее планетарного утверждения, у нас не будет ни всемирно известных писателей, ни Нобелевских лауреатов, ни уважения в мире. И это не только мое мнение. Теперь Вы понимаете, почему украинские писатели с таким энтузиазмом восприняли Ваш международный издательский проект «Созвучие сердец», и многие сожалели, что не могут в нем участвовать. Поэтому наш Вам респект! Надеемся, что это только начало возрождения древних и славных традиций сотрудничества наших литератур.

— Сегодня не утихают разговоры о том, что литература теряет своего читателя. Как эта проблема затронула украинскую литературу?

— Мне кажется, что это проблема планетарная... Но я не вижу здесь трагедии. Просто у нас с вами, бывшими гражданами «самой читающей страны СССР», есть с чем сравнивать. Но тогда еще не было таких ярких и мощных источников «утоления духовной жажды», как телевидение и интернет. Поэтому если народ сейчас и стал меньше читать печатных книг, то только потому, что он их читает в электронном виде. Меня другое беспокоит... Не знаю, как в Беларуси, а в Украине сегодня литературу пытаются превратить в некую составляющую развлекательного бизнеса. Если ты не хочешь до этого опускаться, тебя нигде нет. И на это работают зарегистрированные в Украине мощные иностранные издательства, которым принадлежат большие книжные супермаркеты, и книжный рынок, на котором все труднее найти украинскую книгу, разве что писателей — депутатов Верховной Рады и наших знаменитых «грантоедов». Как тут не вспомнить гениальные предостережения вождя мирового пролетариата мастерам пера, что жить в обществе и быть свободным от него невозможно. Писатель всегда зависим, если не от денежного мешка, так от идеологии, часто спрятанной под свободой слова... Но, как свидетельствуют истории наших национальных литератур, для честного писателя всегда есть трудный выбор — гражданская позиция. Пусть даже это звучит сегодня «громко и устарело».

— Как выживает в нынешних условиях украинская литературная периодика? Кто ее основной подписчик и читатель?

— Выживает с трудом. Особенно т. н. независимые издания, которые периодически появляются в надежде на поддержку богатых меценатов — страстных любителей словесности, и вскоре исчезают за неимением таковых. К сожалению, наши олигархи увлекаются всеми искусствами, кроме литературы... Правда, существует государственная программа поддержки, но только тех периодических (или одноразовых) литературных изданий, соучредителями которых являются министерство культуры или областные и городские органы власти... Но это не спасает ситуацию. В последние годы исчез из духовных горизонтов очень уважаемый в советское время, богатый традициями толстый литературный журнал «Вітчизна». Прозябают некогда мощные журналы «Дзвін» (бывший «Жовтень»), «Березіль» (бывший «Прапор») и даже такой популярный источник познания всемирной литературы, как журнал «Всесвіт». На самоотверженности редактора Виктора Баранова держится журнал «Київ», судьба которого во многом зависит от литературных пристрастий очередного градоначальника. То же можно сказать и про журнал «Кур'єр Кривбасу», успешно возглавляемый большим тружеником — публицистом и краеведом Григорием Гусейновым. Благодаря меценатам-патриотам и скромному финансированию из бюджета еще «дышит» газета «Літературна Україна», где я проработала восемь лет на «смешной» зарплате. К сожалению, не может выйти на нормальный тираж из-за финансов четыре года тому назад созданная Михайлом Сидоржевским (нынешним руководителем Киевской организации Национального союза писателей Украины) весьма интересная, креативная «Українська літературна газета»,

поэтому вынуждена работать в режиме интернет-издания, притом очень популярного среди творческой молодежи. А кто подписчики этих журналов и газет? Кто же, как не самоотверженная и не очень богатая украинская интеллигенция, преимущественно старшего поколения. Ведь молодежь черпает информацию из интернета...

— Если сравнить украинскую литературу XX века и нынешнюю: что она, может быть, утратила, от чего избавилась и что, наоборот, приобрела? Что наиболее характерно для нее, сегодняшней, вы бы отметили?

— Чтобы быть объективным, на это надо смотреть, наверное, не с точки зрения современности, а с точки зрения вечности. Несмотря на все названные мной насущные проблемы, украинская литература за годы независимости обрела большие возможности, у нее открылось новое дыхание, она вышла на новый уровень качества. И это подтверждают произведения писателей старшего поколения: того же Бориса Олийника, Ивана Драча, Лины Костенко, Юрия Мушкетыка, Анатолия Димарова, только что изданная книга Юрия Щербака «Смертохристи». Появилась, как я уже говорила, целая плеяда молодых талантливых поэтов, которые гармонично сочетают в себе свободу творчества, романтическую верность национальным традициям со здоровым конформизмом и скептицизмом. Они активны, ориентированы на Европу, не ждут ни от кого милости, надеются только на свои силы и талант. Ранее они преимущественно группировались вокруг издательств, где их охотно издавали, игнорируя Союз писателей как устаревшую структуру. Но в последнее время при руководстве Виктора Баранова Национальный Союз писателей Украины поменял свою политику в отношении молодых, не только широко открыв для них двери, но и создав все условия для реализации различных идей и для самоутверждения. Радует и то, что креативными молодыми талантами пополнились ряды литературоведов и критиков, а также переводчиков. Просто на глазах расцвела детская литература, которую наряду с маститыми авторами творят и молодые. Немного труднее с молодой прозой, поскольку этот жанр требует определенного житейского опыта. И все же ее пишут, и она имеет своего читателя. По большому счету, традиция духовной связи литературных поколений не прерывается. Правда, как человека, принадлежащего к старшему поколению, меня немного смущает десекрализация новой литературы и отчасти ее дегероизация, то есть размывание того понятия, что мы вкладывали в изречение-аксиому: «поэт в... своем государстве, скажем так, более чем поэт». Но, пожалуй, это дело наживное. Тем более, что на страже этого высокого морально-этического императива непоколебимо стоят наши живые классики-шестидесятники: Борис Олийник, Лина Костенко, Иван Дзюба, Павло Мовчан, Дмитро Павлычко; семидесятники Василь Портяк, Любовь Голота, Михайло Шевченко, Михайло Слабошпицкий; восьмидесятники Василь Герасимюк, Владимир Даниленко, Теодозия Заривна... И другие достойные уважения писатели. Всех не перечесть в коротком интервью...

— Говоря о своем творчестве, вы как-то признались, что своими произведениями пишете судьбу современной Украины. А если заглянуть немножко вперед, в будущее: какой вам видится ее судьба?

— А разве можно сомневаться в будущем того, что сотворил Господь Бог? Я свято верю, что судьба каждого народа, каждого государства, как и человека, в воле Высшего Разума, Целесообразности и Справедливости. Иначе нас всех на этой земле давно бы не было. Уверенность в этом мне придает тысячелетняя история Украины, которую я вот уже который год упорно и скрупулезно изучаю. Господи, чего и кого только не было на этом поистине крестном пути, а Украина есть. И будет. И это главное.

Беседовал Алесь БАДАК.

ВИКТОР БАРАНОВ

Грех непрощенный

Рассказ

Кто поздно приходит — тот сам себе враг. В этом Семен Гирич убедился на собственной шкуре.

Нашелся старый друг, где только и телефон раздобыл, давно не виделись, а он целых два дня в Киеве, в командировке, дел невпроворот и сегодня уже уезжает, билет на поезд на двадцать один пятнадцать, и хорошо бы Семену заскочить к нему перед поездом — поужинали бы на дорожку да поговорили душевно, как встарь.

Однако, позднее оказалось, командированный Женя, которого жена еще во времена его холостячества и небезуспешного за ней ухаживания перекрестила в Геника, наприглашал в гостиничный номер местных деловаров, с коими на протяжении двух предыдущих дней имел бизнесовый контакт. Деловары в предчувствии выпивки и закуски «на халяву» не заставили себя долго упрашивать, и когда Семен вошел в номер, то стула ему не досталось и пришлось довольствоваться тумбочкой. Лучше бы и не садился.

Едва успели выпить по первой и принялись смаковать припасенного Геником копченого угря — волынский деликатес, который продают на Бессарабке за бешеные деньги (непозволительная для Семена роскошь!), — как за спиной у него откликнулся телефон, который стоял на той же тумбочке, у самой стены с доисторическими обоями, выгоревшими и стертыми-перетертыми, с рыжими пятнами от клопов, раздавленных тысячами предыдущих жильцов этого гостиничного номера, рассчитанного на неприхотливых приезжих в столицу, готовых перекантоваться ночь-другую где угодно и как угодно, лишь бы не на вокзале. Телефон и не собирался умолкать, и кому же надлежало брать трубку, если не Семену: разрывался на крышке пустой тумбочки именно за его спиной.

— Пронто, — сказал Семен, имитируя какого-то героя какого-то итальянского фильма, а еще более превозмогая чувство одинокости и собственного инородства в этом пропитанном меркантильными интересами обществе: как им только не надоест — все про цены, товары, транспортировку, сроки доставки, растаможку, взятки рекету бандитскому и государственному, рынковую инфраструктуру и еще черт знает что! Вышло, что именно в пику этим слишком «умным» вещам Семен произнес: «Пронто».

— Добрый вечер, — послышался милый женский голос. — Будьте любезны, не скажете, который час?

— За п’ять сьома, — холодно среагировал на этот голос Семен, наблюдая, как стремительно уменьшается на столе еще недавно длиннющий угорь, кусками перекочевывая в залоснившиеся от рыбьего жира руки едоков, чего они ничуточку не смущались.

— Не поняла. Я по-украински плохо понимаю. Я из Алматы, — сообщил голос удивительно ценную информацию.

— Без пяти семь вечера, — перевел Семен.

— Благодарю.

Геник либо слукавил, приглашая Семена для дружеского разговора, либо не до конца решил с киевскими деловарами свои проблемы, либо сами деловары чересчур увлеклись экзотической закуской — одним словом, Семену никак не удавалось вставить в хаотический хор хмельных голосов за столом собственные «пять копеек». Геник оправдательно посматривал на него, однако от чарки к чарке — все реже, почти уже без чувства вины перед однокурсником, с которым были когда-то неразлейвода, а, разъехавшись в разные стороны от Киева, тепло перезванивались и переписывались, находили наименьшую возможность для встреч, взаимно покрестили своих детей, хоть их и предостерегали, что кумовство «отдавать» негоже. Да что им предрассудки, коль — дружба до гробовой доски!

Однако сейчас подвернулся такой случай, когда дружба должна была уступить делу. Семен проникся пониманием ситуации, и все же что-то ему досаждало, угнетал душевный дискомфорт. Из этого состояния его вывел новый телефонный звонок. Он поднял трубку, опять произнес «пронто» и услышал тот самый женский голос:

— Ты случайно не из Кишинева?

— А как вы угадали? — Семен решил не разочаровывать собеседницу.

— Ну, это твое *пронто*... Кажется, я слышала его в Кишиневе. Кстати, мы могли там и встретиться.

— Видно, не судьба. Итак, я вас внимательно слушаю.

— Где здесь можно достать спиртного?

— Да где угодно! В радиусе двухсот метров полно торговых точек.

— Ну нет, я имею ввиду не выходя из гостиницы.

— В каждой гостинице на втором и седьмом этажах обязательно работают буфеты.

— Ты так думаешь?

— Я просто уверен!

— Ну спасибо.

Конец связи.

— Ты это с кем? — уделил чуточку внимания другу Геник.

— Секс по телефону, — придав выражению лица загадочность, сказал Семен. Гости Геника перестали облизываться, уплетая угря, и навострили уши. Семен решил разыграть их и начал наводить тень на плетень: — Через минут семь опять позвонит.

Прошло не семь, а пять минут, и телефон затрепетал снова, громко резонируя на пустой тумбочке. Семен, как отпетый интриган, грузно и неспеша обернулся всем туловищем, встал над тумбочкой и приложил к уху трубку:

— Пронто!

— Это ты из Кишинева?

— Он самый.

— Знаешь, мне так не хочется рыскать по этажам...

Многозначительная пауза.

Семен тоже выдержал надлежащую паузу, наконец спросил:

— А зачем тебе выпивка?

— Ну, как сказать... Расслабиться хочется. У тебя так не бывает разве?

— Еще как бывает!

— Слушай, как тебя зовут?

— Семен.

— Сеня, что ли? А я — Галина. Вот и познакомились. Очень приятно. Ты в номере один?

— Одинокий, как пес!

— Давай расслабимся вместе. У меня прекрасные воспоминания про Кишинев. И я могу быть нежной. Ну, так что?..

— Ты в каком номере?

— В шестьсот десятом.

— Я позвоню, когда буду выходить из своего.

На Семена уставились пять пар глаз, и во всех без исключения проглядывалась откровенная зависть: вот же пруха человеку, любовь на дармовщину сама плывет в руки, хоть он и пальцем для этого не пошевелил. Переморгав и решив получить сатисфакцию хотя бы словесную, киевские деловары принялись друг перед дружкой рассказывать истории «про баб», в которых они, акулы малого бизнеса, вырисовывались почти легендарными донжуанами, перетоптавшими столько молодых и горячих тел, что если выстроить их в одну шеренгу, то очередной поклоннице, пожелавшей удостоиться их сексуального гигантизма, пришлось бы забежать далеко за пределы Украины и где-то там, в забугорье, пристраиваться в самый хвост очереди.

Семен подобного трепа терпеть не мог. Тем более, что ему надлежало играть роль современного Казановы, и он уже входил в эту роль. Небрежно, демонстративно игнорируя легенды и мифы в исполнении столичных деловаров, самовозбуждающихся собственным мистификаторством на тему любовных похождений и побед, он потянулся рукой к обязательному в каждом гостиничном номере буклету с примитивнейшей информацией о предоставляемых здесь услугах. Буклет подсказал Семену, на какой телефон можно звонить в шестьсот десятый номер. Он и не собирался туда звонить; образ Казановы создавался исключительно для этих киевских снобов, чтобы хорошенько подразнить их, отомстить им не столько за исчезнувшего со стола копченого угря — набросились на него, молодые откормленные пузаны, будто прибежали сюда с голодного края! — сколько за нескрываемую алчность к дармовщине. Семен мстил за Геника, видел ведь, что у того что-то не клеится, не складывается, что в мыльном пузыре процветающего бизнесмена, выдуваемом им перед столичными партнерами, слабо угадываются радужные цвета безоблачной перспективы и что Геник плавает мелковато, хоть и держится молодцом. Видимо, компаньоны Геника, лакомые на раритетную водку «Вече» (одна только трехгранная, имитирующая строение древнеукраинского храма бутылка-тара чего стоит — настоящее чудо стекольного производства!) и закуски, догадывались, а может, и знали об истинном состоянии его дел, поскольку ничего толком не обещали, а лишь нахваливали дары Волыни, тонко подсекая надежды Геника услышать не досказанное в течение двух переговорных дней.

Гости все чаще посматривали на свои броские, *представительские* часы, Геник предложил выпить на посошок, ведь ждет его неблизкая дорога, однако мир бизнеса установил свои правила, и кому нужна допотопная логика древних обычаев, кто ее нынче празднует, когда не осталось ничего святого в царстве и воле желтого дьявола. Гости дружно вскочили, кто-то первым успел в каморку с умывальником отделаться от следов копченого угря на руках, остальные вроде бы что-то и говорили Генику, но в то же время нервно следили, как бы не упустить свою очередь к умывальнику, и Семен от нечего делать набрал телефонный номер гостиничного номера шестьсот десять. Насчитал где-то около двенадцати длинных гудков. Наконец там подняли трубку. Несколько секунд Семен улавливал какой-то загадочный шум вместо голоса, к которому уже привык. Прислушался,

угадывая, что это может быть. И за мгновение перед тем, как Галина из Алматы удостоверит свое присутствие на том конце провода, его пронзила догадка: душ! Там, в шестьсот десятом номере, шумит вода в такой же каморке, куда здесь один за другим заскакивают гости Геника, дабы хоть чуть-чуть избавиться от цепкого запаха копченой рыбы перед тем, как разойтись по домам, к своим разнеженным женам, привыкшим к изысканной парфюмерии, которую они заслужили уже хотя бы потому, что имеют таких удачливых в бизнесе мужей.

Семен сообразил: Галина из Алматы ожидает прихода его, Сени из Кишинева, и стелется им небывалая ночь безумной любви, на протяжении которой Галина конечно же докажет, что может быть нежной, необычно нежной, сто раз нежной и такой, чьи предыдущие воспоминания о Кишиневе померкнут перед свежими впечатлениями — более сильными, незабываемыми...

— Сеня, это ты? — спрашивает запыхавшаяся Галина, давая понять, что она долго не слышала звонка и вынуждена была бежать из-под душа к телефону, возле которого стоит сейчас нагая, совсем нагая, во всем блеске своей молодой красоты, заставляя Семена зримо представить, как струйки воды стекают по ее безукоризненным плечам, рукам, грудям, по тугому животу, загадочной ложбинке внизу живота и точеным ножкам, стекают с пальцев на телефонную трубку и Галина перекладывает ее из ладони в ладонь, в одночасье стряхивая капли с попеременно свободной руки; как она сгорает от нетерпения в предчувствии *расслабления* на два голоса, на два бокала, на две пары уст, на четверо жаждущих, жадных, неудержимо-смелых рук, на двое отпущенных в безумие тел — на любовь Алматы и Кишинева.

— Я уже выхожу... — интимным полушепотом произносит Семен.

— Дверь будет не заперта, — кладет трубку Галина.

Геник уже собран в дорогу, до отправления поезда остается полчаса, но они успевают: сколько тут добираться — всего-то три остановки на метро. Они выходят из номера, сдают ключ дежурной на этаже, пронзившей их подозрительным профессиональным взглядом, и опускаются в лифте. На вокзал с Геником едет один лишь Семен, поскольку столичные деловары не могут позволить себе такого расточительства дорогостоящего времени, ибо в таком случае их бизнесу — полная хана.

На перроне Геник смотрит на Семена, смотрит наконец знакомыми, родными глазами и спрашивает, будто без этого вопроса мир опрокинется в тартарары:

— У тебя все в норме?

— В норме, — улыбается Семен, а в уши ему затекает шум воды из душа в гостиничном номере шестьсот десять. И царапает под сердцем червячок упрека: не нужно было давать надежду женщине, которая, возможно, действительно его очень ждала...

Пройдет какое-то время. В один из вечеров, когда семейная чета Гиричей будет смотреть по телевизору итальянский фильм, где герой, каждый раз поднимая телефонную трубку, произносит «пронто!», Семен расскажет жене про свой непрощенный грех перед незнакомой женщиной, которая тогда в гостинице так на него надеялась... Жена, выслушав, глянет на него, как на марсианина, и покрутит пальцем возле виска:

— Ты идиот! Не знаешь, как в гостиницах лохов чистят?.. Если бы ты действительно там остановился и пошел к той из Алматы, твой номер тут же обшмонали бы до ниточки. Одна шайка, понял?

Семен слушал и думал: как хорошо, что у него такая мудрая жена!

ГАЛИНА ТАРАСЮК

Жгучий огонь под сердцем

Рассказы

Дама последнего рыцаря

— Мадам, я не советовал бы вам в такую погоду выходить на улицу.

— Еще чего? Осень, как вы знаете, уважаемый Ганс, моя любимая пора. Тем более, как я могу уехать, не простившись с городом, в котором прошло мое детство и юность?

— Разумеется, разумеется, я вас прекрасно понимаю... Однако на улице холодно и влажно... Вы должны беречь свое горло. Вы же не хотите подхватить катар или простуду? Я лично этого не хочу. Я предпочитаю видеть вас здоровой.

— Ах, господин доктор! Я же не ребенок и отвечаю за свои поступки... Кроме того, на дождевую погоду у меня есть блуза с высоким воротом. — Голос врача, которого она знала четверть века, и четверть века звала его Гансом (ей казалось, что всех врачей зовут только Гансами), начинал раздражать ее. — И, наконец, позвольте мне одеться, как-никак вы все-таки мужчина, а я — дама...

Наверное, пристыженный Ганс тихо вышел (по крайней мере, в зеркале исчезло его хмурое отражение), впрочем, мог бы и остаться и полюбоваться, как она одевается... как одевается истинная женщина. Однако видел бы Ганс, как она раздевается! О, это высокое искусство богинь, которые выходят на берег из пены морской под звуки небесных флейт! Боги и смертные герои тогда неистовствуют... О, она не раз наблюдала это безумие! Да что там! Она игралась им, будто кошка горящим клубочком...

Мадам тихонько засмеялась, откровенно любуясь своим стройным, как у балерины, телом, гладенькой кожей цвета слоновой кости, свидетельствовавшей о породе, тонкими и длинными пальцами, пышными рыжими волосами. «Какая женщина, какая роскошная женщина!» — восхищался каждый раз при встрече с ней поэт Михай Михалакио, который обожал ее пантомимы с раздеванием, и вдруг умер от разрыва сердца, но, к счастью, в постели другой женщины.

Но все-таки больше всего на свете она любила одеваться... Ах, как она любила облачать свое божественное тело в нежную прохладу шелка, тепло благородного бархата, в туманы шифонов! Любила, чтобы тонким запястьям было тяжело от золота браслетов, а высокой шее — от драгоценных камней! А еще больше любила она преображать свою душу в образы других женщин. Когда она выходила на сцену Grand Opera в кимоно Чио-Чио-Сан или в роскошных нарядах Электры на сцену Венской оперы, блестящая публика взрывалась бурей аплодисментов. Но Энрико это не нравилось: предпочитал иметь жену в доме. Так говорил, но скорее всего, просто завидовал... Бедный Энрико...

Мадам на какой-то миг погрузилась в далекий шум былой славы, поправляя облако белых кружев на груди. Но, вспомнив, что время идет, ускорила торжественный ритуал облачения. На длинную и узкую (чтобы выглядеть стройнее) черную юбку набросила бордовый приталенный жакет, надела мягкие лайковые перчатки, под цвет им — туфли, и только потом осторожно, будто хрустальную, водрузила на пышную копну рыжих волос ценнейшую деталь своего туалета, свою гордость — удивительную, из тонкого велюра, шляпку, по широким полям которой разметалась целая охапка невиданных цветов и перьев райских птиц.

Прекрасно! Теперь (пока все спят, и не торчит за плечами надоедливый Ганс с его катаром) можно и прогуляться, конечно, прихватив свой изумительный, с рюшами, зонт и изящную сумочку, расшитую самоцветами.

Ночной дождь набросал на мокрые аллеи кружева разноцветных листьев, и она осторожно ступала по ним, рассматривая хитросплетение узоров, гармонию цветовой гаммы, угадывая, от какого дерева — какой листочек. Этот парк, как и здания, когда-то принадлежали богатому немецкому барону. Поэтому саженцы для парка привозили из лучших ботанических садов Европы, Азии и даже Америки и Африки. К сожалению, те чудесные тюльпанные деревья, те магнолии и сакуры давно усохли, оставшись розовым туманом в ее воспоминаниях о детстве. Парк, или, как когда-то говорили, огород, постарел, исчезли последние экземпляры ценных реликтовых пород, остались лишь дряхлые дубы, липы, осокори, сосны и белокорые буки. И в этом тоже был свой шарм: их могучие стволы и развесистые кроны создавали иллюзию древнего леса. И она любила этот лес, эти дома, которые берегли воспоминание о прошлых временах доблести и чести, когда мужчины еще были рыцарями, а женщины — нежными розами их любовных мечтаний.

Тяжелые капли росы, оторвавшись от ветвей деревьев, глухо стучали по куполу зонта, невесомая листва свободно кружила, опадая золотисто-бордовыми бабочками на лоснящийся влажный асфальт.

Минуя будку со «святым Петром», как она шутя называла привратника, Мадам замедлила шаг, размышляя, как прошмыгнуть в калитку незамеченной. Но сторож спал, по-птичьи запрокинув голову, и она выплыла за ворота почти невидимая в осеннем утреннем тумане.

Одинокие в субботнее дождливое утро прохожие узнавали ее, и от этого Мадам было радостно и грустно одновременно и еще больше не хотелось покидать этой замечательной порой город, который она любила всей душой, и он отвечал ей взаимностью.

Из-за угла старого как мир дома с выбитыми окнами, который виднелся между детской поликлиникой и новой церковью Покрова Пресвятой Богородицы, появилась необъятная, похожая на копну сена фигура, в которой Мадам узнала старьевщицу Прасковью. «Ох, эти вечные обездоленные, вечно нуждающиеся! Как утолить их печали?..» Но, заметив, что Прасковья дернулась было в ее направлении, Мадам замахала руками, давая понять, что ей сейчас некогда, но в другое время она сделает все, чего Прасковья пожелает. Итак, Прасковья застыла на месте, а Мадам поспешила через проспект Независимости к двери, над которой красовалась вывеска: «Салон красоты “Фантазия”», и за которой всегда, даже в такое пасмурное осеннее раннее утро, ждали ее с радостью.

— Ой, девки, кто к нам пожаловал? — первой заметила Мадам мужской мастер Нина Львовна. — Ой, что сейчас будет! Что сейчас будет! МХАТ и Голливуд! Только никто — ни-ни! И не хохотать — Мадам этого не любит. Лишь слушать, молчать и слушать! Быстрее, быстрее стул... Так! А теперь все! Замолчали! Тихо. Ша.

В салоне красоты «Фантазия» засуетились, забегали, загремели стульями, охая и ахая, потом умолкли и сосредоточились на головах клиентов.

В глубокой, непривычной для подобного заведения, тишине был слышен только стук ножниц и шуршание отрезанных волос, ниспадающих на клеенчатые фартуки.

Скрипнула дверь, из коридора донесся стук каблучков, и в квадрате дверей, как в старинной, потрескавшейся багетовой раме, нарисовался экстравагантный портрет Мадам. В черной шляпке с охапкой цветов на широченных полях она была похожа на гриб на тонкой ножке с прилипшей к головке опавшей листвой. Чтобы не рассмеяться, парикмахерши округлили глаза от мнимого восторга, заохали и заахали, засыпая Мадам восклицаниями и вопросами:

— Ой, ой, какая у вас очаровательная шляпка! До чего же вам к лицу!.. Ой, куда же вы запропастились? Почему не заходили? Откуда приехали? Наверное, с моря... или из Парижа?.. Что значит — люди живут, не то, что мы — света белого за работой не видим...

На шум из двери канцелярии выглянула сердитая директорша-хозяйка «Фантазии» Гильда Шульц, но, увидев Мадам, расцвела радушной улыбкой:

— Иезус Мария, кого я вижу! Какие люди! Вас так долго не было, что я подумала, не дай Бог, вы обиделись или нашли себе других мастеров, хотя вряд ли в нашем городе есть лучше, чем в нашей «Фантазии». Но почему вы до сих пор стоите? Девушки!

Со всех сторон со стульями в руках бросились к Мадам женские и мужские мастера, визажисты и маникюрши и стали хором приглашать:

— Присаживайтесь, пани-мадам... да присаживайтесь же, пани-мадам!

— Ах, дамы, какие вы... пардон, смешные... Сколько я вас учила говорить или пани, или мадам, ведь это одно и то же. А так ведь масло масляное получается. Вы же культурные дамы...

Снисходительно улыбаясь всем, Мадам грациозно (как ей казалось) опустилась на краешек стула, ровно настолько, чтобы локоть левой руки лег непринужденно на спинку, а кисть артистически свисала, и элегантно положила ногу на ногу. Это был сигнал: сигарету! И персонал салона красоты, забыв клиентов, бросился наперебой предлагать каждая свои и высекать огонь зажигалками. Мадам выбрала «Marlboro», прикурила и, сладко затянувшись дымком, решительно возразила:

— Нет, так не годится. Сначала вы рассказывайте о своих новостях. А потом — я. Согласны?

— Конечно, конечно, — защебетали льстиво парикмахерши, визажисты-массажисты. — Вот у Нины Львовны третий внук родился. Пять двести. Великан. Невестке кесарево делали... У Милены дочь в Германию уехала, нянькой. Карина замуж собирается. А Гриша — в Израиль...

— Только не туда, — возразила Мадам, — там стреляют. В Штаты тоже не стоит — там много денег и мало культуры. В Германию? Когда-то там были Бах, Бетховен, Вебер, Вагнер. Теперь — одни «фольксвагены» и... турки. В Италию? Не знаю, не знаю... Они все там слишком темпераментные и болтливые. Трещат, как сороки. Тяжело сосредоточиться в такой, пардон, трескотне на прекрасном, то есть — памятниках архитектуры, не говоря уже о картинах больших мастеров Возрождения... Но музыка... Пуччини, Верди... Там поют даже камни... даже лестницы... Ах, «Ля Скала»... Они кричали мне: «Саломеа! Санта Саломеа!» Но что вам до этого? — спохватилась Мадам. — Вы не извлечете из моего предупреждения пользу... но все-таки, дамы, если уж ехать, то ехать только в Швейцарию, богатую, как теперь говорят, толерантную Швейцарию, а еще лучше в Австрию... старую, добрую Австрию. Как когда-то мы с Фердинандом...

— С Фердинандом? — удивилась Гильда Шульц. — Но, Мадам, кто это? Кажется, мужа Мадам звали несколько иначе? Кажется, адмирал Касса... Кара...

— Адмирал Косоворотов, — печально поправила Мадам, потупив печально глаза. — О да, тогда он был моим любимым, дорогим мужем.

Но разве дамы не слышали о той страшной трагедии в холодном Северном океане? О той ужасной катастрофе, которая забрала жизни сотен молодых здоровых мужчин?...

— Вы говорите о гибели «Титаника»? — изумилась Гильда Шульц, лихорадочно подсчитывая, сколько же Мадам лет, но та лишь горько улыбнувшись, продолжала:

— Как вы помните, тогда была война... Суровое, гиблое время... Но как у каждого высшего командира, у моего мужа, безусловно, была возможность спастись. Однако он этого не сделал, как настоящий офицер, как человек долга и чести, как, наконец, капитан корабля. Те, которым посчастливилось спастись на лодках, видели, как он медленно, вместе с кораблем, опускался в свинцовые волны безжалостного моря. При этом ни одна черточка на его обветренном лице не дрогнула...

Дыхание Мадам, казалось, перехватил спазм, но уже через минуту она продолжала:

— Я тяжело пережила эту непоправимую утрату. Навсегда оставила Санкт-Петербург и театр, поселилась на берегу Ледовитого океана в простой хижине рыбаков, и все ждала, как верная Пенелопа, своего Одиссея. Но он так и не вернулся...

— Какое горе... какое горе, — заохали жрицы красоты вместе с недостриженными и недобритыми клиентами, которые тем временем незаметно приобщились к сочувствующим. — И что же дальше?

— А дальше... годы печального вдовства, скорби и одиночества. Вплоть до того божественного дня, когда я встретила в Баден-Бадене Фердинанда...

— В Баден-Бадене? Фердинанда? Ах, это так романтично! Как это случилось? Ради бога, рассказывайте! — умирали от нетерпения парикмахерши во главе с Гильдой Шульц, окружив Мадам плотным кольцом и не сводя с ее бледного нервного лица голодных взглядов.

— Так вот, когда тоска по любимому мужу и суровый климат Севера лишили меня здоровья, и мне оставались до смерти считанные дни, богатые друзья из окружения адмирала, моего покойного дорогого мужа, решили насильно, почти насильно отвезти меня на воды в Баден-Баден, чтобы вернуть к жизни. Через несколько недель мне, безусловно, стало намного лучше, я уже могла самостоятельно совершать прогулки и даже радоваться солнцу и хорошей погоде. И вот, когда я прогуливалась по этому волшебному городку, в элегантном белом костюме от Коко, имею в виду Коко Шанель, в белой ажурной шляпке ее ручной работы, я увидела... Его! Он был такой элегантный, такой красивый и тоже — в белом костюме. Выделялись только серебряная цепочка швейцарских карманных часов и серебристый галстук... О, майн Гот, как он был прекрасен! Он напоминал мне моего дорогого адмирала. Только тот носил белое с золотым: золотые позументы, пуговицы, погоны и кокарда... И я поняла — это Божье провидение... мой адмирал, мой рыцарь долга и чести, а теперь, после смерти, мой ангел-хранитель послал мне друга! Что же касается Фердинанда, то увидев меня, всю в белом от Коко Шанель, он... потерял дар речи, и понял, что я — его судьба. Так мы узнали друг друга... Хотя, как потом выяснилось, были знакомы давно, еще с тех чудесных времен, когда я вместе с Роми Шнайдер пробовалась на роль Сиси — жены Франца-Иосифа... — Надеюсь, дамы знают, о ком я говорю? Итак, Фердинанд...— Мадам, потупив по-девичьи глаза, умолкла. В салоне красоты «Фантазия» воцарилась мертвая тишина...

— А дальше, что же было дальше? — от нетерпения сжала кулачки Карина, с ужасом осознавая, что Руслан из игротеки возле гастронома, за которого она собралась замуж, не адмирал и не Фердинанд, и, что самое печальное, такие рыцари никогда не встретятся на ее пути, проживи она хоть две тысячи лет!

— Дитя мое, — нежно прикоснулась к руке Карины лайковой перчаткой Мадам. — А дальше были лунные ночи и шепот столетних дубов, и кофе в маленькой кофейне, и вечер на двоих в ресторане «Розен кавалир», что означает «Рыцарь розы» и, наконец... признание в любви. Просто и скромно. Как бывает со всеми влюбленными. Венчались мы в Вене, в Соборе Святого Стефана, по давней семейной традиции баронов Эстергази, принцев цесаревой крови...

— Так он еще и принц?! Потрясающе!.. — побледнела Милена, вспомнив крестьянско-пролетарское происхождение собственного мужа, инженера водоканала.

— О, дорогая, стала бы я беседовать с простолюдином?! Хотя дело не в происхождении, не в должностях... Дело — в рыцарстве, а оно, как показывает житейский опыт целых поколений романтических и достойных женщин, присуще только мужчинам голубой крови и высокой культуры... Наша первая брачная ночь... — папирусная кожа на щеках Мадам порозовела, — мы провели ее в родовом замке баронов Эстергази возле небольшого городка Китсзее в цветущей долине Дуная... Белые розы... они были повсюду. Море белых роз!.. У меня до сих пор голова кругом идет от их божественного благоухания...

— И что он вам подарил на свадьбу? — заинтересовалась Карина. Салон понимающе переглянулся.

— Ах, что подарил мне Фердинанд? Ах, Фердинанд подарил мне перстень своей матери с бриллиантом в 20 каратов...

— Везет же людям, — вдруг всхлипнула мужской мастер Нина Львовна. — А тут... только пьет и пьет, чтоб его.... и ни слова доброго, ни... Обещал: куплю за сына перстень с рубином. Это мой камень. По сей день. Уже сыну тридцать лет исполнилось, а я тот перстень видела так, как вы... А уж про цветы... Да куда там! За всю жизнь... лопуха не принес в дом! Ох, не могу!

— Ты с ума сошла? — зашипела, вытаращившись на Львовну, педикюрщица Флора. — Кого ты слушаешь?

— Себя! — отрубила Нина Львовна. — Свою обиду! Что прожила с тупой жлобиною всю жизнь! Слова доброго не слышала! Глаза б мои его не видели!

— Мой тоже не золото, но что поделаешь? Где их, тех принцев, наберешься? Здесь принцев нет и — баста! Есть... козлы! Вот так! — резко подытожила феминистические выступления Львовны визажистка Милена.

Салон нервно возбудился. Недостриженные клиентки тоже начали вспоминать свою невеселую семейную жизнь, бессердечных мужей, только Гильда Шульц, прадед которой был родом откуда-то из-под Баден-Бадена или просто Бадена, попробовала успокоить разволновавшихся женщин:

— Но, дамы, не убивайтесь вы так за принцами! Поверьте, с ними скучно. То ли дело наш, украинский хлопец — и поссоришься с ним, и помиришься, и поцелует тебя, и такое отчебучит... — ни один принц не додумается! А что самое главное — ему часто стирать не надо: нет у него ни белых мундиров, ни белых смокингов...

— Ах, пани Гильда, вы мыслите так по-здешнему, я бы сказала, по-советски, — отозвалась, весело встрепенувшись, Мадам, которую немного убаюкала дискуссия «Фантазии» о мужчинах. — Для стирки там есть прислуга и современная техника! Там, — Мадам махнула рукой на закат солнца, — жена — для любви, для поклонения... А не для тяжелой работы.

— А чего же вы здесь, когда там так хорошо? — спросила вдруг сердито какая-то из недостриженных клиенток.

— А я уже не здесь. Я уже давно там. Возле моего дорогого Фердинанда. А сюда я заехала по дороге из Барселоны: попрощаться навсегда с городом моего детства и юности, с дорогим сердцу древним парком,

с этой удивительной осенью, печально-умиротворенной, не похожей ни на одну осень в мире. И... проститься с вами, мои самые милые дамы...

Женщины зашмыгали носами, стали промокать фартуками глаза. А Мадам спокойно продолжала:

— Завтра утренним, а может быть, даже вечерним поездом я отбываю во Львов, а оттуда — в Вену.

— А вот уже и карета подъехала, — выглянув в окно, грустно сказала Гильда Шульц.

Круг слушателей расступился, давая дорогу мужчинам в белых халатах.

— Мадам, — укоризненно сказал один из них, стриженый наголо, — мы с ног сбились. Доктор места себе не находит... А вы... в такой холод, слякоть, в одном жакете, в легких туфлях!.. Мадам, что вы себе думаете? Вы же ни капли не заботитесь о своем здоровье, а главное — горло, ваше горло, Мадам! Вы же потеряете ваш божественный голос!

— Вы правы, уважаемый Ганс: я действительно придаю мало значения своему здоровью. И это, безусловно, очень, очень не понравилось бы моему дорогому Фердинанду. Ведь мы только начинаем жить! Перед отъездом сюда, я сказала Фердинанду: все, дорогой, никаких жертв ради искусства. Только ты, мой любимый Фердинанд!

— Вот пожалуемся Фердинанду — так он всыплет вам по первое число, чтоб не бегали раздетые под дождем по городу, — буркнул второй, с косичкой на затылке.

— О, юноша, не говорите так... пожалуйста. Вы совсем не знаете моего дорогого Фердинанда... Он меня обожествляет. А потому... Я вовсе не хочу обидеть присутствующих здесь мужчин, но, к большому сожалению, и это правда, мой дорогой Фердинанд — последний рыцарь на всей безграничной нашей планете. И Бог оказал мне великую милость, ибо встретился он именно мне... — улыбнулась, но как-то печально, Мадам, подавая мужчинам обе руки.

Вся «Фантазия», собравшись у окна, смотрела, как она, тоненькая, похожая на гриб в своей огромной причудливой шляпе, выцветшем бордовом жакете, радостно-величественно идет в сопровождении санитаров к карете «Скорой помощи». Смотрели и... тихонько всхлипывали, понимая, что этот визит Мадам — прощальный.

И только тогда, когда карета «Скорой помощи» въехала в ярко-зеленые ворота психоневрологической клиники на другом конце проспекта Независимости, все молча разошлись по своим рабочим местам, печальные и задумчивые.

Ой, кто-кто Мыколая любит?..

Телевизор взревел так, что слышно было за километр. Софья Ивановна побледнела — мел выпал из рук, она, ничего не объяснив детям, выбежала из класса. Она бежала со всех сил, но ей казалось, что топчется, как во сне, на одном месте: ноги, словно ватные, не слушались, в груди жгло огнем и не давало дышать. Софья Ивановна боялась, что не успеет, не добежит, упадет лицом в дорожную пыль и — все! Отчаяние парализовало последние силы и она страстно просила Бога: «Помоги мне, помоги мне...» И Бог помог: она вдруг услышала, как ангельский голосок где-то вверху запел полузабытую песенку, которую они в детстве пели в день Святого Николая: «Ой, хто-хто Мыколая любит? Ой хто-хто Мыколаю служит?.. Тому святой Мыколай, колы хочешь, помогай... Мы-ы-ы-ко-ла-га-а-ю-ю-ю».

И потух жгучий огонь под сердцем, и стало легче дышать, и она добежала.

Калитка — настежь, двери — тоже. От рева телевизора дрожала хата, дребезжали окна. Посреди гостиной, на ковре, на полу лежал Николай, рядом валялись шприц, разбитая ампулка.

Софья Ивановна метнулась на кухню, зачерпнула кружкой воды из ведра, сыпанула в нее сахар из сахарницы, всегда стоящей под рукой на столе, бросилась к мужу. Николай не реагировал. Жидкость текла по губам, подбородку, на рубашку. Но он был живой! Слава Богу, она застала его живым, и теперь выпросит, вымолит его у Бога, как не раз выпрашивала!

Наконец Николай глотнул. И Софья всхлипнув, поблагодарила Бога за очередное чудо воскрешения и взялась подымать мужа. Обхватив его руками подмышки со спины, тяжело тянула к дивану, ласково приговаривая: «Дорогой мой, золотой мой, ненаглядный...», хотя знала, что Николай не слышит ее голоса. Зато слышит ее руки, всю ее, ласковую, любящую... Слышит и медленно выходит, выкарабкивается с того света, как из пропасти.

А потом Софья Ивановна переодевала мужа в чистую одежду, укладывала в постель и опять бежала, но уже в «амбулаторию» — сельский медпункт.

Сколько раз за свою двадцатилетнюю жизнь с Миколой она вот так бежала, спасая его? Тысячу, миллион?.. Не считала... В деревне вообще никто никогда не видел, чтобы она шла, как и подобает учительнице, медленно и степенно. Все бегом да бегом: в школу, домой, в медпункт... Привыкла. Правда, с годами начала уставать. Но все равно бежала и не жаловалась. Некому да и не на кого ей, Софийке, жаловаться. Сама выбрала себе такую судьбу. Сама.

Николай был старше ее и давно жил где-то в городе. В селе появился в то лето, когда она окончила десятилетку и поступила на заочное отделение пединститута. Он же, как поговаривали, наоборот — оставил учебу в художественном институте. Будто бы из-за болезни глаз. Но по нему не скажешь, что больной: высокий, плечистый, ясноглазый. Разве что на девчат, что роями жужжали вокруг да около него, не смотрел, будто не видел... и вправду, как... слепой. Зато как он смотрел на нее, Софью! Просто в душу. Ясными все видящими глазами. А однажды, когда она пришла за водой к их колодцу, Николай вынес из хаты, видно, нарисованную им картину и, смущенный, протянул ей:

— Возьми. Это ты.

Софья от неожиданности выпустила ворот колодца, ведро с глухим всплеском ухнуло в воду, а она испуганно уставилась на парящую в воздухе, очень красивую, будто сотканную из лунного света, девушку на картине. Смотрела и не узнавала себя...

...Она взяла ту картину и... с тех пор словно заболела, так затосковала о Миколе. Тосковала о нем даже тогда, когда он целовал ее под ночными вербами, даже тогда, когда вел под венец и ласкал на супружеском ложе.

Это из-за матери получилась у них с Миколой такая грустная, тоскливая любовь. Мама была против их брака. Все мучила Софью своими мольбами, вроде, «не ходи да не ходи ты, Софийка, за Мыколу, у него же болезнь страшная — диабет! Говорят, ослеп... Ой, помрет, помрет, оставит тебя с детьми малыми. Ой, не ходи...»

Мама, как заведенная, свое просила, а Софья, как заведенная, свое отвечала:

— Пусть месяц я проживу, но зато с тем, кого люблю.

Слава Богу, не месяц, а целых двадцать лет прожили они с Николаем. Душа в душу. И с малыми детьми не оставил ее — не было у них детей. Дитем их стала его болезнь, жестокая, эгоистичная. Софья нянчилась с ней, угождала ей, баюкала и днем, и ночью... Болезнь Николая соединила их

сильнее, чем любовь, скрепила их брак сильнее, чем дети. Цепями железными сковала — не разорвать...

Софья Ивановна бежала в амбулаторию, и бежали наперегонки с ней воспоминания. А вот и медпункт. Фельдшер, молодой, здоровый, с крепкой, бычьей шеей, слушал Софью Ивановну спокойно, даже безразлично, будто она пришла поболтать с ним о погоде. И неудивительно. Он уже привык к ее всполошенным визитам, к переживаниям, к постоянно скорбному лицу и неизменному темно-синему трикотажному костюмчику. С тех пор, как Николай начал слепнуть, Софья редко заглядывала в зеркало. Чаще — на ту прозрачную, лунную девочку на картине, что когда-то подарил ей будущий муж. И вот сейчас, увидев свое горемычное отображение в застекленной двери амбулатории и вспомнив распростертого на кровати полуживого мужа, почувствовала вдруг такую лютую ненависть к этому молодому бугаю — фельдшеру, у которого, видно по нем, даже зуб еще не заболел, что готова была вцепиться в его безразличную красивую... харю. Но сдержалась, отвела глаза, продолжая монотонно упрашивать:

— Петрович, в больницу надо... Плохо ему... Ничего уже не помогает — ни трава, ни сахар. Кажется, инсулин... тоже... Петрович, я побегу, машину поищу... В больницу отвезти...

— Не надо искать, — наконец хмуро отозвался каменный Петрович. — Я сам отвезу.

И Софья Ивановна жалобно и благодарно заулыбалась, прощая фельдшеру молодое безразличие, воловью медлительность и наглый бычий взгляд.

По дороге в районную больницу молчали. И Софья рада была. В последнее время Николай не только плохо видел, но и еле слышал. Поэтому чаще молчал, а если разговаривал, то громко и невпопад. Вот и теперь безмолвствовал, лишь виновато, как все незрячие, улыбался. Софья тоже молчала — жалела его, и не хотела, чтобы муж выглядел косноязычным, больным и беспомощным рядом с полным сил фельдшером. Лишь нежно гладила руку Николая — и это была их самая задушевная беседа.

В больнице проблем не было. Тут Николая все знали, а увидев с ним фельдшера, оформили на стационарное лечение без обычной волокиты. И Софья радовалась, что муж не мучился из-за формальностей и буквально через полчаса уже был в палате.

Разложив в тумбочке продукты, а в шкафу вещи, Софья Ивановна поцеловала виновато улыбающегося мужа, обошла с презентами лечащих врачей и медсестер, и лишь за порогом почувствовала некоторое облегчение. Теперь ей даже совестно стало, что обижалась и злилась на молодого фельдшера. А он ведь, оказалось, только с виду бесчувственный. А на самом деле — вон какой добрый и человечный: Мыколу не только отвез в больницу, но и в палату помог отвести. А потом ждал в своей машине у больничных ворот и не попрекнул тем, что задержалась. А ведь на улице давно стемнело... И, конечно, давно ушел последний автобус, и если б не фельдшер, пришлось бы ей топать пешком пятнадцать километров до села или проситься к знакомым на ночлег.

«Хороший человек... Надо будет отблагодарить...» — думала Софья, сидя в машине рядом с Петровичем. Чувство обязанности сильно стесняло ее, и она с преувеличенным вниманием всматривалась в освещенную фарами дорогу, но краешком глаза видела его сосредоточенный красивый профиль. Затянувшееся молчание тоже смущало, поэтому начала говорить: о муже, о его болезни, и, вообще, неизвестно, о чем, лишь бы не молчать.

— А знаете, как вас в деревне называют? — вдруг весело перебил ее Петрович.

Софья растерянно умолкла, а фельдшер засмеялся:

— «Ой, кто-кто Мыколая любит? Ой кто-кто Мыколаю служит?» Так вас называют. А вы разве не знали?

Софья не знала, как ее прозывают в деревне. И откуда ей было знать? Разве у нее есть время на пустые разговоры и сплетни? Она знает одно: дом, работу и больного мужа.

Ей стало горько, обидно... Готова была расплакаться. Но вдруг... словно что-то просветлело в душе и ангельский голосок запел детскую песенку про святого Николая Угодника. Софья тихо засмеялась, вспомнив, как поддразнивала ее, влюбленную в Мыколу, этой песенкой сестренка Орыся. Еще тогда, когда Софья вопреки маме собиралась замуж.

Машина ехала полем, таинственным, сверху освещенным зеленоватым лунным светом. И Софья поймала себя на мысли, что уже давно не видела ни такой чудной ночи, ни странной зеленоватой луны, и не переживала такого трепетного состояния души... Возможно, с юности, с тех пор, как целовал ее под ночными вербами Мыкола...

Она замечталась и не заметила, как остановилась машина, и луна спряталась за густой синью деревьев.

Удивленно огляделась: вокруг темнел лес. Взглянула вопросительно на фельдшера и не узнала его: лицо бледное, глаза горят, руки на «баранке» мелко дрожат.

«Ой... Он хочет убить меня!» — ужаснулась, проваливаясь в мягкую теплую темень. Пробудилась от жарких поцелуев и шепота:

— Бедная моя... родная... самая лучшая... что ж ты делаешь с собой? Не живешь, а калеке служишь...

Последние слова будто по лицу ударили. И Софья Ивановна все вспомнила, и все поняла. Да, только теперь она все поняла! И гнев страшный, и обида на весь мир заклокотали в груди и вырвались рыданием: «Да как он смеет?! Чем, чем виноват перед Богом и людьми ее муж, что судьба у него такая?! А она? Она кому и что сделала плохого, что ей такая беда, горе горемычное такое?! А он... Он! Как он смеет унижать ее... как пропащую какую-то... как последнюю!..»

И Софья страшно закричала, отталкивая от себя горячее, страстное лицо фельдшера, потом толкнула дверь и... выпала из машины. Вскочила и побежала сквозь кусты, путаясь в траве, туда, где заканчивался темный лес и белела освещенная луной дорога, ведущая в деревню, к их с Николаем дому, тихому, уютному дому, в котором жило ее несчастливое счастье.

Фельдшер ехал следом. Не извинялся, не звал, лишь, когда поравнялся с ней, остановил машину и открыл дверцу. И Софья села рядом с ним: смешно было бежать впереди машины. Ведь не девочка... Молчала. Боялась взглянуть на него. Но чувствовала: он опять чужой и холодный.

Так, не проронив ни слова, он подвез ее под самые ворота. А когда она вышла, не прощаясь, рванул с места. Лишь пыль встала.

Софья долго не могла открыть калитку. Потом бесконечно долго шла тропинкой к дому, долго искала ключи в сумочке, долго не могла открыть дверь. А когда открыла, вдруг почувствовала: впервые в жизни ей не хочется заходить в родную хату, пустую и темную. До ужаса, до отчаяния — не хочется. Что-то странное происходила с нею. Будто с ума сходила...

Не помня себя, яростно хлопнула дверью и бросилась назад, за ворота, и побежала туда, где в конце улицы затихал гул автомобиля.

Бежала безлюдной улицей села от пустой хаты, от своей пустой жизни — все быстрее и быстрее, пока не стала совсем легкой, почти невесомой, как та прозрачная лунная девочка, подаренная когда-то ей Николаем.

Перевод с украинского Ирины МАРЧЕНКО.

ВЛАДИМИР ДАНИЛЕНКО

Рисунок на замерзшем окне

Рассказы

Уши

Всю жизнь Зина Чечель стеснялась своих ушей. И не то, чтобы они были у нее очень большие, нет. Просто уши оттопыривались. Поначалу Зина боялась, что с такими ушами на ней не женится ни один мужчина. А когда вышла замуж за Жору, начала переживать, что и ребенок родится с такими ушами.

«Хорошо, если мальчик, — думала Зина, — а если девочка?..»

Рожать она поехала к родителям в Овруч. Сначала небо сжалилось над ее страхом — и Зина родила мальчика. Жора в это время защищал в Киеве дипломную работу, и Зина сразу попросила маму отправить ему телеграмму: «Поздравляю с мальчиком. Похож на тебя. Три пятьсот. Уши не торчат». Малыша решили назвать Богданом. И как сглазила, потому что, отправив телеграмму, вечером или уже на следующий день, заметила, что у ребенка оттопырились ушки. Зина прижимала их к голове — уши расправлялись, но сразу сворачивались, будто разваренные вареники. Завязывала на ночь косынку, бинтовала, но они все равно торчали.

«Что поделаешь?.. — думала Зина. — У моей мамы такие уши, у бабушки были такие уши, и у моего малыша будут такие уши».

Так она с этим и смирилась, но не смирился Богдан. Как только подрос, стал ее спрашивать:

— Мама, а почему у меня уши торчат?

— Ну, почему торчат?.. — отвечала мама Зина. — Просто у меня такие ушки, и у бабушки Гали, и у прабабушки Любы тоже были такие уши.

— А у папы не торчат.

— У папы не торчат, — погладила по голове мальчика, — но ведь у мамы торчат.

Богдан замолчал и долго смотрел, как ошалело ползает притравленный таракан.

Накануне дня рождения мама Зина поинтересовалась, что мальчику подарить.

— Запиши меня на какую-нибудь операцию, — нахмурился он.

— На какую операцию?

— Уши подрезать.

— Ах, ты ж, Господи! — всплеснула руками она. — Что ты к этим ушам прицепился?

С трудом загладила этот неприятный разговор, купила Богдану роликовые коньки, и он перестал говорить об ушах.

А в преддверии Зеленого праздника[1] мальчик разбил чашку из бабушкиного сервиза. И уж на что бабушка Галя благоволила к нему — и та вскрикнула:

— Вот лопоухий!

После этого Богдана как будто сглазили. Он смотрел на лопухи под забором — и они напоминали его уши. Зашел в сад, а на вишне — деревянный гриб.

«И вишня ушастая», — подумал мальчик.

В сумерках, не ужиная, уснул. Приснилась ему степь. Идут они с бабушкой степью, а бабушка Галя показывает палкой на небосклон:

— Во-о-он там взойдет солнце. Во-о-он там.

И тогда из-под земли во весь горизонт выросло огромное красное ухо.

С тех пор мальчик, когда смотрел на людей, сразу обращал внимание, у кого какие уши.

— Баб, — спросил однажды Богдан, — а почему у меня такие большие уши?

— Доверчивый потому что, — зевнула бабушка Галя.

Она сидела на крыльце и громко зевала.

— А расскажи мне, какие у твоей бабушки были уши.

— Сейчас я все брошу и начну тебе рассказывать, какие у моей бабки были уши, — зевнула бабушка Галя и захрустела челюстями. — Пойди лучше собери груши.

«С такими родственниками разве поговоришь об ушах?», — подумал мальчик и отправился к дяде Коле. Его дом был заставлен книжками о войне, походах, политических интригах.

— Да не думай ты об этих ушах, — сказал дядя Коля. — Чем больше о них думаешь, тем больше они у тебя вырастут.

— Как же мне не думать, если каждый день вижу их в зеркале? И в школе пристают, выдумывают разное: «Богдан — лопоухий».

— У гетмана Мазепы, — показал дядя книгу, — были такие уши. И у философа Сковороды не лучше.

— Так, может, у них они были не такие оттопыренные, — засопел мальчик. — А у меня — видишь? — с обидой дернул себя за ухо.

Дядя Коля подарил ему книгу о выдающихся людях и посоветовал:

— Когда будет плохо, посмотри на уши этих достойных людей, почитай, чего они достигли, — и тебе станет легче.

Но Богдану от этого легче не стало.

Однажды он собрался с мальчишками на речку, но тут его окликнула бабушка Галя:

— Иди сюда, — поманила пальцем. — Так это ты на речку собрался? А знаешь, что сегодня купаться нельзя?

— Почему?

— Сегодня Илья. Искупаешься — из задницы верба вырастет.

— А что же я буду делать?

— Собери лучше груши в саду.

Богдан надулся, взял корзину и пошел собирать груши. По битым грушам ползали осы, и одна укусила его в руку. Он раскричался на весь двор. Сопя, бабушка Галя вытянула жало, приложила к ранке нож.

— Когда пройдет боль, прогуляйся. Но долго не ходи, придет мама — кричать будет.

Богдан не стал ждать, пока перестанет болеть распухшая рука, достал из пенала собранные деньги и отправился в город. Купил мороженое и, измазавшись, крутился между торговыми рядами на Житнем рынке.

---

[1] Троица.

После обеда, когда солнце зацепилось за самое высокое здание, Богдан увидел ушастого дядьку. Такого ушастого... О-о-чень ушастого! Из его оттопыренных мясистых ушей торчала жесткая черная шерсть. Толстый дядька в белых брюках и белой майке с большим херсонским арбузом напоминал белый дирижабль. Богдан очарованно брел за ним, пока тот не повернул на улицу Бориса Тэна. Около часа мальчик бродил возле его дома. Наконец отважился открыть железную калитку и зайти во двор. Во дворе хрипел и рвал цепь лохматый пес. Мальчик позвонил в дверь и смотрел, как лазят по крыльцу красные древесные клопы.

За дверью зашаркало, щелкнул замок, приоткрылась дверь. Из дома потянуло кислым воздухом, какой бывает в жилище одиноких мужчин. Дядька посмотрел на мальчика.

— Ну? — сказал и пошевелил ушами.

Мальчик собрался с духом и громко закричал:

— Как вы живете с такими ушами?! Потому что я уже не могу!

— Тише, тише! — замахал руками дядька. — С нашими ушами глухих не бывает, — и защелкал языком: чмок, чмок, чмок. — Будешь арбуз? — Богдан кивнул. — Садись. Не бойся, — воткнул нож, арбуз хрустнул, и из него потек сок. — Хороший арбуз, сочный арбуз, — причмокнул дядька и протянул ломоть мальчику. — У тебя есть уши, — сплюнул в раскрытую ладонь семечки. — Думаешь, эти уши у тебя просто так? Просто так ничего не бывает. Ты не такой, как все, — хрустнул арбузом и громко отрыгнул. — Посмотри на эти уши. Видишь: они выше бровей. Значит, тебя ждет хорошая карьера. А вот эта родинка говорит, что ты осел. Если тебе в голову что-нибудь взбредет, тебя не остановит никакая болячка.

— Не хочу я такие уши, — надул губы мальчик.

— Если у человека большие уши, — захрустел арбузом дядька, и сок потек у него по шее, — это не значит, что он некрасивый. Просто у него такая эстетика.

— Я хочу маленькие ушки, — всхлипнул Богдан.

— Маленькие, прижатые к голове ушки — у злобных людей, — выплюнул семечки дядька.

— А я такие хочу.

Дядька повернулся, заслонив собой окно, и стал похож на большого напыщенного ворона.

— Да кто ты такой — Бог?! — задохнулся от негодования. — Ты знаешь, что у человека каждое родимое пятно что-то значит? Я уже не говорю об ушах, где складка или мочка может рассказать, что тебе на роду написано. Твои родители могут заплатить — и тебе изменят уши. Но после этого тебя так жизнь накажет, что будешь не рад.

— Ну и пусть! — завизжал Богдан. — А я не хочу такие уши!

— Цыц, — рассердился дядька, — а то накаркаешь!

Они замолчали и смотрели, как становятся длиннее тени. Над арбузом кружилась надоедливая муха, и дядька прогонял ее рукой.

— Кто вы? — спросил мальчик.

— Хо-хо! — закряхтел дядька, и в его груди захрипела гармонь. — Может, я царь лопоухих.

— Тогда я пойду, можно? — тихонько попросил мальчик.

— Иди! — захрустел арбузом.

Дома Богдан долго сидел нахмуренный, а потом стал доводить маму Зину до белого каления.

— Да никто тебе в Житомире не исправит эти уши, — зашуршал газетой папа Жора.

— А в Киеве исправят!

— Как дам сейчас по ушам! — взвизгнула мама Зина и пожалела, но было уже поздно.

Весь вечер и следующее утро всю семью трясло от его истерики. Утром мама Зина не сняла с волос бигуди. На улице Восточной она заметила, что вслед ей оборачиваются мужчины, а красный автомобиль медленно едет за ней, и из окна высунулся мордастый дядька.

«Наверное, я сегодня очень красивая», — подумала мама Зина и завиляла бедрами.

Она так бы и пришла на работу, если бы не продавщица, у которой она покупала лифчик.

— Женщина, — наклонилась к ней продавщица, — вы смотрели сегодня на себя в зеркало?

— Что? Где?! — испугано завертелась мама Зина, одергивая себя со всех сторон.

Посмотрела на ноги: колготки целые, натянуты правильно — пятками назад.

— Да не там, — зашептала продавщица, — а на голове.

Она схватилась за голову, а там — бигуди.

«Ну, все, — подумала мама Зина, — как он меня достал с этими ушами. Пора уже что-то решать».

После этого она повезла Богдана в Киев, и там ему подтянули уши.

Мальчик не отходил от зеркала. Изменил прическу, стал зачесывать волосы назад. Правда, некоторое время в школе его называли Новые Уши, но потом оставили в покое.

А через год в семье произошли перемены. Начал спиваться папа Жора. Он приходил домой поздно пьяный. Курил, задевал на кухне стулья, ругался, бил посуду, а по ночам громко храпел и скрежетал зубами. Мама Зина перестала с ним спать и перебралась в комнату Богдана. И так продолжалось долго, очень долго. Со временем Богдан заметил, что мама Зина стала какая-то не такая. Она дольше крутилась перед зеркалом, у нее появилось красивое белье с кружевами и дорогие духи. Приходила домой поздно, пахла вином и сигаретами, довольная и ко всему равнодушная. Долго лежала в ванной, а потом при свете торшера листала в постели женские журналы и о чем-то мечтала.

После Спаса слегла бабушка Галя. От скандалов с папой Жорой у нее случился сердечный приступ. А еще бабушку Галю мучило удушье. Она тяжело дышала, мама Зина покупала ей гормоны и аэрозоли.

Однажды мама послала Богдана в аптеку за лекарствами, а когда он вернулся, то увидел, как бабушку выносят на носилках и заталкивают в карету скорой помощи. А мама Зина в черном платке занавешивает зеркало.

Два дня наблюдал Богдан, как одевают бабушку Галю, как капает со свечей воск, шушукается родня и соседи, как бабушку в желтом автобусе везут на кладбище, как надувает щеки духовой оркестр, плачет мама Зина и пьяно рыдает папа Жора, как передают за столом из рук в руки миску с кутьей.

Всю ночь шел дождь и выл ветер. Богдан жался к маме и со страхом шептал:

— Мама, верни мне мои старые уши.

— Зачем?

— Я хочу, чтобы была жива бабушка Галя, и чтобы не пил папа Жора, и чтобы у нас все было, как раньше.

— Молчи, — устало вздохнула мама Зина, — не возвращается то, что не возвращается.

Богдан всхлипнул и забрался под ее теплую руку.

— А почему так надрывается ветер?

— Это бабушка Галя по нас плачет.

— Так противно она воет, — испугано дрожал мальчик.

— Спи, — охрипшим голосом сказала мама Зина.

А утром они увидели сломанную вишню, на которой сидел старый ворон и сердито кричал.

Рисунок на замерзшем окне

Над Бессарабией синее небо, как папины глаза, и звезды низкие — можно рукой достать. Только нет сумерек, после дня сразу наступает вечер. Вечером папа брал меня на руки, а я показывала пальчиком в небо и просила:

— Сними во-о-он ту звезду.

— А ты попробуй сама, — смеялся папа и поднимал меня выше.

— Не могу!

— Еще немного подрастешь — и достанешь, — говорил папа.

Мы жили в Вилково, на берегу Дуная. Там очень много комаров. Сначала папа ловил селедку, возил лодкой на острова туристов, а потом с дядей Борей начал продавать в Голландию камыш. Его у нас много — настоящее камышовое царство. В камышах много змей, и я их боюсь. А папа не боялся — и дела у них с дядей Борей пошли так хорошо, что папа построил новый дом и купил автомобиль. А раньше мы жили в мазурке — это такая камышовая избушка, которую обмазывают илом и белят известью. В Голландии много тюльпанов, но нет столько камышей, которым там накрывают дома, чтобы было тепло и красиво. В Вилково все ездят не на автомобилях, а плавают на лодках. У каждой семьи есть лодка для взрослых и детей. И даже лодки для коров.

У меня тоже была маленькая лодочка. Когда я пошла в первый класс, вилковский мастер смастерил мне лодочку, папа покрасил ее зеленой краской и назвал «Лягушонок». Вместо улиц в Вилково — ерики, а возле ериков лежат деревянные кладки, а еще там много мостов.

В Вилково живут липоване — это такие бородатые дяди, которые смешно говорят и пьют воду из ериков: сначала воду крестят, а потом пьют. Когда в Вилково свадьба, то невеста в свадебном наряде плавает на лодке от своей мазурки до мазурки жениха.

На острове у нас был свой огород, на котором росли картошка и клубника. Их папа с мамой возили в Одессу на Привоз. Когда-то папа брал меня на огород. Он доставал со дна ил, складывал на берегу, а когда ил подсыхал, развозил тележкой и удобрял огород. В выходные дни папа, мама, дядя Боря и я плавали на Очаковский остров ловить рыбу. Дядя Боря доставал из чехла гитару, мы разводили огонь, варили уху из судака, а дядя пел. Он пел так красиво, что у мамы горели глаза, и она становилась очень красивой. Хотя моя мама и так красивая.

— Твоя Олеся — первая женщина на Дунае, — говорил папе дядя Боря, когда выпивал две кружки вилковского вина.

А папа только улыбался.

Однажды мы отдыхали на Полуденном острове, папа уплыл ловить рыбу, мама с дядей Борей варили уху, а я смотрела на розовых пеликанов. Когда я подошла к огню, то увидела, что дядя Боря и мама целуются, а в котелке кипит уха.

— Хочу ухи, — сказала я.

Мама испугалась и оттолкнула дядю Борю.

— Скоро приплывет твой папа — и мы будем обедать, — ответил дядя Боря.

Потом приплыл папа, мы ели уху, а папа, мама и дядя Боря пили вино. А когда папа ходил за сухим камышом, я видела, как дядя Боря сжал маме руку, а мама откинула волосы рукой и довольным голосом сказала:

— Прекрати...

Иногда мы ездили в Измаил, Одессу, Килию. Но мне нравился Белгород-Днестровский. Там на лимане стоит Старая Крепость с такими круглыми башнями. Я даже знаю, как называются две башни: Овидия и Темница. Мы там часто фотографировались, но у меня осталась только одна фотография, на которой папа держит меня на руках. А все остальные мама порвала, а эту я спрятала в книгу.

Весной, когда начиналось наводнение и в Дунай плыли селедки, Вилково затапливало: под водой исчезали узенькая тропинка, которой можно было добраться вдоль ограды из одного конца города в другой.

Когда мы жили бедно, мама постоянно кормила меня селедкой, и я кричала:

— Что, опять селедка? И жареная селедка, и соленая селедка?!

— Ешь, — говорила мама. — Будешь жить долго, как липоване.

— Не хочу жить долго, а хочу жить хорошо! — кричала я.

Но когда мы стали жить хорошо, убили папу. Его нашли в лодке с запекшейся на виске кровью. Сказали, что убили веслом, но кто это сделал, так и не нашли. Сначала к нам приплывали на лодках чужие дяди, расспрашивали маму, а потом перестали. Только однажды, когда к нам пришел дядя Боря, я услышала, как тетя Нюся сказала дяде Андрею:

— Ты посмотри на этого кобеля! Деньги на камыше зарабатывали вместе, а теперь убил человека и таскается с его женой!

— Тише! Ребенок услышит, — обозвался дядя Андрей.

— Да она еще ничего не понимает, — ответила тетя Нюся.

Тогда я ходила во второй класс.

Иногда дядя Боря оставался у нас ночевать. Когда мама укладывала меня спать, я закрывала глаза, будто сплю, и слышала, как они шушукаются и шевелятся в кровати.

Я очень скучала по папе. У него были такие большие теплые руки, которые поднимали меня к потолку и гладили по голове.

Однажды я сидела в лодочке недалеко от нашего дома. В дом я не хотела идти: увидела лодку дяди Бори. Он был у мамы. Я заплыла в Очаковское устье и смотрела в плавни. Вспомнила живого папу, как он напротив нашего дома чистил рыбу и мыл в Дунае.

Возле меня из воды выскакивала рыба, стояла цапля, со свистом пролетела стая уток, когда с противоположного берега кто-то закричал. Я прислушалась. Дул Фортуна — добрый морской ветер, который всегда приносит рыбу.

— До-чень-ка-а-а! — долетело от камышей.

Если бы даже гудело сто моторных лодок, то среди их шума я бы узнала этот голос. Это был голос моего папы. Я очень испугалась, села в свою лодочку и быстро погребла домой. Дома я рассказала маме, что в плавнях слышала папу, а мама рассердилась и стала меня бить. Весь вечер я плакала с куклой в кровати, а мама с дядей Борей закрылись в комнате и громко разговаривали.

На следующий день после школы я опять приплыла на то же место и услышала из камышей:

— Доченька-а-а!

Папа звал меня так долго, что я решила не рассказывать об этом маме, чтобы ее не злить. Я никогда больше не рассказывала ей своей тайны,

только каждый день после школы плыла в Очаковское устье, чтобы услышать папу.

Я увидела его на берегу, он помахал мне рукой и исчез в камышах.

Летом мы переехали в Киев. Мама сказала, что дядю Борю забрал с собой дядя Семен, с которым они вместе зарабатывали деньги. Дядя Боря уже не возит в Голландию камыш, а они с дядей Семеном продают рыбу. У них большие машины, которые развозят ее по всему миру.

Мы живем втроем на Красном Хуторе[1]: я, мама и дядя Боря. Мама помогает ему заниматься бизнесом. А осенью я пошла в третий класс. Я очень скучаю по Вилково: там моя лодочка. А еще больше я скучаю по папе, который остался в камышах. Наверное, он до сих пор зовет меня, а меня там уже нет.

Дядя Боря купил нам дом из желтого кирпича под зеленой черепицей. Наш дом на два этажа с мансардой. Это такой маленький этаж, будто надрезанный торт. Недалеко от нашего дома растет сосновый лес и кружится чертово колесо, но я не люблю на нем кататься — боюсь. Наш дом стоит на углу улицы, где поворачивает двадцать девятый трамвай. А чтобы трамвай не сошел с рельсов и не заехал в наш дом, его оградили каменной оградой с раздвижными зелеными воротами. Возле ворот висит почтовый ящик. Но нам никто не пишет, только иногда приходят квитанции за свет и телефон. Мне нравится наш дом, плохо только, что он напротив больницы, белой, словно больничный халат. В этой больнице болеют не только люди, но и деревья. Вокруг больницы сохнут сосны, и я боюсь, чтобы эти болезни через ограду не залезли к нам.

Утром дядя Боря и мама едут в свой офис и везут меня в школу. У дяди Бори темно-красный автомобиль, как кровь на виске мертвого папы. После школы я еду домой в трамвае сама. Мама купила мне проездной билет. От дома до школы трамвай довозит за десять минут, а маршрутка — за пять. Но я не люблю маршрутки — иногда на них можно проехать свою остановку и заехать далеко в город. А еще из ее окон не успеваешь рассмотреть лежащий дом. Он не потому лежит, что упал, а потому, что его таким построили. Когда я возвращаюсь в трамвае домой, то смотрю из окна, чтобы увидеть, как этот домик лежит крышей на земле, будто его кто-то свалил на бок. Он так и называется: кабачок «На бочок». Таких домов в городе больше нет, только на Красном Хуторе.

Дома меня всегда ждет гувернантка Лина, ее нанял дядя Боря. Я учу с нею английский, немецкий и правильный украинский, потому что в нашем камышовом раю, как говорит мама, ужасный язык.

— Guten Tag, meine liebe *Püppchen*![2] — говорит Лина.

— Guten Tag, Frau Lina![3] — отвечаю я.

Лина на разных языках рассказывает смешные истории. Она мечтает выйти замуж, построить красивый дом и обсадить его розами. Лина любит кофе и мужчин, а я люблю папу и мороженое.

Но все почему-то не любят меня, особенно в школе. Говорят, что я не такая, как все. Они не знают, что я грущу по папе, поэтому в школе мне не нравится.

Однажды я возвращалась из школы, и возле игровых автоматов на меня напали трое мальчишек из моего класса. Они дразнили меня и корчили противные рожицы. Мимо нас проходили люди, но никто меня не защищал. И когда меня толкнули, я упала и порвала колготки. Кто-то из взрослых

[1] Район Киева.

[2] Добрый день, моя дорогая куколка!

[3] Добрый день, госпожа Лина! *(нем.)*

на них накричал, и они разбежались. Я подтянула колготки, оглянулась — и увидела папу. Он помахал мне рукой и сел в трамвай.

Но маме об этом я не рассказала: она не любит, когда я вспоминаю папу.

— У тебя лучший папа, — говорит мама.

— Он мне не папа, — отвечаю я, — а дядя Боря.

— Он тебя кормит! Одевает! В школу возит! Дом купил! А ты на него говоришь «дядя»?! — сердится мама.

Тогда я плачу и громко кричу, что все равно он не мой папа.

Однажды мама меня ударила, и я не захотела ехать домой. Села возле школы в желтую маршрутку и поехала в город. Куда ехала маршрутка, я не знала, помню только, что проехала красную бензозаправку и мост, под которым было много железнодорожных путей. Ехала я, пока кто-то громко не сказал:

— Станция метро «Черниговская».

Я уже была на этой станции, когда наш класс возили в Музей искусств Богдана и Варвары Ханенко. Это такой красивый дом, в котором много картин. Когда я задержалась возле страшной картины с людьми, похожими на крыс, и зверями, похожими на людей, дети с учительницей перешли в другой зал, а мои ноги будто кто-то приклеил к полу. Я не могла двинуться с места и с ужасом смотрела на картину. И тогда почувствовала, что в зале еще кто-то стоит. Я оглянулась и увидела папу. Мне показалось, что он вышел из этой картины, тихонько стоял и за мной наблюдал. Я очень испугалась и побежала туда, где были слышны детские голоса. К моим ногам были привязаны большие войлочные тапочки, я запуталась и с шумом упала на пол.

— Ты не ушиблась, девочка? — спросила тетя, которая присматривала за картинами.

Но я ей ничего не ответила, догнала детей и постоянно оглядывалась, когда мы ходили от картины к картине и слушали, что рассказывает тетя. А за мной ходил папа, будто рассматривал картины. И когда мы вышли из последнего зала, я перестала бояться и начала пробираться ближе к папе, но он куда-то исчез.

Вот почему «Черниговская» показалась мне очень далеко от дома. Я испугалась, что далеко заехала, и выбежала на остановке. Спросила незнакомую тетю, как мне вернуться на Красный Хутор.

— Тебе надо перейти на другую сторону улицы, — сказала она.

Я побежала через дорогу. На дороге было много машин. И когда завизжали тормоза, меня кто-то подхватил, вынес на тротуар и подтолкнул к подземному переходу. Я не знала, что эту улицу нужно переходить под землей. И не заметила, кто меня вырвал из-под колес и подтолкнул к подземному переходу, но когда оглянулась, увидела папу. Он прощально помахал рукой и потерялся среди людей.

Я об этом никому не рассказала, чтобы не кричала мама, и после этого уже никуда не ездила, а сразу спешила домой.

Однажды я ехала в трамвае и почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Я оглянулась и в конце вагона увидела папу. Он смотрел на меня и молчал. Он был одет в серый костюм и черную рубашку. «Но откуда у него эта одежда? Ее мама подарила дяде Андрею», — подумала я.

На следующий день я снова увидела его в трамвае. Он сидел на том же месте и смотрел на меня. Я хотела к нему подойти, но папа как-то странно улыбнулся. Я подошла ближе, на расстояние протянутой руки, и на что-то натолкнулась, будто меня что-то к нему не пускало. Мне стало страшно. Я слышала, как громко стучит мое сердце, но никто почему-то не спросил:

— Девочка, почему ты так громко стучишь сердцем? Разве тебе не понятно, что ты нам мешаешь?

Я так испугалась, что начала бежать от остановки к воротам, нажала на кнопку и закричала в домофон:

— Открой! Открой!

Я была очень испугана и все рассказала Лине. Моя гувернантка была из Тернополя, мама говорила, что там много верующих. Лина выслушала меня и очень огорчилась. В тот день она не разговаривала со мной ни по-немецки, ни по-английски, а только по-украински. Вечером Лина рассказала обо всем маме, а на следующий день отвезла меня на Аскольдовую Могилу в маленькую церквушку. Там Лина купила свечу и попросила, чтобы я зажгла ее от другой свечи и поставила перед иконой. Я только забыла, как она называется.

После этого папа не появлялся, а я за ним начала еще больше скучать. Когда нет мамы и дяди Бори, я достаю книгу «Когда звери разговаривали»[1], вынимаю оттуда единственную фотографию папы, на которой он в Старой Крепости держит меня на руках. Я смотрю, какой папа молодой и красивый, как он меня любит, и жалею, что мама порвала его фотографии. А эту фотографию она не найдет, потому что я ее спрятала. Только не надо было обо всем рассказывать Лине — она свечой отогнала от меня папу. А я так хочу, чтобы он ко мне хоть иногда приходил. Пускай даже не ездит со мной в трамвае, а появляется хоть издали, чтобы я видела его улыбку и взмах руки.

Но прошел месяц, и другой, и третий. Выпал снег и началась зима, а папа больше не появлялся.

На Николая я положила под подушку фотографию папы и попросила Святого Николая, чтобы он привел в гости папу.

А утром сквозь сон я почувствовала, как мама что-то прячет под мою подушку. Ее рука замерла, и тогда я услышала, как она что-то разорвала. Я открыла глаза и увидела в ее руках разорванную папину фотографию. У мамы маленький животик. Лина говорит, что у меня скоро будет братик или сестричка. Я заплакала, а мама протянула мне мобильный телефон, такой маленький, книжечкой разворачивается. Я ее постоянно просила купить мне такой телефон. Все утро мама кричала, что я избалованная и никого не слушаюсь. А когда я посмотрела в окно, то увидела на замерзшем стекле сердечко, будто кто-то подышал на стекло и нарисовал его пальцем. Только кто его там мог нарисовать? Мы не открываем окон, потому что на дворе очень холодно. И я догадалась, что это Святой Николай услышал меня и привел папу.

Сегодня после школы я зайду в трамвай, спрячусь за задней дверью и буду ждать папу. Он зайдет неслышно, сядет на свое место, а я подойду тихонько к нему, крепко возьму его за руку, а он погладит меня и скажет:

— Ты пришла, моя маленькая?

[1] Сказки классика украинской литературы Ивана Франко.

СЕРГЕЙ ГРАБАРЬ

Повозка воспоминаний

Новеллы

Брусчатка

Она грохотала под колесами старой, но еще годной для передвижения повозки. В городе уже давно никто на таких не ездил. У одних были мощные легковушки. Другие имели авто попроще. Но все они были участниками единого дорожно-транспортного братства. Повозка стояла отдельно в этой табели о рангах. Она была одна.

Повозка редко проезжала по городу, но, когда приближалась, брусчатка радостно замирала. Это была ее молодость. Повозка несла воспоминания.

I

Цокот подков, резкие команды, бравурные марши. Парад-алле. Запах конского навоза. Взволнованные слова: «Погляди, какой всадник!» Первые, невинные взаимные взгляды, первые чувства. Брусчатка помнила тот людской водоворот. Как сложилась судьба тех двоих? Брусчатка не знала. Она еще раз услышала этот голос много лет спустя: «Отпустите его, я вас прошу, отпустите моего мужа». И резкое, словно выстрел: «Назад!» — в ответ.

II

Шуршание подошв. Благовоние кадильниц. Елейное пение. Слова молитв. Крестный ход от Верхнего Владимира до Нижнего, до Днепра. Слезы радости и печали, слитые с праздником Воскресения. Внезапный крик — пронзительный, будто судорога. «Дитя мое! Верни, Господи, дитя мое...» И печаль снова сквозь всех. И понимание. Шепотом: «На все воля Твоя...» Идут, крестятся. Шуршание подошв, шуршание подошв.

III

Солнечный день. Крики: «Трамвай! У нас в городе трамвай!» Все весело гомонят, пытаются сесть первыми, чтобы потом всем своим знакомым и незнакомым: «Как, вы еще не ездили на трамвае? Странно!» И манерно, свысока: «А как вы, извините, сударь, собираетесь в городе жить без этого?» А трамвай весело тарахтит. Он тут первый. Он — хозяин. Он — именинник.

IV

Сквозь всю ночь отчаянное: «Вернись, я все забуду, прощу, только вернись...» Пронзительный визг тормозов. Предчувствие несчастья. Кроваво-

шокирующая смесь. Настойчивые сигналы скорой помощи и констатация: «Мы бессильны». Ощущение неотвратимости. Отчаянье. И укоры: «А если бы не закричал, а если бы не обернулась...» Слезы, злость на себя, на того другого, на весь мир. Шепот: «Любимая. Как же я без тебя...»

V

Смех. Дети. Парами. О чем-то галдят, аж захлебываются словами. Осторожно, чтобы не поскользнулись на брусчатке. И все остановились, улыбаются, ждут, когда перейдет эта маленькая стайка. Пахнет весной, хоть и зима на дворе.

Дети. От них струится счастье.

VI

Запах потных тел, дешевого табака и перегара. Разговор:

— Послушай. А эту часть разве не будем менять? Мастер говорил, чтобы все полотно полностью.

— Дурак твой мастер. Знаешь, сколько ей лет? Она такого перевидала на своем веку. Нельзя ее трогать.

— Ну, как знаешь.

Повозка редко проезжала по городу, но когда приближалась, брусчатка радостно замирала. Это была ее молодость. Повозка несла воспоминания.

Дядька Микола

Дядька Микола не вставал. Уже давно. Лет пять, а может, и семь, или все десять. Не вставал и все тут. И все давно уже привыкли к этому. Чем он болел, никто не знал. Как-то забылось с годами. Не встает и не встает. Пусть лежит, если ему так лучше.

Он никому не мешал — тихий был. Ухаживала за ним невестка, иногда сын. Росточком дядька Микола не вышел. Где-то 1,50—1,52 м. Был при уме. Интересовался политикой, очень проникся перестройкой, рассуждал о смысле жизни. Но не вставал.

Я дядьку Миколу хорошо знал. Еще бы, в советские времена работать в нескольких местах было запрещено. Вот и искали возможность, как-то обойти закон за счет чужих трудовых книжек. Я трудился на другой работе по трудовой книжке дядьки Миколы. Когда же мне говорили, чтобы за зарплатой приходил сам хозяин книжки, я только смеялся. Мол, хотите, я его вам принесу — не ходит он, уже много лет. Махали рукой на общие правила и зарплату выдавали. За одолженную мне трудовую дядька Микола получал свой честно заработанный червонец и очень этим гордился. Говорил: «Видите, хоть и лежу, а лишнюю копейку к пенсии имею. Не то, что некоторые дармоеды». После этих слов он гордо обводил всех взглядом, просил принести чаю, доставал из серебряного портсигара папироску «Salve», закуривал.

Жили мы рядом — в соседних домах.

Однажды его сын Дмитрий прибежал запыхавшийся.

— Ты отца не видел?

— А что, сбежал? — пошутил я.

— Таки сбежал...

— Как так, он же не ходит?..

— Я тоже так думал, — откликнулся Дмитрий.

Мы замерли, глядя друг на друга.

— А куда он пошел? — тупо спросил я.

— В народ, как граф Лев Толстой, — резко ответил Дмитрий. Потом немного смягчился. — Ну, откуда я знаю. Соседка сказала, что видела, как выходил.

Дядьку Миколу мы искали до конца дня и всю ночь. Искали на следующий день, и еще на следующий. Его нигде не было...

Я встретил его через неделю. Совсем в другом районе. Он шел уверенно, широко размахивая руками.

— Дядька Микола! — бросился я к нему.

— Я — Микола, только не дядька. А вы кто, — на меня глядело совсем молодое лицо моего ровесника.

— Я — Сергей, ваш сосед, — неуверенно начал я.

— Сергей? Не припоминаю что-то... — он еще раз посмотрел на меня, — вы, наверное, ошиблись.

— Наверное, — ответил я.

— Курите? — предложил мне папироску из раскрытого серебряного портсигара, повернулся и пошел.

Я глядел ему вслед. Небольшого роста, где-то 1,50—1,52 м. Мои пальцы машинально разминали папироску. Взгляд остановился на названии: «Salve»...

Придя домой, я прежде всего поспешил к Дмитрию.

— Мы нашли отца, — с порога сообщил товарищ, — в центральном морге. Завтра будем хоронить.

— Завтра, так завтра, царство ему небесное, — сказал я и перекрестился, про себя подумав, что все-таки ошибся, там, в другом районе.

Хоронили дядьку Миколу на следующий день, тихо, по-семейному: только родня, несколько соседей и я. Когда забрасывали гроб землей, я почувствовал на себе взгляд. Обернулся. Среди кустов сирени стоял небольшого роста мужчина, до боли похожий на дядьку Миколу. За руку он держал маленького мальчика.

— Пойдем, Димочка, пора нам, — послышалось мне...

БОРИС ОЛИЙНИК

Веры свет

Тайная вечеря

I

День был каким-то поверженным.
Тени вокруг скитались,
Хищно кого-то выслеживая.
И потому волновались
Ученики Его:
«Где же Он?»
(...И с тоскою оленя, что смертельно ранен,
Он вскричал, к небесам простирая длани:
— Отче,
ужель не минует меня
Чаша сия...
от Тебя?! —
Но небосвод на исходе дня
Глухо молчал, скорбя.

И прочитал Он
в безмолвии синем:
— Не обойдет...
Сын мой...)
Ждали: «Где же Он?!» нетерпеливо,
Нервы сдавали.
Кто механически
Комкал пустую пачку от «Примы» —
Курево дорожало панически:
Ела инфляция.
Кто, как в прострации,
Слонялся, стараясь сдерживать дрожь.
Словно спросонья, просеялся дождь...
И пробудилась смоковница.
Кто-то мелькнул на околице.

Вздох: «Наконец!..» шелестел, как шелк,
...Пришел.

Спокоен, словно бы все нормально —
Умел он держаться! —
Еще в той дальней
Пустыне, когда искушал лукавый,
Стоек был так, что дивились скалы.

Обвел собравшихся
Взором чужим:

Видел и знал недоступное им.
...Знал, что случится утром,
Когда Его поведут.
И тут же смутился будто
В какую-то из минут,
Как школьники, что подглядят
То, о чем знать не велят.

«Не ведают, что... случится?!»
Обида прожгла на миг.
Но тут же сумел спохватиться
И скорбно взглянуть на них,

Вздохнуть и простить заодно:
«Виновны ль, что им не дано?»

...И вот за столом разместились,
Потом, как всегда, поделились
Хлебом. Был цвет у вина —
Словно впитало
кровь оно.
Молчали. Но тишина
Все же была оскоромлена.

— Кто-то один из вас
Сегодня меня предаст... —
Сказал печальное слово
И горько подумал снова:
«Да есть ли в том их вина?»
От хлеба и от вина
Шарахнулись!
Вздрогнула где-то
И съежилась каждой из веток
Осина в оцепенении,
Услыша прикосновение
Веревки-ужа — с кольцом
Петли! И чье-то лицо...
И выпавший, синего цвета,
Язык... О, только не это!

Переглянулись в испуге.
Чьи-то дрожали руки.
Никак не мог прикурить он —
Пальцы свело до зуда.
...Двери были открыты.
На пороге стоял Иуда.

II

Дальнейшее — как в Писании.
Сняли, рыдая, с креста
Тело в следах страдания
И в склеп отнесли Христа.

Когда ж через день чуть свет
Прокрались туда помолиться,
Узрели: Его там нет.
Пустою лежит плащаница.

И немой вопрос
на уста им лег,
Но за спинами вдруг сурово
Горний Ангел,
как Вестник от Бога,
изрек:
— Кто там ищет средь мертвых живого?

III

...Мертвые пьют и гуляют.
Гвозди с того креста
Растащили на сувениры.
Лишь Апостолы — ученики Христа
Веры свет понесли по миру.

Мертвые лезут в политику,
чинят резню,
Дев скупают за доллары-центы,
Обирают, как липку, народ и казну,
Выбирают себя в президенты.

И уж так Украине прилипли к губам,
Присосались, и млея, и грезя,
Что того и гляди —
самый наглый хам
И за пазуху к неньке полезет.

IV

Тихо близился тайной вечери конец,
Когда Он, уже чувствуя свой терновый,
Беспощадно вонзающий жала венец,
Исповедался с болью снова:

— А один из вас
среди дня
Уже продал-таки меня...

V

Остальное — в Писании тоже,
И я верую... Только все же:

Что распяли Его, одного за всех —
Это правда,
хоть давит грудой...

Но одно грызет —
да простится мой грех!
А повесился ль вправду...
Иуда?

VI

А в шинке пьют хозяева
нового дня.
Сам Крещатик под дудку их пляшет.
Все крутые, похожие — будто родня.
Свой своих с полуслова познаша.

Наливают сполна за удачный оброк,
А шинкарка, как фея, прелестна!
И тепло им, и сыто.
Но вдруг холодок
Пробежал по их спинам и чреслам.
Тот вскочил чересчур деловито,
У того уже чарка разбита,
Третий выкрикнул:
— Что за хренация?

...Двери были открыты:
На пороге стоял...
тринадцатый.

VII

«Обновленный» Крещатик гудел,
как базар.
...Под шинком отчужденно и хмуро
Притулился к стене деревенский кобзарь.
Зачехливши на время бандуру.
— А подашь ли ты голос
когда-нибудь, дед? —
Изгалялся какой-то шут.
— Да уж скоро... —
в усы усмехнулся в ответ.
— Как приблизится Страшный Суд.

Встреча с Архистратигом

За выгоном мне встретился Верховный
Архистратиг. Воскликнул он:
— Постой,
Кого сейчас мы видим пред собой?
Смотри, какие важные персоны!
— Да мы... — промямлил я, — народ простой...
— Да вы такие, — подхватил в ответ он.

— Какие?
— Очень тихие... во сне.
Когда ж проснетесь...
Впрочем, лучше мне
Не углубляться дальше в тему эту.

— О нет, договорим о наболевшем!
У нас ведь каждый на уме себе —
Не знаешь, правду скажет
или сбрешет:
Во рту полслова,
кончик — на губе.

И все хитрим, обстричь кого-то метя,
Хоть, как овец,
самих нас век обстриг...
Чего же стоим мы на белом свете —
Поведай же хоть ты,
Архистратиг.
Ну почему
нам все выходит боком,
Не по-людски —
побила б его тля!..
— Как в наказанье, словно бы у Бога
Украли мы, сердешные, теля?

А ведь меж нами
есть таланты, право,
Умельцы мы работать, а не спать,
И воины, которым нету равных,
И пахари, каких бы поискать,

Чьи руки от америк до австралий
Старанью хлеборобскому верны.
И чувствовать дано нам
зов астральный
Еще с седой, как Велес, старины.

И мы наш цвет дарить умеем миру,
А светочей —
соседям раздавать.
Хоть и сидим без света
по квартирам,
И скоро будем лапти обувать...
Еще Чернобыль змеем подколодным
Заполз на грудь,
ужалив, как злодей.
Ну почему у нашего народа
Выходит все не так,
как у людей?..
И, опершись на меч,
сиявший бликом,
Задумался на миг Архистратиг,
Потом ко мне он
повернулся ликом

И так сказал,
что мир вокруг затих:
— Зачем словами воздух вы трясете
И шлете нарекания судьбе,
Когда не в дом —
а из дому несете
Вы все — и всем,
но только не себе?

Пустившись в неизвестность
от порога,
Настолько завертелись в суете,
Что невзначай запутали и Бога,
Не видит он из горнего чертога:
Да есть ли вы?
А если есть — то где?

Примеривая чьи-то суть и слово,
Хотите вы подстроиться под них,
Хоть на кого похожи быть готовы,
Да только чтоб не на себя самих.

То малороссы, то хохлы, то кто-то
Поди еще...
Но разве вправе плоть
Запамятовать имя, что отро́ду
Ей в колыбели даровал Господь?
И разговор наш
будет там потребен,
Где и слепой, и зрячий ощутит,
Что прежде,
чем искать ответы в небе,
Нелишне на земле себя найти!

И он ушел...
Овец отару гнали,
С мобильником пастух орал: «Цурюк!»
Опомнившись,
вослед я крикнул вдруг:
— Архистратиг!
Я вспомнил все.
Я знаю.
Мы — украинцы!
...Растворился звук.
И поглощала тишина ночная
Пыливший по земле
овечий стук...

Славянам

Словно огненный штык, позабыв милосердье,
Солнце круто врубилось в боснийский гранит.
Причащаются сербы. Прощаются сербы —
От ребенка до старца... А небо гремит.

В черных ризах отцов. В белом инее боли...
Память тяжко идет сквозь огни и мечи,
Через столько столетий на Косово Поле,
Где над сербской печалью рыдают сычи.

Брат мой серб...
Ты опять в одиночестве брошен,
Средь двадцатого века на смертной меже,
И ордынское племя сегодня все то же —
Лишь «фантомы»
взамен искривленных ножей.

Эй, очнемся, все братья по вере державной!
Что за важность, каких мы родов и племен:
Сатана замахнулся на мир православный,
На чертоги и храмы великих времен!

Так ударим же в колокол — мощно, усердно,
Созывая славянскую нашу семью:
Если мы не спасем от погибели сербов —
Мы погубим и совесть, и память свою!

* * *

Прощальным лебедем летит,
Как давний сон — уходит мимо.
А так болит...
А так болит...
А что болит — уже незримо.

Полынной горечью горит,
Что было. Не было. Не будет...
А так болит...
А так болит...
А что болит — лишь осень судит.

Бесшумный падает покров
На память лет, имен святыни...
И не кипит, как было, кровь,
И на перо садится иней.

И декабря студеный вздох
Безжалостен, но в сизом блике
Сияет, словно слово Бог,
Заря надежд в небесной книге.

Все отплыло, как миг. Не спит
Лишь боль на дне, храня от лиха.
Спасибо сердцу — пусть болит.
Уж отболит — так будет... тихо.

Перевод с украинского Евгения НЕФЕДОВА.

ПАВЛО МОВЧАН

Белый свиток времен

* * *

Под вечер в поле травы потемнели,
и олово несла река во мрак,
лишь рушники на кладбище белели,
зажатые крестами, как в кулак.
Ни звука, и все тише в мире, тише.
Густеет кровь, как сумрак за окном,
и словно за тебя другой здесь дышит,
рукою водит: скрип-поскрип пером.
Напишет «мрак» и, чувствуя досаду,
перечеркнет, подумает — и вот
напишет слово «ночь» раз десять кряду,
кружочками, как углем, обведет...
А ночь и впрямь за окнами стояла,
как тень, чернела, прячась под рукав,
и сильная, хоть все-таки устало
сутулилась, ко лбу ладонь прижав.
И ты следил, как чудно проступало
пятно, росло... полуночная мгла,
как тень руки, казалась шестипалой
и, словно кровь, стекала со стола...
И ты не мог стряхнуть оцепененье,
всей этой тьмы не мог стереть с лица,
и слушал, слушал, как текут мгновенья,
нет, кровь течет, по капле, без конца.

Перевод с украинского
Александра Кушнера

Кони в тумане

Туман, волновавшийся на луговине,
в небесную выкрасил все белизну,
и радостно ширился запах полыни
навстречу летящему вскачь табуну.
Для зрения мир потерял очертанья,
для разума — связи, причины и строй,
поскольку реальность терялась в тумане,
и сыпался мак мне в пригоршню струей.

И воображенье водою прилива
уносит из памяти день прожитой.
И вцепишься накрепко в конскую гриву,
и травы смыкаются над головой.
Слезами, живою водою залиться,
как призрак скакать по-над лугом туда,
где прячется свет, где сиянье таится,
и кануть в туман, не оставив следа.
Мне воздух холодный ложится на плечи,
холодные капли дрожат на щеках.
И кто-то с востока летит мне навстречу
с полоскою света, зажатой в руках.
В тиши «Это ты?» — он спросил из тумана.
«Свети», — сквозь туман донеслось до меня.
И встал на дыбы и понес мой буланый,
и, вскрикнув, я выпустил гриву коня.

Перевод с украинского Сергея Гандлевского

Слово блаженного Прохора

Лебеда под руками моими становится хлебом,
пепел в соль для мирян обращаю. И, сердцем скорбя,
я, лебедник, взываю без устали к небу,
отовсюду, Всевышний, зову я тебя.
Боже правый, помилуй убогих, внемли нашей скорби.
Много ль ведает в жизни свобода, которой горды.
Стариковскую плоть уподоблю опрастанной торбе —
лишь бренчат изнутри медяками листы лебеды.
Чем по бедности сердце потешим, какою обновой?
Взять ли пакли, соломы, смолы раздобыть?
Залатать чем попало бычка смоляного
и грошовое чучело горьким вином напоить.
Что мы можем? А можем из стебля льняного
кропотливо наткать сто локтей полотна,
нитку крови червоной пустить вдоль основы.
А длина полотна — это жизни длина.
Белый свиток времен, боевые скрижали
воедино сплелись — не разъять письмена.
Не пером эту грозную повесть писали,
а кровавым мечом поперек полотна.
Все до титла пожрало голодное пламя.
Даже свитки деревьев сгорели дотла.
Прах стелился по ветру, но выжила память.
Эту нить золотую в земле сберегла.
Лебеду с пепелищ понесло, закружило —
застит очи, и в полые наши тела
бьются листья ее, будто ржавые била
ударяют в сполошные колокола.

Если б эти листки в оболочках звенящих
княжьих душ потревожили мертвый покой
и набатом коснулись сознания спящих,
опалив поднебесье нетленной строкой:
— Вы зерно здесь посеяли или плевелы?
Прахом станет зерно, но взойдет навсегда.
Только кривда и в свиток не спрячется белый,
ибо близится грозное время суда.
Святополк, зачерпни на пожарище сажи.
Пусть уста твои грешные скроет она.
Чтоб сладка была речь, точно истина, княже,
чтоб была, словно кровь, солона.

Перевод с украинского Сергея Гандлевского

Слово Григория Сковороды

Создатель милосердный, я смолкаю.
Союз с покоем обострил мой слух.
В ладу с самим собой я наблюдаю,
как жизнью правит быстротечный дух.
Минувшее дойдет подобьем гула
до башни тела, из былых времен
с кургана грянет голос есаула,
оборотившегося вороньем.
И проступают очертанья стога
в краю, где только ветры травы гнут.
И призраки выходят на дорогу —
базарною толпой в века бредут,
Половой мне запорошат колосья
глаза, но я постигну наконец
акустику небес, многоголосье
Вселенной, милосердный мой творец!
Храпенье лошадей, волов мычанье,
колес, железа, меди голоса,
смех женщин, посвист, гиканье, бряцанье
поднимутся в степные небеса.
Звон песен, шум и гам дороги летней —
мой слух от напряженья изнемог.
Но в этот гомон звук впусти последний,
добавь еще сопилки голосок.
Вновь тишина вокруг... И едкой пылью
я задохнусь на жарком большаке,
познав условность связей и бессилье
и ненадежность посоха в руке.
Познаю ощупью, пойму впервые
ущербность, слабость — и душа моя,
высоты разом утеряв земные,
прославит бесконечность бытия.

Перевод с украинского Сергея Гандлевского

Рисунок в Софийском соборе

Проходит косарь, отраженный в воде,
трава под косою ложится,
как будто волна, и над ним в высоте
не ворон летает — жар-птица.
А золота в небе! Горят облака,
и жизнь, словно книга, раскрыта
на первой странице, мерцает река,
рассветным туманом обвита.
Высокий, могучий и ликом — святой,
и нимб полыхает, как пламя,
сверкает в руке его меч золотой,
змея шелестит под ногами.
Не золото встретишь на долгом пути —
железо и горе с тоскою,
и ржавых так много веков впереди,
что впору их срезать косою.
Что будет, то будет. Но солнечный день
идет по земле без оглядки,
и только косарь за тобою, как тень,
бредет, наступая на пятки.
Вот-вот он тебя полоснет по ноге
косой — семижальной гадюкой.
И слово заветное на языке
замрет — и не справится с мукой.
И вместо меча в кулаке иван-чай,
и сами смыкаются веки,
но льется из взрезанных жил молочай,
и рот разомкнулся навеки.

Перевод с украинского Александра Кушнера

АЛЕКСЕЙ КОНОНЕНКО

Чужая звезда предрекает судьбу

* * *

Брат, мы сбились с пути,
Нашу ладью раскачало.
И чтобы дальше идти,
Нужно вернуться к началу.

Брат, не время для слез,
Причины нет для кручины.
У паруса перекос
Всего лишь наполовину.

Не важно, кто у руля,
Не важно, кто держит парус.
Я верю — нас примет земля,
Осталась самая малость!..

* * *

Вот если б ты, и если б я
Нашлись в начале бытия,
У нас с тобой в те времена
Другие были б имена.

К примеру, я, как дважды два,
Носил бы гордо имя «А».
А ты бы называлась «О»,
Что, впрочем, тоже ничего.

Мы сына звали бы «АО».
А как бы звался сын его,
Все дочери и сыновья,
Все дерево от «А» до «Я»?

Столетий мудрых глубина
Таится в наших именах.
И что не имя — мудрый код
На несколько веков вперед.

* * *

Оглядываюсь. Лето позади.
С тобой... и без тебя...
Ты говоришь:
— Не приходи!..
Живу, не приходя...
в себя...

* * *

Была ты или снилась мне?
Две наши тени на стене,
Заколка на краю стола...
Ты снилась мне или была?..

* * *

Я встал невзначай на чужую тропу,
Я ношу чужую тащу на горбу,
Чужие друзья угощают вином,
Чужие враги меня ждут за углом,
Чужая жена мне подводит коня,
Я греюсь теперь у чужого огня.

Меня окружает чужая родня
И мысли чужие тревожат меня,
И солнце чужое встает надо мной,
И день для меня наступает чужой,
Чужие по небу плывут облака
И в душу вползает чужая тоска.

В груди моей сердце чужое стучит,
Чужое окно мне мигает в ночи,
Чужая луна освещает мой путь,
Чужая звезда предрекает судьбу,
Я ношу чужую тащу на горбу,
Я встал невзначай на чужую тропу.

Капитану Кремлянскому

Позвякивают стопки на столе...
Послушай, капитан, а ты умеешь слушать.
Ты по морям ходил, как по земле,
И для тебя земля — так, просто суша.

Твой дед тебе показывал моря,
Он знал их наизусть, как улочки Стамбула.
Суда ты узнаешь по якорям,
Шторма и бури чуешь, как акула.

* * *

— Что за жизнь? Зима — без снега!
Слякоть. Влага. Грязь. Туман.
Космами седыми небо
опустилось на дома.

Люди тихо, как улитки
Пробираются вдоль стен.
Лица — ни одной улыбки,
Словно все попали в плен...

* * *

Мы успели! Устали, конечно, как черти.
Этот мост будем помнить, наверно, до смерти.
Нам еще предстоит привыкать к тишине
И читать мемуары об этой войне.

Тем, кто ждал нас, спасибо за письма, за веру.
Салютуют гвоздики на грудь «бетээру».
Здесь не надо стрелять, здесь родная земля,
Даже раны — и те — здесь терпимо болят.

Мы от слез и улыбок дуреем и слепнем,
Дотираем зубами афганский песок.
Генерал, твое право — пешком и последним,
Ты скажи, кто хранил нас, Аллах или Бог?..

И не будем смотреть, кто с медалью, кто без,
Кто в кармане, кто в теле вез оттуда свинец.
Говорят, будет трудно, советы дают...
Разве в жизни бывает трудней, чем в бою?..

ТЕОДОЗИЯ ЗАРИВНА

Невидимый праздник

Карнавал

Стройно звучат аккорды, в которых ни ноты зимы.
Будто в театре теней, ловим все такты телами.
Но исчезают в патоке венецианской тьмы
те, кто шагает с нами, и те, кто еще за нами.
Бал обновленного света, поколений последних парад,
летнего изумруда смесь с осенним болотом.
Запах «Шанели» и плоти немного похож на смрад
над берегами канала, твердыней теперь и оплотом.
Все одевают маски, напялив другое лицо
вместо пустот и полостей, являя царя и героя.
И я потешаюсь тихо от этих забав хитрецов.
Но между лжецов и предателей кем я пребуду? Кто я?
Музыка, вздохи и шепоты — поток любви и канкан.
Бал, подогретый осенью, щит меж бытьем да исходом.
Два голоса вновь сливаются, похоже на «инь» и «янь»,
взявшись на ночь за руки, а думают, что на годы.

* * *

Счастливы эти люди —
они не знают сомнений,
хватая деньги и земли,
те, что плохо лежат.
Вся страна плохо лежит,
и большей печали нет —
ее и моей во всем белом свете.
Кого же пронзит закат
(то вечер схватил инфлюэнцу
и весь пылает в жару)
или волны плеск за кадром
где-то рядом и сбоку?
Разве что ловишь кожей
воды присутствие влажное,
мелеет она, затихает.
Нет, это вовсе не август,
что сентябрем становится медленно,
а много больше, тревожней,

это — страх чередования:
весна-лето-осень и дальше зима,
холодная и жесткая к тебе,
похожая на белую рубашку,
вышитую сорочьими следами,
мелко-мелко и голодно-голодно.
Сухонькая старушка
крошки сеет на снег,
крапленый неспешными птицами
в поле моего взгляда.

* * *

Постигнув методику
создаванья стихов по Бродскому
и по всем остальным —
не менее умелым,
но менее удалым поэтам,
возносишься над их текстами,
преодолев закон гравитации,
и видишь,
как все ж они похожи
на дождь за окном,
страх одиночества,
бешенство разъедающей любви,
сомнительную логику поступков,
упрямое врастание в жизнь,
будто совершенно забыв,
что нельзя любить этот мир —
слишком долго и сильно без меры.

* * *

Жестокий сон
поставил все на свои места
(что правда, прошедшие):
молодость,
ливень на Прорезной,
нас под одним плащом.
Твое такое теплое плечо
и запах кофе,
и неспешные слова,
что запутались в косах,
мокрых от дождя,
и весь день шли за мной
после двадцати лет
столь длинной жизни.

Какой-то невидимый праздник
все время звенел над землей.
Захотелось выкрасить волосы
и переставить мебель,

и накормить нахала-голубя,
который бродил по балкону,
и вспомнить строку из шлягера, —
что обманула когда-то:
«Nigdy wiecej...»

Какую траву надо пить,
чтобы ты снова приснился?

* * *

Пока у поэта, как меч обоюдоострый,
остается в руках перо,
судьба его не решена до конца
ни людьми,
ни им самим,
ни где-то там, в небесных канцеляриях.

Слова подобрав, как ноты
или мазки дорогой краски,
он должен нарисовать картину
того мира,
который смеется ему в глаза
свысока или просто так,
от полноты простого счастья,
совершенно забыв о нем.

Забыв также и то,
что минует и сам,
насытившись, напившись
и набив карманы.

И только тот чудак,
вдруг засмотревшийся в себя,
может его сохранить
хотя б на какое-то время,
словно старое зеркало —
промелькнувшую тень
в остром сквозняке времени.

* * *

Впервые пейзаж за окном
не вызывает осложнений
или даже раздражения:
молодая яблонька
рассыпала половину плодов
красными бусами
в зеленой шерсти травы,
другая половина —
фонари надежды,
огни заблудившимся
среди урбанистики хмурой.

За стеной еле слышно
разбиваются сердца
в цыганском сериале,
мокрой мышкой
скребется дождик,
и где-то изредка
проезжает машина,
не успевая всполошить
рой букв на кончике белой ручки.

Тягостное мгновение
накануне долгой разлуки.
Как вижу: медленный поезд,
чужеродный элемент в толще времени,
которая проскакивает молнией
впереди электровоза
и ведет за собой
эту длинно-предлинную валку
с подвижным хвостом,
с корзинками и котлетами,
запахом чеснока,
детьми, которые кричат,
и дождем, что поет в листве.

Перевод с украинского Владимира ИЛЬИНА.

АЛЕСЬ ЖУК

Заполненный товарищами берег

Портреты, эссе

«Любите поэтов, любите...»

Познакомиться с Рыгором Семашкевичем нам просто было суждено: я поступил в университет в 1965 году, а в 1977 Семашкевич, после своего директорства в деревенской школе, стал аспирантом. Наше знакомство состоялось на заседании литобъединения «Узлёт» под руководством О. Лойко, куда меня привел Юрка Голуб. Объединение было поэтическим, и я ходил на заседания просто за компанию. Там я впервые и увидел худенького очкарика, совсем не похожего на аспиранта — больше на нас, студентов. Тогда мы все были молодые и худые. Семашкевич своих стихов не читал, а разбирал стихотворения взлетовцев. Да и заседания тот раз проводил не Лойко, а Семашкевич, уже известный и признанный поэт. На следующий год в издательстве была запланирована его первая книга стихов «Леснічоўка», за которую он потом и был принят в Союз писателей.

После заседания мы пошли к нему в общежитие на улице Свердлова, где Семашкевич занимал комнату вместе с Евгеном Лецко, тоже аспирантом. Тогда мы еще не знали, что комната эта станет примечательной в нашей жизни. После того, как Семашкевич женился и снял квартиру в городе, место в общежитии он оставил за собой. В этой комнате пришлось доживать последний год своего студенчества и мне, оставшемуся без места в общежитии после возвращения из деревенской школы, где работал учителем в зачет преддипломной практики. В этой комнате зимовал и Михась Стрельцов. Он тогда переживал самые трудные времена в своей жизни. В соседней комнате жил и Батька, будущий герой веселой повести Рыгора. Батька зачастую участвовал с нами в застолье.

Но все это будет потом, в конце учебы. А тогда комната была для нас местом, где мы могли собраться, читать новые стихи и Юрки, и Рыгора, обмениваясь мнениями и даже придираясь к отдельным строчкам. Нам тогда это было интересно. Стихи читали с листа, не вслух. А по памяти читали стихи, прочитанные в периодике, в книгах. И наших белорусских поэтов, и русских, и украинских. И книги, и периодика нам тогда были доступны. В 60-е годы была мода на поэзию. Послушать белорусских поэтов по вечерам собирались люди и у театра Юного зрителя, и возле бывшего кинотеатра «Новости дня». Было и такое.

У нас, студентов, литературная жизнь, что называется, кипела. Кроме «Узлёту» Лойко активно работало литобъединение при «Чырвонай змене», которым с апломбом руководил сам Алесь Сергеевич Ставер, а потом и Валентин Лукша. Регулярно выходили литературные страницы в газете, на которые можно было попасть не только со стихами, но и с прозой. Однако и нас, творцов, набиралось порядочно. Только филфак поставил с дюжину поэтов и прозаиков. На

моем курсе учились Юрка Голуб, Алесь Комаровский, Иван Станкевич, Леонид Радкевич, Иван Клименков. Курсом позже — Евгения Янищиц, Алесь Рязанов, Виктор Ярац, Евгений Хвалей. А на курсах постарше — Марьян Дукса, Сергей Законников, Владимир Дюба, Михась Губернаторов, Генрих Далидович, Микола Малявка, Казимир Камейша, Геннадий Дмитриев, Федор Черня, Эдуард Зубрицкий... По памяти всех не могу назвать, если кого это заинтересует, то полистайте коллективные университетские сборники. Первый «Падарунак» был издан в 1958 году под редакцией Михаила Ларченко и с предисловием Ивана Науменко. Следующий «Узлёт» в 1965 году был собран Олегом Лойко. И открывался он стихотворением Рыгора Семашкевича:

Спакойныя магутныя дубы,
Крыніца разам з птушкамі шчабеча,
Прызыўны кліч ласінае трубы
Заве на баравое веча.

Это была небольшого формата и объема книжечка, зато следующая — «Натхненне» — была издана на мелованной бумаге, довольно объемная. В 1971 году вышел антологический сборник «Універсітэт паэтычны», приуроченный к 50-летию БГУ. Потом будут еще «Вёсны» в 1977 году — все с той же легкой руки Олега Лойко и благодаря его стараниям; как свидетельство внимания филфаковских преподавателей к начинающим писателям у меня хранится сборник рассказов Ивана Науменко «Хлопцы-равеснікі» с благожелательным автографом, датированный 1966 годом, когда я был еще первокурсником.

Кроме литобъединений важное значение имело и группирование молодых авторов вокруг литературно-художественных журналов. В «Маладосці» молодых собирал Микола Аврамчик, в «Полымі» — Анатоль Велюгин. Редакции были своеобразными литературными клубами, где могли встречаться писатели разного возраста, что предполагало поддержку старшими младших. Мне пришлось несколько раз бывать на квартире у Анатолия Степановича Велюгина, где довольно часто бывали Семашкевич и Голуб. Они имели даже свои ранги и звания. Семашкевич почему-то был окрещен Гамлетом, Голуб — юнгой, Казимир Камейша — корнетом, Рыгор Бородулин — боцманом. А сам Велюгин, не с легкой ли руки Бородулина, имел звание адмирала. Также там бывали поэты старшего возраста, артисты, киношники...

Рыгор Семашкевич заявил о себе как о поэте в республиканской печати еще 1959 году, в четырнадцать лет. К слову будет сказано, студентом Семашкевич стал в шестнадцать лет, не окончив среднюю школу. В то время такое было возможно. В настоящее время Семашкевич наиболее воспринимается как поэт,

хотя еще со студенческих лет он активно работал как исследователь литературы и культуры Беларуси. Внимание его было сосредоточено на белорусском национальном движении в конце XIX начале XX столетия, что не особенно приветствовалось.

Еще студентом он написал научно-исследовательский очерк «Бронислав Эпимах-Шипило» об очень заметной личности в белорусском национальном Возрождении. Книга вышла в издательстве «Навука і тэхніка» в 1968 году. Через три года им издано исследование «Беларускі літаратурна-грамадскі рух у Пецярбурзе. (Канец XIX — пачатак XX ст.)». Разрабатывать тему белорусского национального Возрождения он будет и дальше: напишет о дружеских отношениях Бронислава Эпимаха-Шипило и Янки Купалы, о «нашенивском» периоде жизни и творчества Купалы. К Купале у Семашкевича было свое личное особое отношение. Он считал его гением не только национальной, но и всемирной литературы. Он считал, что Купала как следует не известен не только всему миру, но и своему народу, которому если известен, то поверхностно. О роли Игната Буйницкого в становлении белорусского театра Семашкевич напишет эссе «Світка Буйніцкага». Еще Рыгор Михайлович хотел написать об Алесе Бурбисе, примечательной личности в белорусском Возрождении, который был одним из основателей Белорусской социалистической громады, простым актером в труппе Буйницкого, сам был постановщиком нескольких спектаклей, позже работал заместителем наркома иностранных дел БССР. Рыгор собирал о нем материалы в архивах и не только.

Однажды Семашкевич показал мне копию статьи из газеты «Звязда» о похоронах Алеся Бурбиса, который умер в 1922 году. Его гроб под траурную музыку духового оркестра несли на руках с площади Свободы на Сторожевское кладбище. Похоронен Бурбис был рядом со Степаном Булатом, что и служило Рыгору ориентиром в поисках могилы. Мы за день буквально на коленях обползали уже довольно разрушенное Сторожевское кладбище, находили почти полностью ушедшие в землю надмогильные камни еще начала XIX столетия с надписями в том числе и на польском языке, но ни одной, ни другой могилы не нашли. Потом у Семашкевича появились сведения, что перед закрытием Сторожевского кладбища Булат и Бурбис были перезахоронены на Военном кладбище. Мы обследовали и Военное кладбище, но могил так и не нашли, зато у самой калитки наткнулись на совсем разрушенное надгробие Всеволода Игнатовского. Мы пришли к выводу, что те перезахоронения могли быть «подрезаны» во время послевоенной застройки Долгобродской улицы, или тех национал-коммунистов и «нацдемов» никто и не перезахоранивал.

Научно-исследовательская работа требовала работы в архивах Вильни и Ленинграда, городах, которые Семашкевич любил. Вильню за то, что это наша Вильня, а северную столицу за то, что с ней была связана жизнь Анны Ахматовой.

Семашкевич начинал свой творческий путь со стихов. Поэзию он знал, любил, чувствовал. Читал ее много: белорусскую, русскую, зарубежную, круг уважаемых им поэтов был велик. Но Анна Ахматова занимала в нем особое место, ее он просто боготворил. Мало того, что он знал все напечатанное о ней, он собирал об Ахматовой самые незначительные публикации и упоминания, появлявшиеся в периодической печати. Его можно было обидеть, отмахнувшись от новой находки об его иконе.

Для самой Анны Ахматовой столь значимым был Пушкин. Начиная с 20-х годов она занималась Пушкиным, не прерывала эту работу всю жизнь, намеревалась издать книгу о Пушкине. К сожалению, рукопись этой книги не сохранилась, но сохранилось составленное содержание того, что она собиралась включить в нее. На основе этого содержания в ленинградском отделении издательства «Советский писатель» в 1977 году была издана книга Анны Ахматовой «О Пушкине» с основательными научными комментариями.

В комментариях к статье «Гибель Пушкина» был помещен и черновик стихотворения, в котором она вину за смерть поэта возлагала на придворное окружение и на самого Николая I:

И отнять у них невозможно
То, что в руки они берут,
Хищно, бережно, осторожно,
Как... меж ладоней трут.

………… поэта убили,
Николай правей чем Ликург.
Через столетия получили
Имя — Пушкинский Петербург.

Рыгор Семашкевич тогда был в Доме творчества «Королищевичи». По телефону я сказал ему, что из московской «Лавки писателей» пришла книга Ахматовой «О Пушкине», и что по возвращении домой он будет иметь удовольствие читать ее. Прочитал и неожиданные для меня стихи, где издателям вместо ненормативной лексики пришлось ставить отточие. Рыгор был шокирован, что его кумир могла зарифмовать такое. Он рассказывал мне потом, что мне не поверил, решил, что я разыгрываю его и прочитал ему стихи другого поэта, и угомонился только после того, как вечером дозвонился до Олежки (так он ласково за глаза называл Лойку), и тот развеял его сомнения.

Благодаря той увлеченности Ахматовой у меня на магнитофонной ленте сохранился живой голос Рыгора. В то время купить пластинку Булата Окуджавы удавалось не каждому желающему. У Рыгора такая пластинка была, и я приехал к нему с магнитофоном, чтобы переписать песни на ленту.

Через много лет, когда у меня самого уже был виниловый альбом с песнями Окуджавы, я случайно включил ту забытую кассету и между песнями услышал хрипловатый голос Рыгора, который читал Ахматову:

Никого нет в мире неприютней
И бездомнее, наверно, нет,
Для меня ты словно голос лютни
Сквозь загробный призрачный рассвет.
Я рукой своей тебя не трону,
Не взглянув ни разу, разлюблю,
Но твоим невероятным стоном
Жажду, наконец, я утолю.
Ту, что до меня блуждала в мире,
Льда суровей, огненнее дня.
Ту, что и сейчас стоит в эфире, —
От нее освободи меня.

Сколько молодой силы, жажды жизни в том далеком уже голосе!

В поэзии Рыгор Семашкевич стремился к усвоенной от Ахматовой точности и величественности:

Спыніся, далёкі ці блізкі, —
Тут маршалы нацыі спяць.

У Семашкевича вышло два сборника стихотворений: «Леснічоўка» и «Субота». В них есть все, даже в самых ранних его стихотворениях, что свидетельствует о внятном видении мира, естественной простоте и ясности, о его завороженности природой, есть в стихах и ирония, что также немаловажно.

Сад вартую, і не спіцца мне,
Дзіўнае начное наваселле.
У маім прасторным будане
Смачна пахнуць яблыкі і сена.

Цішыня ў садзе шмат начэй...
Мо чакае хто гадзіны лепшай?
І сабака мой зусім здзічэў, —
Як на зоры, на ранеты брэша.

Спяць дарогі, вербы ля ракі.
Я не сплю. І ціхі сум і змора.
Хай бы ў сад залезлі хлапчукі,
І абтрэслі яблыні і зоры.

Чувствуется владение поэтической техникой, желание попробовать себя в разных стихотворных формах, и небезуспешное, настойчивое нащупывание главной, стержневой темы. Поэт очень серьезно относится к культуре письма, к строгости интонаций, точности подбора слова. При этом в стихах Рыгора Семашкевича явно общественной направленности просвечивается пронзительная лиричность, без нее и без точности слова поэзия невозможна.

Слово искал настойчиво. Ночной звонок. В трубке голос Рыгора: «Сашок, ты не спишь? Понимаешь, осенний вечер, уже темно. Тишь и только далеко в поле телега, она одна слышна. Только так, как слышно осенью. Весной телеги не слышно, земля мягкая...» Такой вот, примерно, разговор.

Что только не может не греметь в той деревенской телеге! И спицы в разбитых ободьях колес, и обруч, который свалился со ступицы и болтается на атосе, и подгерец о шворень... Начинаем перебирать слова, покуда не доходим до лесток — тонких дощечек между основанием телеги и оглоблей, чтобы поклажа не сваливалась с телеги. Эти лестки никогда плотно не держатся в гнездах и мелодически ксилофонно постукивают. После этих «лесток» выдох облегчения — и трубка положена. Потом будет поэзия:

Дзесьці ў полі ляскоча падвода.
Што яна лічыць — выбоіны, годы?
Стылая далеч асенняй прасторы
Чуйна разносіць усё, што гавораць.

Людзі, падводы, машыны
І ў паднябессі клін жураўліны.
Не, не здарма самым родным і блізкім
Здасца зямля, гэта поле-калыска.

Поэтическое взросление заметно и в чисто лирических стихотворениях, и в настойчиво проступающем тематическом направлении: «Вяртанне кніг», «Кастусь Каліноўскі», «Апошняя ноч Кастуся Каліноўскага», «Таполі Максіма Багдановіча», «Францішак Багушэвіч»: «...Імжыць праз гады сіратлівы пагляд. На ўсю Беларусь мільён пракурораў. І толькі адзін, толькі ён адвакат». И «Вайсковыя могілкі Мінска»:

Вайсковыя могілкі Мінска
Не будуць варот зачыняць.
Спыніся, далёкі ці блізкі, —
Тут маршалы нацыі спяць.

Купала і Колас...
Раптоўна
Адчуеш свабодна зусім —

Не толькі радком загалоўным —
Ты ўсім абавязаны ім.

Трывожаць не рангі і званні,
Інакшы азначыўся плён —
Дзяржаўная важкась гучання
Адзіных і розных імён.
…………………………
І не пры магільным граніце,
А скрозь на вялікай зямлі
Любіце паэтаў, любіце!
Іх так ненавідзець маглі.

Ответственное отношение к поэзии, к наполненности поэтической строки содержательностью, к точности и в чувстве, и в слове давало Семашкевичу-критику право на требовательную оценку творчества коллег по поэтическому цеху. Семашкевич не разбрасывался общими упреками, он анализировал, показывал и умел радоваться чужим удачам. Потому его критика была принципиальной, но никогда не критиканской, она писалась во имя поэзии. Он и писал критику чаще всего тогда, когда сталкивался с настоящим талантом и поэзией, прежде всего, чтобы поддержать и помочь. Не замеченными им не могли остаться Рыгор Бородулин, Евгения Янищиц, Нина Матяш, Валентина Колтун, Юрка Голуб, Алесь Рязанов и другие поэты. А перепадало чаще всего строчкогонству, приблизительности, поэтической глухоте, декларативности, барабанной актуальности и спекулятивности на этой самой актуальности.

Одна из критических книг Рыгора Березкина называется «Постаці». Так вот, пишу о Рыгоре Семашкевиче и думаю, как нам сегодня не хватает в критике поэзии — да не только поэзии, вообще литературы, — когорты таких вот личностей, как Рыгор Березкин, Варлен Бечик, Михась Стрельцов, Рыгор Семашкевич...

Появление повести «Бацька ў калаўроце» было неожиданностью. Повесть получилась действительно смешной, веселой, примечательной. Прошли десятки лет. И когда я перечитывал ее, приятно чувствовал, что она и сегодня читается, что называется, взахлеб.

Теперь я понимаю, что Семашкевич давно приценивался к прозе. Еще в первом своем эссе «Лічыла дні зязюля» он, может быть, подсознательно, пробовал на зуб прозаическую фразу, ловил строй, рисунок. Рассказывая о своем директорстве в восьмилетке, он более придерживался журналистской очерковости, но из нее часто выныривали чисто прозаические штрихи, детали, сцены.

Эссе «Світка Буйніцкага» не только основательная исследовательская работа о становлении белорусского театра, о личности Буйницкого, актеров его труппы, — это еще и добротная проза, в которой профессионально выдержан жанр.

В повести, естественно, трудно было выдержать чистоту жанра, это все-таки приходит с опытом. Но она имеет то качество, без которого невозможна художественная литература. «Бацька ў калаўроце» — повесть от начала и до конца «сочинительская» в самом добром понимании этого определения, как понимал его Гоголь, называя себя не иначе как сочинителем.

Действительно, был в нашей жизни человек, которого мы называли Батькой, было в Вильне кафе с бассейном во дворике. И филфаковским преподавателям с тогдашних окраинных новостроек без резиновых сапог невозможно было добраться на работу. Для нас, кто учился на филфаке, герои узнаваемы: жесты, манера говорить, привычки, — но все остальное в повести сфантазировано автором. Не лазил Батька мемориальную доску читать, и рыбок в бассейне не кормил, и соседкам на общей кухне соль в суп не подсыпал. Хотя нас,

голодранцев, которые жили с ним на Свердлова, в том числе и автора повести, подкармливал.

«Бацька ў калаўроце» — действительно талантливая повесть, написанная в соответствии с литературными приемами, по законам литературы.

И юмор в ней не издевательства ради, даже не для каких-то там разоблачений и поучений, а от молодости, от переполненности жизнью, когда просто так и самому посмеяться хочется, и других посмешить.

Тем не менее, в повести пробовали выискивать и неуважение к преподавательской интеллигенции, и другие «подтексты» выудить. Правда, до обвинений в очернительстве, как было в свое время с повестью Алексея Кулаковского «Добросельцы», не доходило. Будучи редактором книги «Бацька ў калаўроце», я был свидетелем редактирования повести на уровне главного редактора издательства. Семашкевичу приходилось вычеркивать и слова, и предложения, и абзацы.

После этого Семашкевич недоумевал: что изменилось после его вычеркиваний? Ничего.

Наша литература юмористическим жанром не изобилует, кроме «Запісак Самсона Самасуя» Андрея Мрыя, «Дабрасельцаў» Алексея Кулаковского, «Ніжніх Байдуноў» Янки Брыля я больше повестей и не назову.

«Такія вось паперы», как говорила в самом начале Рыгоровой повести деревенская тетка Марья.

После «Бацькі ў калаўроце» Семашкевич начал писать повесть «Ясень». Написанное заканчивается таким вот абзацем:

«Ранняя ноч... Дажджавеюць і кіпяць маладыя яблынькі за акном».

Это он еще успел увидеть и записать...

Было удивительно теплым начало лета. Молодые листочки на деревьях еще не умели шуметь. После работы я через детский парк имени Горького пошел к Рыгору Семашкевичу. Он был дома один, веселый, радостно возбужденный, в просторной прохладной комнате с настежь распахнутым окном. На столе лежала принесенная женой из издательства корректура его критической книги «Выпрабаванне любоўю». По такому поводу я вызвался сходить за бутылочкой сухого болгарского вина. Он категорически отказался, показал на спинку стула, на которой висела белая рубаха, черный галстук и пиджак.

— У меня завтра защита дипломной.

Я знал, что для Рыгора защита его дипломников — святое дело. Он продолжал добрую традицию филфаковских преподавателей — уважать студентов, тем более начинающих литераторов. Это он попросил меня взять на работу в «ЛіМ» Алеся Письменкова, хорошего хлопца и хорошего поэта, как было сказано.

Мы попили кофе, полюбовались Купаловским сквером.

А назавтра утром — телефонный звонок и глухой голос Ивана Антоновича Брыля:

— Саша, нету Гриши.

Это было непостижимо. Я по-детски спросил:

— Что делать?

— Не знаю.

— Иду к вам.

— Иди.

В той же комнате было так же настежь распахнуто окно, на столе лежала корректура, на стуле висел приготовленный костюм.

Присел на диван рядом с Брылем. Сидели и молчали. Я только что прошел мимо пятен крови на тротуаре. Сидели, кажется, бесконечно долго, старый и молодой. Но сидеть бесконечно было нельзя. Я отважился и сказал:

— Буду вызывать машину.

— Вызывай.

Потом ехали утренним чистым и живым городом на Слуцкое шоссе в больницу скорой помощи за соответствующей справкой. В голове у меня, как выброшенные на берег рыбины, бились почему-то вот эти Рыгоровы строки:

Недзе на Свірскім возеры
Дзікія гусі крычаць.
Скора ўжо, скора возьмецца
Неба іх калыхаць.

Только тридцать семь лет прокричали те гуси Рыгору. Только тридцать семь лет потешило его небо... Неужели и правда, что «тых, з кім дзеліцца неба сакрэтам, маладым забірае зямля»?

И через тридцать лет временами думаю: а может, если бы выпил вина, не пил бы он на ночь снотворное, не полез бы на подоконник курить перед сном и любоваться сквером. Он любил рассказывать об этой своей радости. У него была плохая привычка сидеть на широком подоконнике вдоль оконного проема. А когда он жил в Серебрянке на третьем этаже и мы выходили покурить на балкон, никогда не подходил к ограде, курил, прислонясь к стене. Но кто знает, куда сам качнешься или качнет тебя судьба под этим небом, в котором дикие гуси кричали и будут кричать. И не потому, что дикие, а потому, что время улетать.

Человеку не дано знать свое время.

«Может, мы последние поэты...»

Что есть такой поэт Максим Танк, я, как и все мои ровесники, знал еще в школе. Имя это само собой становилось в ряд классиков, который начинался с Янки Купалы и Якуба Коласа. Естественно, что и представлялся он старцем, седовласым мудрецом, да и балладный лад многих стихотворений — «дрэмле Нарач, наша мора» — располагал к таким ассоциациям.

Поэтому, когда встретил его уже будучи студентом, был немного удивлен, увидев высокого, красивого, еще в силе, улыбчивого мужчину. Было это у входа в редакцию журнала «Полымя» солнечным летним днем. Они шли рядом, Максим Танк и Янка Брыль, в светлых теннисках, шевелюристые, совсем не похожие на классиков, какими казались. Помню его в редакторском кабинете. Тот большой кабинет на Захарова, 19 очень часто представлял собой кают-компанию, в которой собирались не только сотрудники журнала, но и авторы. Веселые комментарии литературной жизни, воспоминания, шутки, анекдоты. Словно и собрались люди не работать, а на посиделки. После, когда и сам начал работать в издательстве и редакциях, понял, что редактура делается за своим рабочим столом дома. А так называемые приемные часы в редакции собирают писателей, чтобы пообщаться, поговорить не только о литературе, но и о жизни, а иногда и «за жизнь»...

В «Полымі» собирались в кабинете Евгения Ивановича, он был душой компании, но застолий у него в кабинете не было. Позже приходилось мне видеть его и в застольях, которые он, человек не пьющий, умел вести легко и красиво, и со стороны могло показаться, что он такой же захмелевший, как и его друзья.

Ежегодно в сентябрьском номере «Полымя» появлялась солидная подборка его стихотворений. Многие из тех стихов уже стали золотым фондом бело-

русской поэзии. Сентябрь был особым месяцем для Максима Танка: в этом месяце семнадцатого числа он родился и этим же числом произошло освобождение Западной Беларуси. Событие памятное для человека, который работал в коммунистическом подполье, сидел в печально известной тюрьме Лукишки и чудом избежал более страшного наказания, чем тюремный срок...

Получилось так, что через много лет мне пришлось работать секретарем Союза писателей, когда председателем писательской организации был Евгений Иванович. Руководил он не демонстрируя свою власть, не навязывал свое мнение, не доставал советами, но когда его совет был нужен, он был. И кабинет его не пустовал, в нем решались основные рабочие вопросы, но всегда было время для человеческого и человечного разговора с приходившими писателями. У писателей было доверие к Максиму Танку. И у молодых, и у старых, и у тех, судьбы которых сложились очень трудно. Во время работы в ЦК КПБ мне пришлось побывать у Ларисы Гениюш. Многое пережившая, прошедшая сталинские лагеря, Лариса Антоновна жила настороженно, доверяла немногим. И когда я попросил ее отобрать стихи для «Полымя», для «ЛіМа», стихи она отобрала, сложила в папку, но отдала мне со словами: «Папку передать Максиму и пускай он сам распорядится ими». Так было просто и сказано «Максиму», такой Максим был один, объяснять не надо было.

В свое время Иван Петрович Шамякин напечатал в «Полымі» свои воспоминания, которые он писал по памяти, не имея дневниковых записей. И там говорилось, что Якуб Колас имел свой персональный железнодорожный вагон. После того, как воспоминания были напечатаны, в редакцию пришел сын Коласа Данила Константинович и принес свои опровержения по поводу воспоминаний Ивана Петровича, в которых отрицалось наличие персонального вагона, прояснялись другие неточности. Согласно воспоминаниям Ивана Петровича, тем «персональным» вагоном пользовалась белорусская делегация во главе с Якубом Коласом при поездке в Ленинград для укрепления творческих связей белорусских писателей с ленинградскими. Такая поездка действительно состоялась в 1947 году. Ей придавалось большое значение, и поэтому надо было, чтобы Якуб Колас выступил на открытии торжественной встречи в Доме писателей имени Маяковского в Ленинграде, а потом принял участие в большом городском литературном вечере. В состав делегации входили Аркадь Кулешов, Пилип Пестрак, Петрусь Бровка, Максим Танк, Максим Лужанин, Михась Климкович, Степан Майхрович и Павел Ковалев.

Позже я услышал рассказ Максима Танка о той поездке. Действительно, руководством Белорусской железной дороги был дан отдельный вагон для деле-

гации. Вагон в Ленинграде был поставлен на запасные пути и находился в распоряжении писателей. Колас на следующий день после торжественного вечера уехал по своим делам в Москву, а оставшиеся писатели гостили в Ленинграде еще десять дней. Они побывали на Кировском заводе, в Эрмитаже, в Русском музее, в Музее обороны Ленинграда, в шалаше Ленина в Разливе, на могилах И. Е. Репина и Федора Смолячкова, в Петропавловской крепости. А по вечерам в вагоне принимали своих ленинградских друзей. Сотрудничество укреплялось основательно. В один из таких вечеров Пилип Пестрак, уставший и захмелевший, ушел от компании в соседнее купе отдохнуть. Через некоторое время в том купе начали раздаваться громкие хлопки. Веселая компания шутила, что Пилип Семенович сочиняет новые стихи и сам себе аплодирует. Но вскоре появился и сам Пестрак. Его знаменитая лысина была вся в крови. Оказалось, что в темном купе на голову уснувшего Пилипа Семеновича начали падать клопы. Он спросонья хлопал по ним, пока не сообразил, что надо ретироваться. Таким был тот послевоенный «персональный» вагон.

После того, как Максим Танк оставил работу в Союзе писателей, мы виделись редко, на заседаниях, во время поездок в Москву. Ему к тому времени уже поставили кардиостимулятор на сердце. Тогда это было еще в новинку, таких операций в Минске не делали, и Евгений Иванович ездил в Вильнюс. Когда я спросил его, лучше ли он себя чувствует, он ответил, что лучше, но грустно улыбнулся: сердцу не хочется работать в одном режиме, ему волноваться надо.

Последний раз мы виделись с Максимом Танком, наверное, в начале весны 1995 года, в больнице лечкомиссии. Я лежал на третьем этаже, в соседних палатах пребывали Виктор Туров и Александр Кищенко, Евгений Иванович — этажом выше. В конце дня Кищенко пришли навестить его помощницы, мастерицы-гобеленщицы. Милые женщины хотели навестить и Максима Танка. Кищенко зашел ко мне:

— Алесь, мои помощницы хотят навестить Евгения Ивановича, я тоже, но близко с ним не знаком. Пойдем вместе с нами.

Евгений Иванович лежал в двухместной палате с холодильником, с телевизором. Одет от был в темно-синий больничный костюм, стриженный под ежик, от этого совершенно непохожий на самого себя, привычного своей и в старости красивой шевелюрой. Почему-то он показался мне и меньше ростом, и совсем худеньким.

Гостям он обрадовался, разговорился с Кищенко, обращаясь к нему привычным своим словом «друже», охотно фотографировался, женщины отщелкали, наверное, целую пленку. К сожалению, Кищенко скоро и неожиданно умер после выхода из больницы, и я не успел побывать у него, хотя об этом мы договаривались. И тех последних фотографий с Евгением Ивановичем у меня нет.

После того, как гости распрощались, он придержал меня, усадил рядом на кровать. Его сосед дипломатично оставил нас, покинув кулек лущеных грецких орехов. Мы говорили обо всем, без всякого лада и связи, но он кругами все возвращался к тогдашней разрухе и неразберихе в стране. Человек советский по прожитой жизни, он был растерян после развала СССР.

Он то и дело повторял: «Ну ладно, мы то прожили, а дальше как? Как внуки наши будут?» И как бы между делом показывал мне больные распухшие ноги, даже о сказанном ему докторами «ваш жизненный ресурс исчерпан» сказал вскользь. Главное, как будут жить внуки. Искренне, с болью.

Потом ему позвонила жена. Он успокаивал ее, просил не волноваться, говорил, что его через день обещали выписать, опять успокаивал, что все будет хорошо, что у них все «опять будет как за тем часом», эту фразу он произносил по-польски, хотя знал, что в молодость возврата нет. На глазах у него были слезы.

— Собирается приехать навестить? Как она приедет? По квартире на коляске передвигается. Пока дети на работе, мы с коляски вдвоем еле на кровать перебираемся, сил не хватает. Потом сидим на кровати и оба плачем...

И не отпускал меня из палаты. Медсестра уже несколько раз приоткрывала дверь, и чтобы не видел Евгений Иванович, показывала на часы, укоризненно кивая головой. А потом зашла в палату и демонстративно не выходила. Надо было расходиться. И тут Евгений Иванович неожиданно сказал:

— Давай, друже, простимся.

Я попробовал растерянно лепетать, что мы еще будем видеться, что ждем в редакции его стихи... Он спокойно остановил меня:

— Я старший, я лучше знаю.

Мы обнялись и трижды расцеловались.

Медсестра растерянно и испуганно глядела на нас.

И действительно знал: больше Евгения Ивановича я не видел — ни живого, ни мертвого.

Он тогда выписался из больницы, возвратился домой, потом похоронил Любовь Андреевну, написал подборку стихотворений и передал редактору, Сергею Ивановичу Законникову. Я рассказал ему о нашем последнем разговоре в палате, о вердикте докторов и предложил поставить стихи в летний номер. Сергей Иванович грустно улыбнулся:

— Саша, старик мудрый. Он предвидел это и попросил стихи поставить только в его, сентябрьский номер.

В августе Максима Танка не стало, поэта Божьей милостью, который однажды сказал, что был бы счастлив, если бы знал, что и через сто лет после смерти, люди будут помнить хотя бы одно его стихотворение.

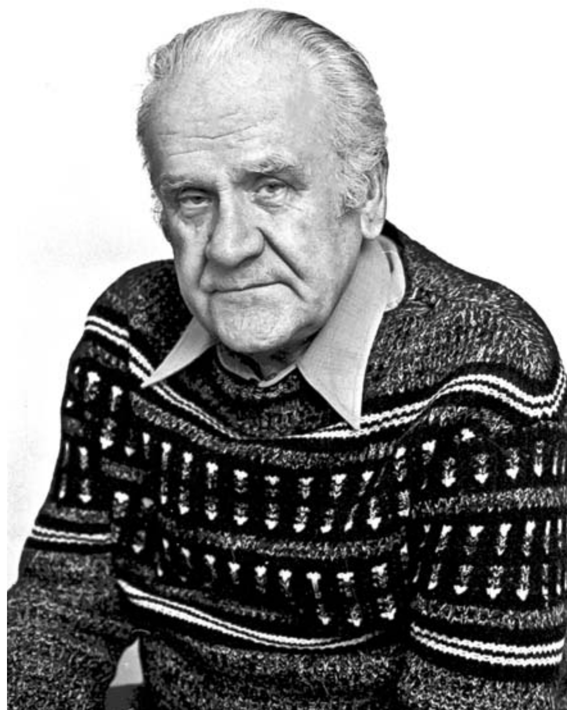
И теперь, когда я слышу имя Максима Танка, оно неизменно ассоциируется у меня с его словами: «Можа, мы апошнія паэты, што вось так цікавяцца зямлёй».

Он и сам ушел в свою землю, чтобы лежать на деревенском кладбище рядом с матерью и отцом.

Ужин с Брылем

В мою жизнь Брыль вошел с детства, даже смутно помню обложки «Зялёнай школы» и «Ліпкі і клёніка». Знание, что их написал Янка Брыль, пришло, когда был уже старшеклассником и сам пытался писать. С тех пор читал все написанное Брылем. Да и моя литературная жизнь была непосредственно связана с Иваном Антоновичем, с его вниманием и помощью. Неблагодарная это вещь набиваться в ученики к великим писателям, когда их уже нет в живых. Вот доживу и прочту в его дневниках, что он сам так считал, буду и рад, и благодарен, а если и не прочитаю, все равно был и буду признателен. Но и теперь, когда напишу новую вещь, где-то есть в подсознании, что это прочтет Брыль.

Я писал о Брыле, не к семидесятилетию ли его, даже название помню «Жито, жизнь, книга...». Но из меня не большой писака даже и к юбилеям, хотя о Брыле написать хочется, и надо бы. И о нем самом — биография неординарная, — и о его творчестве. Иван Антонович с самого начала стал солдатом Второй мировой, для нас Великой Отечественной войны, пулеметчиком морской пехоты в польской армии в кровавых боях под Гдыней. Там был взят в плен, из которого удалось бежать только со второй попытки. Дома воевал в партизанах, после войны работал в периодических изданиях, а потом занялся только литературной работой. Он рано начал писать. Первые рассказы датированы тридцать седьмым годом, это те, что он посчитал нужным включить в пятитомное собрание сочинений. Во время войны, до партизанки, им сделаны попытки двух повестей



о только что пережитом: о побеге из плена. Позже они лягут в основу «книги одной молодости» — романа «Птицы и гнезда». Брыль вошел в литературу сразу зрелым писателем с добротным рассказом «Марыля». Он любил поэзию и не мог не писать стихов. Вместе с первой книгой рассказов он показал свои стихи Кондрату Крапиве, тот прочитал и сказал: «Пишите, наверное, прозу». Брыль был профессиональным писателем, их совсем немного было в нашей литературе. Самый младший из них — Владимир Короткевич. Все остальные работали в редакциях, издательствах, на радио, на телевидении. Брыль работал за писательским столом до конца жизни. «Хлопцы, вам, наверное, это еще неведомо, а я, если день не сяду к столу, чувствую себя такой сволочью», — сказал он однажды.

Чтобы написать полноценный литературный портрет писателя, надо, наверное, иметь определенный талант, владеть хотя бы литературоведческой терминологией, иметь хорошую память и уметь видеть творчество писателя в контексте всей литературы, как это умел, к примеру, Андре Моруа. Поэтому попытаюсь рассказать один случай об Иване Антоновиче, просто о человеке в повседневной человеческой жизни, припомнить то, что сегодня припоминается и с улыбкой, и с легкой печалью. Я тогда работал уже в журнале «Маладосць», как-то после работы пошел в «Политкнигу», котороя размещалась в писательском доме на Карла Маркса.

Был ласковый летний день, который уже начинал клониться к вечеру. Легкий ветерок, запах еще молодой листвы и еще не слишком разогретого асфальта. Возле книжного магазина встретил Ивана Антоновича. Поздоровались, он спросил, куда иду. У него было хорошее настроение.

— А может, давай придумаем что-нибудь лучшее, чем магазин. Где этот другой мастер холодных дел?

— Должен на месте быть, у него служба, — ответил в тон и кивнул на здание ЦК КПБ.

Другой мастер холодных дел был Анатоль Кудравец, который в то время работал заведующим сектора художественной литературы ЦК КПБ.

Мастерами холодных дел Брыль дразнил нас за названия рассказов: у Кудравца «Холод в начале весны», у меня «Осенние холода». Я позвонил Кудравцу с телефона-автомата, который стоял на углу дома у магазина «Союзпечать», где теперь вход в метро. Анатолий Павлович был у телефона, и я доложил ему, что двое ищут третьего. Через несколько минут Кудравец был с нами.

И начался наш обход ресторанов в центре Минска, который иначе, как анекдотическим и назвать нельзя. Вначале пошли к новой просторной «Журавинке» на берегу Свислочи. Там была свадьба — святое дело. Поднялись вверх по улице к «Потсдаму». Там обслуживались иностранные туристы. Ничего страшного — рядом «Неман». Но и он был закрыт по «техническим причинам». Становилось уже весело. Но погода чудесная, компания хорошая, можно пройтись и к гостини-

це «Минск», где на пятом этаже аккуратный ресторан. Но и там какое-то спецобслуживание. Что же, рядом — «Папараць-кветка». Вышли из гостиницы и увидели: из-за угла в нашу сторону движется Рыгор Семашкевич. Мы его заметили первыми. Рыгор, как только увидел нас, сделал свой фирменный финт — кругом-назад. Он, если хотел избежать встречи с кем-нибудь, сосредотачивал внимание на сигарете и мгновенно делал разворот на правой пятке на сто восемьдесят градусов. Мы с Юркой Голубом потешались над этим его разворотом, но повторить его не могли. Но не тут-то было:

— Гриша-а-а! — громко позвал Брыль, и когда Гриша обреченно повернулся к нам, поманил его пальцем. Своего именитого тестя Семашкевич не то чтобы побаивался, но старался держаться от него на расстоянии.

— И куда это ты такой наваксованный? — насмешливо спросил Брыль.

— Дипломники прием дают после защиты, — Рыгор показал на «Папараць-кветку».

Стало понятно, что и там нам ничего не светит.

— Ну, дипломные замочат и без тебя. Давай с нами — мы тоже в ресторан идем. С нами интересней будет.

Вчетвером двинулись к старой гостинице «Беларусь», спокойно и уверенно. Но и там нашлась причина, по которой ресторан не работал. Мы растерянно переглянулись — идти больше было некуда. И тут я впервые услышал, как Брыль смачно выругался, хотя и легкий матюк от него можно было услышать редко. Семашкевич вздохнул с облегчением: ему светила «Папараць-кветка».

— Хлопцы, они что — сговорились нас к Нине Михайловне загнать?

— Можно и к Любови Захарьевне, — предложил Кудравец, имея в виду поехать к нему. Но зачем ехать, если квартира Брыля поблизости.

— Нет, хлопцы, не то — мальчишник так мальчишник, — махнул рукой Брыль. Было видно, что настроение у него испортилось — ему хотелось обойтись без жены, на то, наверное, были свои причины. Я знал, что жену Брыль любил, уважал и побаивался, она могла и прикрикнуть на него.

Однажды мне пришлось быть у Брыля с Владимиром Андреевичем Колесником, с которым Брыль дружил по-настоящему и крепко. Дружба их началась в партизанах. Вместе с Алесем Адамовичем они делали книгу «...Я из огненной деревни». Тогда во время обеда Иван Антонович что-то излишне разгорячился, и Нина Михайловна одернула его:

— Ты придержи себя, Янка, а то Володя опять пистолетом по голове придержит.

И стала мне рассказывать, как Колесник придерживал Брыля, хитровато посматривая на мужа, которому решила подсыпать соли. Ему это совсем не нравилось, но он вынужден был молчать. Колесник, для которого такие перепалки были не впервой, только слегка улыбался.

Брыль был в одной из разведок, которой командовал Колесник. Случилось так, что партизаны неожиданно столкнулись с полицаями. Вспыхнула короткая перестрелка. Вот тогда Колесник и притоптал пистолетом голову Брыля в борозду на картофельном поле со словами: «Не высовывайся, дылда, и без тебя обойдется!» Чтобы «закрыть тему» и перевести разговор на другое, Колесник объяснил, что та перестрелка была формы ради: никто ни из партизан, ни из полицаев не хотел поймать пулю.

Брыль не терпел выпадов в свою сторону, сам он мог довольно остро шутить в компании, но если кто-то пытался хоть слегка задеть его, мог отбрить так, что в другой раз трогать его не хотелось.

— А может, еще не все потеряно. Подождите, я позвоню, — и Кудравец зашел в телефонную будку, набрал номер, потом разговаривал с кем-то по телефону. И по тому, как он вышел с радостно натопыренными усами, мы поняли, что звонил он не напрасно.

— Для нас есть столик в ресторане гостиницы «Турист».

— Ну вот, как говорил мой Летчик, не на того, стерва, наскочила, — весело прокомментировал сообщение Брыль словами героя своей повести «Ніжнія Байдуны». А мне подумалось, что после публикации повести от прототипов-земляков, ему перепало немало: юмор в повести был не только острый, но и круто посоленый.

Проехать по Партизанскому проспекту за площадь Ванеева — даль небольшая. Да и машина нашлась вскоре. Высадив начальника возле Минского обкома партии, через несколько минут возле нас шофер притормозил служебную «Волгу». Оказалось, что Анатолию Павловичу приходилось бывать в том ресторане, и он на всякий случай, познакомившись с официантом, записал телефон.

Официант встретил нас, разместил за столиком, принял заказ, и мы вскоре после первой рюмки уже весело вспоминали свое турне по центру Минска и «восхищались» согласованной работой городского треста ресторанов и столовых. Добавила нам настроения и неожиданная встреча. Мы увидели на проходе между столиков одного нашего уважаемого литературоведа. Он был белозубо улыбчивый, в костюме, при галстуке. А рядом с ним статная, в белом костюме, на много моложе его дама в белом костюме и с букетом цветов в руках. Явно заочница. Знакомый увидел нас. Улыбка застыла, и без того всегда красненькое его лицо налилось густой краской. Ну, встретиться с нами для него было бы ничего, но — Брыль... Литературовед поздоровался легким кивком головы и направился к своему столику, радуясь, что он вдалеке от нашего.

Брыль с подтекстом взглянул на Семашкевича и прокомментировал:

— Вот так, хлопцы, учитесь у старших, а то все по кабинетам запершись.

В том чистеньком ресторане было довольно уютно. А потом, когда начались танцы, Брыль поднял танцевать и Кудравца, и Семашкевича. Рыгор, развеселившись, даже и полечку станцевал. Говорили обо всем и ни о чем, просто приятно было сидеть и разговаривать. Когда начало темнеть, Семашкевич распрощался с нами, сказал, что надо быть дома. Мы его не задерживали, а сами просидели до полуночи.

Когда вышли на улицу, Брыль неожиданно предложил:

— А чего нам лезть в транспорт? Давайте пройдем пешком.

Ночь была теплая, но не душная. Еще не успели раскалиться под солнцем дома и асфальт. Дышалось легко, пахло еще не загрубевшей листвой. Одно только: нам с Кудравцом приходилось прилагать усилия, чтобы не отставать от огромного Брыля. Шли по пустым улицам, разговаривали, шутили. Тогда еще можно было ходить по ночному городу, не боясь ни хулиганья, ни слишком бдительных милицейских патрулей, которые не столько документы проверяют, сколько обнюхивают.

Проводили Брыля к дому и на такси разъехались по домам.

Почему Ивану Антоновичу захотелось тех мужских посиделок известно одному только Богу. Может, разволновало молодое, наполненное жизнью лето, а может, припомнилось, как в свое время они, молодые, счастливые от того, что вернулись с войны живыми, — Шамякин, Кулаковский, Макаенок, Велюгин и другие — могли, собравшись компанией, промальчишничать ночь напролет. Расходясь, выдавали каждому расписку, что такой-сякой провел ночь в компании таких-сяких и свидетельствовали это подписями.

Теперь, когда пишу о нелитературном Брыле, смутно вспоминаю давнишнюю бывшую поездку на Украину. Не помню причины, не помню, кто был из наших, белорусских писателей, не помню украинских. Мы тогда ехали несколько часов ночью по степи и пели. У Брыля был красивый голос, он любил и умел петь песни, знал он их много, своих, белорусских, польских, но больше всего любил украинские.

Необъятная украинская степь, ночь, полная мутно-желтая луна над степью, запах полыни из открытых окон и голос Брыля, который поет казацкую

песню: «...Попереду Дорошенко ведет свое войско, Войско запорожско, ведет хорошенько».

Звучит песня, автобус стремится под вечной луной из одного бытия в другое, а до небытия так еще далеко.

Такой и помню...

Наше знакомство с Евгенией Янищиц произошло теплым ранним майским вечером. Конечно же, я видел ее снимок в газете и читал ту первую публикацию, с которой поэтесса еще школьницей не впорхнула, а влетела в белорусскую поэзию светло и чисто, празднично и талантливо. Потом она стала студенткой, мы мельком виделись в общежитии на бывшей Парковой магистрали, красивой улице с бульваром с плакучими ивами и каштанами. Но по-настоящему познакомились только в тот майский вечер. Начав прогулку от общежития, мы прошли по берегу Свислочи в Купаловский парк. Цвели каштаны, радовала прелесть молодой листвы на деревьях и по-настоящему роскошный ранний вечер. Женя была в легком белом платьице, веселая и неумолкающая. Мы говорили обо всем на свете. Нам было весело от извечной радости, которую дарит человеку весна. Не совсем еще расцветшая красавица, еще по-детски угловатая, Женя светилась внутренней добротой, энергией и открытостью. Мы были молоды, уверены в счастливой жизни, которая только начиналась, в том числе и литературной.

Молодость всегда без оглядки радуется и доверяет жизни:

Будуць вёсны і пралескі,
Будзе радасць і туга,
Адцвіце вясна на ўзлеску,
Пабяжыць за сіні гай.
І хваёваю ігліцай
Адзавецца лета звон.
Толькі мне не паўтарыцца
Ні вясною, ні зімой.
Столькі думак самых шчырых!
Светлы шлях мне пажадай.
Заўтра будзе гулкі вырай
І бясхмарны небакрай.
Будзе лета з навальніцай
І вясёлка над ракой.
Толькі мне не паўтарыцца
А не летам, ні зімой.

И за этим «не повториться» вся молодая самоуверенность в своей вечности и бесконечности.

Литературная судьба Евгении Янищиц складывалась ровно и успешно, может даже показаться, что сама по себе. Но надо помнить, сколько пришедших в литературу на первом легком дыхании так и зачахли в самоповторениях о подснежниках, первой влюбленности и ожидании счастья, о прелести родных мест или в описании на разные лады народных танцев под чарку, веселых частушек и наигранной счастливости и удальства.

Янищиц, возможно, интуитивно идя на зов своего таланта, не задержалась в этом первом, легком и приятном периоде своего творчества. И начала с высоких поэтических небес спускаться, приближаться к реальности, к земле. Это тоже опасно: о землю можно разбиться, если будет утрачено чувство меры. Но еще страшнее и губительнее совсем потерять с ней связь.

И не только природа, ее красота, неповторимость молодых переживаний волнуют поэтессу. В поэзию Евгении Янищиц начинает входить жизнь простого человека, сложность и неоднозначность человеческой жизни, которая не обходится без трагедий.

Уже вторая книга стихов «Ясельда» обозначила новые заботы поэтессы. Ее интересует жизнь земляков, к примеру, такого примечательного человека, как Роман Скирмунт со всей значимостью и трагедийностью судьбы, и память последней войны, и искалеченные человеческие судьбы:

Ёсць мудрае, адзінае жаданне
Дарэшты зразумець, чаму з вякоў
Нам раніць сэрца кожнае вяртанне
І кожнае шчаслівае спатканне
Не ўмясціць у рамкі гучных слоў.

Да и названия стихов свидетельствуют о дальнейших ориентирах творчества: «Балада вернасці», «Бацькоўская дарога», «Абеліскі» с посвящением Василю Быкову. Пишется поэма «Ягадны хутар». Для поэмы мало только лирического чувства, она предполагает и эпичность. На опыте жизни народа поэтесса начинает выверять свой дальнейший поэтический путь. Евгения Янищиц обращается к матери:

Ты вучыла мяне сеяць жыта і лён,
І цярплівасці вечнай — у голас не плакаць.
Апынуся калі сярод чорных варон, —
Я памру, ды не буду па іхняму каркаць.
....
Мама, сею не жыта я, сею не лён,
Але з жыта і лёну я словы складаю.
І калі ўглядаюся ў парасткі дзён —
Чую крокі твае. І свае выўяраю.

Поэтесса, конечно же, продолжает писать лирику человеческих чувств, с естественным желанием счастья и радости в обыденной человеческой жизни, в гармонии с вечной красотой природы, которую чувствовала тонко и писать о которой умела:

Цяплейшых промняў сонечныя стужкі
Ужо ў стажкі прыбрала сенажаць.
Вось сумна парассыпаліся птушкі,
І усе яны нанова празвіняць.
....
Як глянь: бярозы свечкамі
Нязменлівым святлом —
Над перакатнай рэчкаю,
Над ціхім азярцом.

Наступает пора поэтической зрелости, обостряется чувство ответственности за написанное. Вот ее автографы на книгах, подаренных мне, свидетельствующие о взрослении, если можно так сказать, поэтессы: «Алесь, хай не мялеюць родныя берагі!» — легко, словно мимоходом. «Алесь, хай застаюцца кладкі сяброўства, а ўсё астатняе — ліха на яго! Хай творыцца!!!» — немного раздумчиво и даже установочно. А потом и название книги — «Пара любові і жалю». Книга отмечена Государственной премией БССР. Евгения Янищиц участвует в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Но неудачно складывается ее личная жизнь. Поэтесса одна растит сына, постоянно много пишет, даже одержимо.

Временами она звонила мне: «Приходи, я хочу прочитать тебе новые стихи». Читала стихи она, устроившись с ногами на диване. Брала из стопки листок и после прочтения отпускала его с руки на ковер. И понемногу ковер устилался белыми листками. Я смотрел на нее и думал, что она теперь не в этой большой, немного сумрачной комнате, а где-то далеко и высоко, в только ей доступном мире поэзии, и не просто произносит слова, а дышит ими. Думалось, что такому одержимому человеку тяжело возвращаться с тех высот в повседневность жизни. Как это тяжело: соединить жажду творчества и жажду простого человеческого счастья, и возможно ли такое. А счастья хотелось, и, может, поэтому у нее с отчаянием вырывалось: «Почему меня никто не любит?» И на глаза набегали слезы. И тогда было все не мило. Но она умела гасить прилюдно прорвавшееся чувство, рукой словно смахивала его с лица, прятала за сигаретным дымком заплаканные глаза и пыталась улыбнуться. Что поделаешь, если небо с тобой делится секретами и сам Блок читает тебе свои стихи?

Падсінена гара аблок
Вясёлай песняй крыгалому.
Мне чытае вершы Блок,
Забыўшыся на час і стому.
……………………………
Трывожыць сэрца мне штодня
Усмешка, спеў ягоны, гора,
І ноч бяссонных глыбіня,
І за спіной каменны горад.

Праз Боблава, як скончыць ён,
Дарогі вытчацца аснова,
Дзе зліты ў вечны перазвон
Час і Душа, Душа і Слова.

Как осмыслить человека во времени и пространстве со всем счастьем и трагизмом краткости человеческой жизни в сравнении с вечностью? Поэт не может не стремиться в космос человека, как и человечество не может не стремиться постичь звездный Космос. Чего бы это стремление ни стоило.

Вось так узгараецца слова:
Паблізу. Сардэчна. Здаля.
Мы будзем з табою часова —

Праменьчык,
Іскрынка,
Ралля.

Спяшаемся часта дарэмна.
Марудзім на пошасць і зло.
Мы будзем з табою ўзаемна —
Каліна,
Слязіна,
Святло.

Глядзі, як заранка трапеча
Над шапкай зялёнай галля!
Мы будзем з табою навечна —
Карэньчык,
Каменьчык,
Зямля.

Таким вот знаковым стихотворением оканчивается томик избранного Евгении Янищиц, еще прижизненный, подытоживший сделанное в поэзии за двадцать пять лет. Это было подытоживание сделанного, а не самой жизни.

В ту глухую пору листопада, говоря словами Бориса Пастернака, когда в небе последних гусей косяки, Женя в конце дня забежала ко мне в кабинет в Доме литераторов. В хорошем настроении, вся стремительная, веселая. Пошутила, что я погряз в чиновнической работе. Предупредила, что на днях пригласит к себе, что в компании друзей отметим ее прошедший сороковой день рождения, и посмотрим ее новую квартиру на восьмом этаже в элитном доме, с которой открывается прекрасный вид на Свислочь. И стремительно, взвихренно исчезла из кабинета.

И в кошмарном сне мне не могло привидеться, что через пару дней в том же кабинете под приспешивающие звонки из ЦК буду писать некролог по ней, по Жене, по Евгении Янищиц:

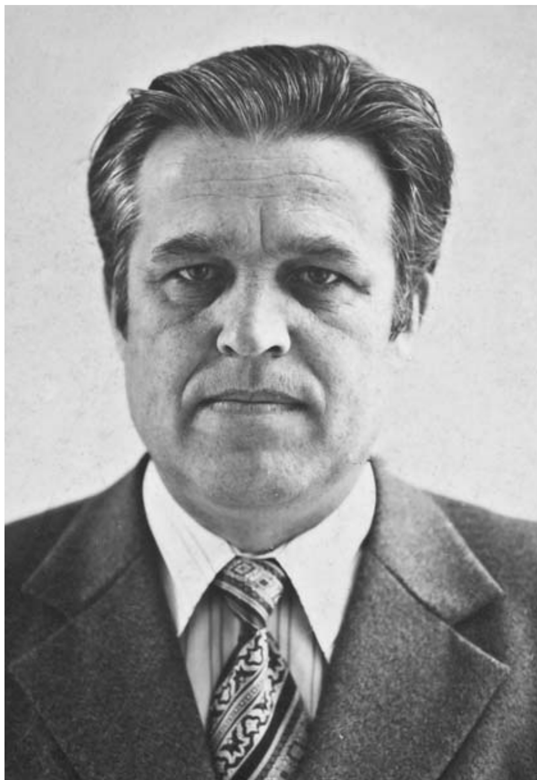
Запамятай такою, як была,
Здзірала як нясцерпныя кляйноты.
Смяюцца вочы, поўныя святла.
А на губах — гарчавінка самоты.

Но через годы она вспоминается мне, прежде всего, с белыми листиками стихов, и то, как легко они слетают у нее с руки. В жизнь. В вечность. А сама она уже недостижимо высоко и далеко. И мне, земному человеку, доселе больно и будет больно оттого, что она там, а не здесь, на этой грешной и любимой земле.

Написанное остается жить

Теплая затяжная осень на прощание подарила солнечный, ласковый день, не последний ли перед грядущими дождями, когда загуляют холодные ветра, которые отряхнут на землю отяжелевшую листву. И от былой осенней красоты останутся только набухшие влагой ветви, густой сделается зелень сосняка и сумрачными станут ели.

А пока было солнечно, казалось, небо стало выше от солнечности и еще радовала молодой свежестью озимь на небольшом поле, окруженном лесом. В конце его стояли в солнечном свете березы, и было видно, как над ними взлетела стайка тетеревов и разместилась на деревьях, чернея черными комами.



Под соснами, на другом конце поля, у больших камней, горел костер. Пахло прогретой боровой сосной, а из леса веяло влажной грибной сыростью.

Тут, под одной из сосен его ожидала грибная удача: самый настоящий, крепкий боровик, запах которого кружил голову. Удача улыбнулась ему, грибнику и огнепоклоннику, потому приятно было сидеть на теплом камне, смотреть на озимь, чувствовать лицом и руками солнечное тепло и, возможно, думать о книге, которая писалась уже в голове, о книге воспоминаний, немного грустной, с горчинкой боли по уже ушедшим из жизни друзьям, да и об уходящем празднике жизни.

Все, написанное Валентином Блакитом, — художественное отображение мира, прожитого и пережитого, в нем личный жизненный опыт, время в десятки лет, которые уже видятся как история, на которую мы смотрим уже другими глазами и к пониманию которой подходим с новыми мерками. Это касается, прежде всего, социально-политических реалий, острых проблем и коллизий недавнего минувшего, которые присутствуют в повестях Валентина Блакита. Но, как и у каждого настоящего писателя, они, эти проблемы и коллизии, — только фон, делающий подсветку вечным и неисчерпаемым жизненным темам — жизни и смерти, добра и зла, любви и долга, человеческой доброты и чести, духовного наследия и ответственности за прошедшее, темам, которые стремится постичь, понять каждое поколение, и добавить ко всему что-то свое, неповторимое. Это всегда было главным в настоящей литературе.

Почти все написанное Валентином Блакитом без натяжек соответствует этим критериям. По непонятным причинам (есть тут доля вины и самого автора) повести не переиздавались более двух десятилетий, и потому для молодых читателей творчество Валентина Блакита оказалось терра-инкогнито. Издание книги писателя для большинства читателей стало бы новым открытием автора, его повестей, населенных активными героями, которые ищут истину, постигают сущность бытия, утверждают человеческое достоинство, справедливость и другие моральные ценности. Даются эти поиски зачастую нелегко и непросто, с издержками и потерями. Но на фоне сегодняшней заполоненности книжного рынка чтивом, криминальщиной, активные по своей жизненной позиции, глубоко моральные произведения Валентина Блакита были бы отнюдь не лишними. В свое время один из российских критиков (почти все повести Блакита были переведены на русский язык и изданы в московских издательствах) причислял их к той литературе, которая готовила перестройку в сознании людей, а воспитательный потенциал художественной литературы, как правило, никогда не ограничивается одним поколением.

Родился Валентин Блакит (Валентин Владимирович Болтач) седьмого октября 1938 года в деревне Вострово Щучинского района Гродненской области.

После окончания Скидельской средней школы работал литсотрудником щучинской районной газеты, потом служил в армии, после демобилизации окончил Белорусский государственный университет, работал в Щучинской, Желудокской, Вороновской районных газетах, собственным корреспондентом «Гродненской правды». Потом была партийная работа в Гродненском обкоме партии, учеба в ВПШ при ЦК КПСС, работе в ЦК КПБ, где он заведовал сектором радио и телевидения, а с 1987 года был главным редактором журнала «Вожык», потом заместителем главного редактора журнала «Нёман».

Писать Валентин Блакит начал рано, еще школьником. Его стихи и заметки печатались в районой и областной печати, первый рассказ появился на страницах журнала «Вожык», в его библиотечке была издана и первая книга юмористических рассказов «Вынаходнік».

Повесть «Час прылёту жураўлёў» была первой пробой пера в жанре серьезной прозы. Как вспоминал потом автор, желание написать что-то, чтобы «засветить» такое явление, о котором не любили в то время говорить вслух, как коррупция, назревала у автора давно. Но писать об этом было подкопом под один из краеугольных постулатов идеологии: все плохое в нашей жизни не более чем пережитки, родимые пятна проклятого прошлого, а социализм может генерировать только положительное и прогрессивное. Замысел реализовывался через тех, кто непосредственно по долгу службы должен был выступить на борьбу со злом. Поэтому героями стали лейтенант милиции и молодая тележурналистка, немного наивные, однако способные на поступки.

Пожалуй, автор понимал, что вместе со своими молодыми и наивными героями и сам впадает в иллюзию, поскольку видел, что социально-политическая погода делается не романтиками-одиночками, их конфликты с местными властями будут еще долго оставаться на периферии реального общественно-политического бытия. В следующей своей повести «Адчай» автор по сути развивает ту же тему, но уже на другом уровне, в другом измерении, более серьезно и основательно. На первый взгляд, локальный конфликт между директором крупного предприятия, считай, уже Героем Социалистического Труда и секретарем парткома переходит в обкомовские, министерские кабинеты, перерастает по существу в противостояние двух стилей, методов руководства — авторитарного и коллегиального. В его орбиту втягиваются и такие серьезные на то время учреждения как партком, горком, обком партии и даже союзные министерства, и, конечно же, трудовой коллектив. Но повесть только с большими оговорками можно отнести к так называемым производственным романам. В повести, на первый взгляд, производственный конфликт между главными героями переходит из производственной сферы в морально-психологическую.

Достоинством «Адчаю» являются не только рельефно выписанные характеры, живые реальные люди со всеми своими слабостями, но и неподвластная времени проблематика и морально-этического, и социально-политического плана. В повести есть и неожиданности, например, то, что непривлекательно изображен партийный функционер высокого ранга. Даже удивительно, что повесть увидела свет, тогда еще на это было жесткое табу.

После первых двух повестей можно было судить, что автор определился с проблематикой своих творческих интересов окончательно, в центре их — мало исследованная белорусской литературой тема человека и власти. Однако следующая повесть «Вяселле ў Беражках» и по тематике, и по стилистической пластике разительно отличается от предыдущих. В ней отсутствуют общественные проблемы. В центре повести — любовь, точнее, испытание любовью. Писателя влекут размышления над жизнью, стремление постигать внутренний мир человека. Он обращается к истокам, к деревне, откуда все мы родом, и действие переносится в деревню. Писатель работает над стилистикой, совершенствует мастерство, расширяет горизонты видения и постижения окружающего мира.

«Дзень быў ціхі і хмуры. З самага ранку вісела беспрасветна-шэрая, нудная смуга. Такая смуга бывае хіба толькі глыбокай восенню. І каб не сярэдзіна студзеня і не ўляжалы снег пад нагамі, можна было б падумаць, што на дварэ яшчэ канае — сканаць ніяк не можа — сыры азызлы лістапад. Але к абеду ўзяўся парывісты сярдзіты сіберны ветрык, і неўзабаве разгуляўся, завіхурыў снег, дробны, спорны — за два крокі нічога не разгледзіш.

Гадзіны дзве вар'яцела снежнае пекла, пра якое кажуць: ваўкалак з вядзьмяркаю жэняцца. А потым нечакана ўсё аціхла. Нізкія хмары сталі выцягвацца, утвараючы бледна-сінія прагаліны, неўзабаве засталіся ўжо не хмары, а толькі іхнія ашмоткі — фіялетавыя, з рудымі грывамі, а праз нейкую гадзіну неба зусім ачысцілася, быццам хацела выставіць напаказ, як за лес садзіцца расчырванелае ад холаду сонца».

На этом фоне разворачивается несложный сюжет повести. В деревне идет свадьба. Бывшие сельские, потом городские, любили поначалу играть свадьбы в деревне. Но с самого начала возникает ощущение, что что-то не залаживается в этой свадьбе, деревня не принимает ее, потому все усилия свата не придают веселья действию. Это чувствуют все, в том числе и жених, и начинает уже раскаиваться, что согласился играть свадьбу в деревне, да и родители его были категорически против.

Дело в том, что Михась несколько лет назад уже женился. А еще раньше должна была выйти замуж и Люба. Но вместо свадьбы состоялись похороны — перед свадьбой трагически погиб ее жених Виктор. А теперь, когда Михась разошелся с женой после того, как она стала инвалидом после аварии, они сошлись с Любой, и даже свадьбу наперекор всему и всем решили сыграть все-таки в деревне. И во время свадьбы им приходится возвращаться в прошлое, пытаясь вычеркнуть его из памяти...

Сначала не выдерживает Люба. Она сбегает со свадьбы, ночью идет на кладбище на могилу Виктора и оставляет на ней фату, уходит к шоссе, чтобы на попутной добраться до города. Михась пытается догнать невесту, но по мере удаления от деревни, начинает сомневаться, надо ли это делать...

От произведения к произведению растет мастерство писателя. Если в «Вяселлі ў Беражках» он демонстрирует умение точно и тонко выписывать психологические состояния героев, умение показать жизнь в столкновении противоречий и таким образом подводит читателя к размышлениям, то следующую повесть «Шануй імя сваё», отличает пластичность письма, точность фразы и слова. Материал этой повести и по тематике, и по социально-моральной проблематике близок автору. Его, уже горожанина в первом поколении, волнуют и вызывают его тревогу процессы в деревне, которые приводят к потере традиционных крестьянских ценностей. Внешне действие повести разворачивается вокруг объединения двух хозяйств в одно, а по существу, конфликт здесь не в производственной тематике, а в морально-этической. А именно: между разными подходами к извечному хлеборобскому делу, об отношении к земле-кормилице. С одной стороны — современный прагматик, не чуждый желания сделать карьеру, а с другой — настоящий хозяин, которого волнует не только взяток с земли, но и ее судьба. «Што такое зямля? Сродак вытворчасці! Як станок, канвеерная лінія — і не болей. Усё астатняе — пустая беспадстаўная балбатня інтэлігенцікаў ды дрымучыя прымхі, забабоны патрыярхальных мужычкоў». Это с одной стороны, с другой — отношение к земле как к извечной ценности, принадлежащей не только нынешнему, но и будущим поколениям. Поднятые в повести вопросы — и прагматические, и нравственные — и сегодня не теряют своей актуальности. Повесть написана живым, сочным языком, есть в ней и улыбка, и ирония, и меткие народные изречения. После прочтения ее с читателем остается то, что и хотел донести писатель о человеке: его исконность хозяина на земле, который знает цену себе.

Следующая повесть Валентина Блакита «Усмешка Фартуны» отличается от предыдущих и стилистикой, и новыми персонажами. В центре внимания — спо-

собный деревенский парень Андрей Черепица. Чтобы «зацепиться» за работу в городе, он женится «на прописке», по требованию тестя-самодура меняет и фамилию на Бесскудникова, не понимая, что тем самым добровольно становится и «графом Поскудниковым».

В статье-обзоре прозы начала восьмидесятых «Диалектика души и духовность» вдумчивый русский критик Галина Егоренкова выделяла эту повесть особо, отмечая «пристальный психологический анализ в «Улыбке Фортуны» В. Блакита имеет своей эстетической целью разоблачение моральной деградации и опошления человеческой души». Деградация и опошление души героя, конечно же, начались не с женитьбы «на прописке», даже не с измены своему роду-племени. Скорее всего, это закономерный и логический результат. Моральную деградацию автор прослеживает со школьных лет, с захваливания «юного гения». Подобные на доносы его писания оттолкнули от него школьных товарищей, а духовная изоляция укрепила в нем уверенность в собственной избранности и исключительности. А дальше потянулась цепочка мелких и немелких гадостей при игнорировании элементарных норм приличия и совестливости во время работы в районной газете, учебы в университете, измена любимой девушке, подножка грязной анонимкой талантливому сопернику на должность и т. д.

И вот, припоминая свою еще недлинную, но насыщенную, как он считает, незаслуженными обидами жизнь, Андрей причисляет себя к «Гулливерам духа», которых губит серость и посредственность, которая, по его соображениям, заполонила все журналы, газеты, издательства. Именно их Андрей винит в своих неудачах в творческой и личной судьбе, он уже не способен понять, что причина кроется в нем самом. Тяжелый крест слепоты, проклятие сна души. Совесть в герое так и не просыпается, а это в моральном плане еще страшнее, чем физическая смерть. Нельзя не согласиться с Егоренковой и в том, что «Усмешку Фартуны» ни в коем случае нельзя воспринимать как повесть только о творческом банкротстве и загубленном таланте. Содержание ее значительно шире того псевдоэлитарного смысла, который пытается придать своей исповеди Андрей Бесскудников. Надо еще отметить, что писатель выбрал далеко не самую простую форму для «раздевания» современного «Гулливера духа». Ее сложность легко объяснить тем, что сам жизненный прототип, который напяливает на себя тогу непонятого, непризнанного героя, достаточно сложен и до сегодняшнего дня мало освоен нашей литературой.

Как я уже отмечал, каждая новая повесть по стилистике, художественным приемам, тематике и проблематике не повторяет предыдущие. Писатель неуклонно поднимается на новый уровень эстетического осмысления и художественного воплощения задуманного. Автор все шире и совершеннее берет на вооружение художественное обобщение, символику. Это есть уже в «Усмешцы Фартуны», но еще больше в следующей повести «Вырай», которую не щедрый на похвалы Пимен Панченко назвал «настоящей творческой удачей» писателя. Блакит снова обращается к деревне. Но повесть не похожа на написанное раньше. У «Выраі» есть и вчерашняя деревня, и современная Блакиту, которая тоже уходит в небытие, как Атлантида, уходит с каждым человеком. Если можно так сказать, то повесть — своеобразный пронзительный реквием по уходящей белорусской деревне.

«Вясною, як толькі пачынаецца цяпло, Антось вяртаецца дадому. Угледзеўшы на вуліцы яго маленькую жвавую фігурку, абвешаную клункамі, вяскоўцы лагодна і жартаўліва ўсміхаліся:

— Ну во, і Антось прыляцеў з выраю...

Ён і ўзапраўду нечым падобны на стомленага настальгіяй і доўгім пералётам старога бусла».

В этих нескольких предложениях писатель с первых абзацев повести очерчивает образ своего героя, приоткрывает его сущность. На долю Антося и его

поколения выпали неимоверно тяжелые испытания. Герой прошел и польскую дефензиву, и гестапо, и сталинский ГУЛАГ, куда попал по глупости из-за своей любви к Сталину. Всю жизнь он занимался крестьянским трудом, вырастил четверых детей, которые разлетелись по миру и, к большой обиде Антося, не собирались возвращаться домой.

Вскоре Антось уходит навсегда, на деревенское кладбище, и хорошо, что ему не дано увидеть, как делят его скарб наследники, как из меркантильных интересов спиливают вековую липу, на которой гнездились аисты — живой символ деревни.

«Буслы кружылі і кружылі ў сваім рытуальным карагодзе, бласлаўляючы зямлю, што плыла пад іхнімі крыламі. Толькі чатыры буслы — два старыя і два маладыя — паводзілі сябе неяк нязвыкла. Яны ні з таго ні з сяго пікіравалі над вёскай, скіроўваючыся на Антосеву сядзібу, садзіліся на Антосеву страху, затрывожана глядзелі на паваленую ліпу, на разбураную буслянку. Рэзкімі ўзмахамі крыл узляталі ізноў, набіралі вышыню, далучаліся да суродзічаў, і трывога перадавалася ўсёй чарадзе. Сваімі зоркімі позіркамі буслы бачылі, трывожыліся, што згублены нейкі важны арыенцір на шляху, па якім вясною давядзецца вяртацца да роднае зямлі, да родных вытокаў».

Повесть «Вяртанне на Саарэма», которая появилась после многолетнего молчания писателя, отличается от предыдущих тем, что написана в жанре так называемой лирической или свободной прозы, в которой отсутствует сюжет.

«Шмат што хочацца прыгадаць, узнікае жаданне нешта прыхарошыць, нечаму знайсці апраўданне. Але яно не хоча выкрэслівацца, прыўкрашваецца, шчымліва жыве ў душы, вяртаецца ў снах, пракручваецца ў памяці «карцінкамі», ды такімі яркімі, аб'ёмнымі, што праз столькі год яскрава, бы жывыя, стаяць перад вачамі, а ў вушах гучаць галасы, якія беспамылкова пазнаў бы ў невядома якім шматгалоссі».

И текут неторопливые воспоминания белорусского хлопца о своей пограничной службе на эстонском острове Саарема в конце пятидесятых годов. Конечно же, он помнит и рутину казарменщины, когда по тревоге среди ночи поднималось подразделение, чтобы похоронить окурок, брошенный на территории. Но более всего в воспоминаниях — судьба эстонцев, точнее, эстонок, которые остались в деревнях, когда практически все мужское население даже в детском возрасте после десятилетнего вооруженного сопротивления ушло на шведский остров Готланд.

Герой повести — командир прожекторного расчета, который состоит из пяти человек разных национальностей, несет службу в одной из эстонских деревень, вдали от погранзаставы, ежедневно видит нелепость ограничений для местного населения, которое, живя на самом берегу, не имеет права даже приблизиться к морю. И отношение к военным соответствующее: они для местных оккупанты, о чем те открыто говорят в глаза.

Но жизнь берет свое и, несмотря на строгие запреты начальства, молодые ребята в форме и эстонские девушки не могут не сближаться. Да и сам командир-коммунист на свой страх и риск игнорирует приказы и инструкции, делает послабления местным, сближается с эстонской девушкой Айной и готов даже взять ее в жены...

Служба оканчивается, в прошлом остается пронизанный соленоватыми морскими ветрами кусочек земли в неласковой Балтике, и ребята-сослуживцы, и эстонские девушки, и старый русский интеллигент, так называемый белогвардеец, который в тоске доживает жизнь, имея богатую библиотеку с запрещенными тогда книгами Есенина, Белого, Бунина, Клюева, Северянина, на которых есть и автографы ему... И те давние события встают с проекцией на день сегодняшний, на нашу сегодняшнюю жизнь, которую человеку надо уметь прожить так, чтобы открыто смотреть людям в глаза, и «удержать лицо перед Господом», когда придет время умирать.

Василь Быков во вступительном слове к деревенским повестям Блакита, издававшихся в Москве, писал: «В прозе Валентина Блакита, кроме знания жизненных конфликтов, подкупает аналитическое начало, точно обозначенное, непредвзятое отношение к литературным персонажам, когда каждого из них автор стремится показать изнутри, разобраться в диалектике его характера. Само собой, что в каждом отдельном случае это получается неодинаково: иногда с большим или меньшим успехом, тем не менее читатель найдет интересные образы и молодых людей, и людей более пожилого возраста, созданные на основе авторского понимания жизни и многолетних наблюдений над жизнью деревни. Этот реализм в создании жизненно емких образов вместе со значительностью проблематики повестей Валентина Блакита делают их актуальными в белорусской литературе».

От себя добавлю, что эти оценки отнюдь не устарели, а произведения писателя несут в себе большой потенциал доброты и гуманизма и — хочется верить — будут еще серьезно прочитаны критикой.

Свидетельство тому — последняя книга воспоминаний Валентина Блакита, опубликованная «Дзеясловам», корректуру которой он успел еще прочесть.

Не думалось ему в ту нашу грибную поездку, что это в предчувствии беды осень показала ему теплый и ласковый день. Поездок в принеманские леса больше не будет. Будет безжалостная болезнь, которая сожжет его буквально за три месяца. Единственным шансом была операция, и он шел на нее с уверенностью, что прорвется, но на всякий случай во вступительном слове к книге воспоминаний написал такие пронзительные слова: «...шчыра прабачаюся перад усімі, да каго калісьці быў несправядлівы, каму прычыніў боль. Паверце, тое было альбо па неразуменні, альбо па глупству».

Сегодня эти слова Валентина Блакита звучат как прощание писателя с жизнью, продолжение которой он оставил в своих произведениях.

Старик в Королищевичском лесу

Этот бывший Дом творчества писателей, наверное, заслуживает своей книги и своего исследователя. Писателям он достался, можно сказать, случайно. Построенный пленными немцами как загородный охотничий домик, он бы им и остался, если бы не оказался в опале тогдашний Председатель Президиума Верховного Совета БССР Никифор Наталевич, поговаривали, что из-за того, что его дочь вышла замуж за попа.

В те послевоенные годы тогда еще немногочисленному Союзу писателей это был настоящий подарок. Летом в Дом творчества «Королищевичи» можно было приехать с детьми, да и разворотливые деятели литфонда добывали для постояльцев и бочонок селедки, и даже кабанчика могли приобрести в соседнем колхозе. Мои ровесники и теперь с благодарностью вспоминают Королищевичи, где на поляне под соснами по вечерам любил разводить костер Михась Лыньков и угощал детвору конфетами. Приезжал в Королищевичи поработать и Якуб Колас. Во время моего первого посещения Королищевич об этом свидетельствовала мемориальная доска на здании и скамеечка под старой елью, где Колас любил посидеть.

Этот Дом творчества считался сезонным, небольшим, где-то на двадцать постояльцев. На лето туда можно было приезжать с детворой. Уже в лучшие свои времена на территории Королищевич было построено несколько летних финских домиков, и туда на лето бывшие первые постояльцы, теперь уже в ранге дедушек и бабушек, могли приехать со своими внуками. Была построена хорошая банька, куда ездили из Минска попариться писатели.

К тому времени Союз писателей СССР уже имел Дома творчества в Гаграх, в Дуболтах, в Коктебеле, в Пицунде. Но после летнего, «детского» периода, в Королищевичи ехали писатели постарше поработать.

Я не был завсегдатаем Королищевич, но и в редкие свои приезды помню там Вячеслава Адамчика, когда он писал «Чужую бацькаўшчыну», важно прохаживающихся по тропинкам Нила Гилевича и Сергея Граховского, Пилипа Пестрака, Анатоля Астрейку, Рыгора Нехая, Рыгора Березкина... Всех по памяти уже трудно перечесть.

В Королищевичи я старался вырваться хотя бы на недельку где-то в конце февраля, чтобы походить на лыжах. Дело в том, что еще в молодости я однажды попал на лыжню вместе с Миколой Лобаном, Сергеем Граховским, Геннадием Буравкиным. В Доме творчества в то время имелся свой лыжный «парк» и была традиция ходить на лыжах. Традиция потихоньку ушла, не стало лыж, но благодаря спортивным Стайкам по всему Королищевичскому лесу были накатаны чудесные лыжни.

Что может сравниться с красотой зимнего леса под светом луны, с опушенными инеем деревьями! И со спусками с довольно крутых пригорков, и с неуютным сумраком под кронами густых ельников! И все это в ночной лесной тишине! В том лесу остались самые лучшие лыжни, которые я знал в своей жизни.

Потом построили новый комфортабельный Дом творчества «Ислочь», содержать старые Королищевичи не видели смысла. И я попал туда не в последний ли год их существования. К тому времени ушли из Стаек в Раубичи спортсмены, и в лесу не стало лыжни. Несколько человек обслуги и столько же нас, постояльцев, в основном стариков. И среди них неожиданно для меня — человек-легенда Микола Улащик. Из Москвы и в этом лесу, в запустевающем Доме творчества... Уходящие Королищевичи сделали мне прощальный подарок: знакомство с Николаем Николаевичем.

Еще студентами мы слышали, что в Москве, в Институте истории СССР АН СССР работает доктор наук, член Археографической комиссии АН СССР Микола Улащик. И занимается он историей Белоруссии, о которой в советских учебниках ничего не говорилось. И именно он был составителем и редактором 32 и 35 томов «Полного собрания русских летописей», в этих томах были собраны собственно белорусские летописи. Можно было только мечтать посмотреть и прочитать их.

В первые дни я пытался проторить хотя бы небольшую лыжню в сторону Стаек по твердому, слежавшемуся снегу, но лыжня не получалась, да и кто-то начал осваивать проложенный мною след как тропинку. Потом я увидел и самого человека, которого привлекла выбранная мной просека. Рослый, широкий в кости, в черном пальто, со сцепленными за спиной руками он

шел ровно, размеренно, так, чтобы можно было идти долго и не уставать, чтобы можно было размышлять. Я заметил Николая Николаевича раньше, что-то подсказало мне, что не нужно тревожить его, и я сошел в сторону за молоденькие елочки. Я и после не тревожил его на нашей совместной тропинке-лыжне, по ней он прогуливался один. А познакомившись поближе, когда у Николая Николаевича было настроение на совместную прогулку, мы ходили к дороге и вдоль дороги.

На мой вопрос, что загнало его в этот не совсем комфортный лес, он охотно объяснил, что пишет книгу о своей родной деревне, той, которую помнил он, человек, уже проживший без малого восемьдесят лет, и в лесу ему очень хорошо вспоминается, и он рад, что приехал именно сюда. К этой своей работе он относился очень серьезно.

Я заметил, что Николаю Николаевичу нравилось разговаривать по-белорусски. Проживший почти что всю жизнь в русскоязычной среде, он красиво говорил по-белорусски, не в плане красивости, правильности, а в сущности, естественности речи. Я не знал тогда, что он переводил на белорусский язык рассказы русских писателей, что не просто читал белорусских писателей, но не ленился и писал признательные письма Ивану Мележу, Янке Брылю... Теперь я думаю, что в душе он радовался, что Бог дал и ему дар владеть словом, и что литература манила его. Одним из светлых его воспоминаний было присутствие на встрече молодых писателей с Янкой Купалой. Он гордился, что был учеником самого Владимира Ивановича Пичеты. Благодарный ученик собрал книгу работ В. Пичеты «Беларусь и Литва в XV—XVI вв.» и издал ее в 1961 году.

Николай Николаевич не любил рассказывать о своих хождениях по мукам, хотя с 1930 по 1955 был трижды репрессирован. Наверное, самым больным для него было то, что система так и не позволила ему вернуться на родину.

Уже став именитым ученым, признанным российскими коллегами, он пытался вернуться на Родину. Но в АН БССР его так и не пустили. Хотя за Николая Николаевича ходатайствовали такие влиятельные люди, как Петрусь Бровка, Гавриил Иванович Горецкий. На его стороне был и такой могущественный в те времена президент АН СССР: обещал из центра выделить дополнительную ставку, решить квартирный вопрос. Не помогло. Хотя та репрессивная система была уже, казалось, окончательно сломлена. Помешали оставшиеся «винтики»? Или чьи-то личные интересы и антипатии? Но Николай Николаевич продолжал упорно возвращаться на родину своими трудами. За год до смерти он издает книгу «Введение в изучение белорусско-литовского летописания», где основательность, богатство фактического материала сочетаются с литературностью и доходчивостью изложения.

Следующей важной своей работой он считал написание книги «Была такая деревня», книги не чисто научной, скорее всего краеведческой, в которой он мог реализовать и свой исследовательский опыт ученого, и свои литературные возможности на родном языке. Он и начинал с краеведения. Николай Николаевич как-то молодо, с юмором рассказывал мне, как студентом отправлялся в краеведческие путешествия по Туровскому и Слуцкому Полесью, как деревенская детвора, увидев пропыленного, патлатого, черноволосого человека убегала прочь с криком: «Цыган идет!»

Он был уверен, что память об изначальном, глубинном в судьбе и народа, и человека — основополагающая для будущего.

Во время прогулок Николай Николаевич не просто рассказывал, о чем пишет, но и расспрашивал, как у меня на родине, на Слутчине, назывались те или иные предметы деревенского быта, орудия труда, детали деревенской телеги, конской сбруи и всего-всего, что составляло деревенскую повседневность. И я, человек тогда еще довольно молодой, оказалось, уже забыл многое из того, что окружало меня в детстве — такова неумолимость времени, стре-

мительность перемен, происходящих в жизни, и такова ненадежность памяти. И тогда я подумал, что написание книги для Николая Николаевича — это упорное возвращение его на родину, домой. И теперь я вижу, как он упорно идет и идет в том Королищевичском лесу на родину, домой, работая над книгой о родной деревне.

И подумать было невозможно, что возвращение произойдет так скоро и так печально, уже в следующем году. И что неизвестно куда исчезнет белорусский текст рукописи его последней книги, останется только подготовленный еще им самим перевод на русский язык. Книга будет издана в Минске в 1989 году на белорусском языке. Перевод сделает Владимир Орлов.

А сам Николай Николаевич все-таки вернется на родину, уже чтобы только почить в родной земле. В Минске, на Чижовском кладбище. На надмогильном камне — слова любимого им Купалы:

«Мне сняцца сны аб Беларусі».

Перевод с белорусского автора.

ТАТЬЯНА ОРЛОВА

Безумцам сопутствует удача

Говорят, если появилось желание писать воспоминания, значит, наступила старость. Совсем не хочется сравнивать прошлое и настоящее, ностальгировать по ушедшему и признаваться в том, что твое отражение в зеркале мало напоминает романтическую девушку с толстой длинной косой. Хочется рассказать о тех исчезнувших из нашей жизни мелочах, которые доставляли радость и позволяли с улыбкой относиться к несовершенствам быта. Ведь было что-то, заставлявшее забыть об отсутствии комфорта. Откуда она бралась, эта нечаянная радость?

* * *

Впервые я оказалась в Минске в 1948 году. Запомнилось здание оперного театра и Дом офицеров. Чудом уцелевшие в войну, они парили над развалинами города. Между ними — сплошные картофельные поля...

Пленные немцы строили одинаковые невысокие дома. Немцы были не страшные, доброжелательные и какие-то домашние. С ними можно было разговаривать на нехитром наборе слов. Пробираться на стройку считалось занятием увлекательным.

С младшим братом Валерием я существовала в абсолютно мальчишеской компании. Соответствующими были игры. Мы постоянно строили штабы. Где можно и где нельзя. Можно — на картофельном поле между проспектом и оперным театром. Сейчас здесь парк. Первые деревья сажали мы, будучи студентами университета. Деревья, посаженные нашим журналистским курсом, как раз напротив цирка.

Нельзя было строить штабы в полуразрушенных домах. Опасно. Там всегда что-нибудь обваливалось. Мы построили штаб на площадке пожарной лестницы Театра имени Янки Купалы: раздобыли где-то и приволокли огромный рекламный щит спектакля «Отелло». Наша «стройка» продержалась неразобранной больше года. Почему нас не гоняли, не знаю. Тот пожарный выход исчез во время последней реконструкции театра, а до этого будил воспоминания. Но тогда я только лет через десять узнала, что «Отелло» был спектаклем Государственного русского драматического театра, которым руководил мой отец (народный артист БССР, режиссер, педагог Дмитрий Орлов. — *Е. М.*). Играл шекспировского героя любимец минчан Александр Кистов, позже гремевший на весь Советский союз своим Королем Лиром. Щит мы стащили из двора напротив. Всего-то перешли скверик к Дому офицеров. Там играл Русский театр, дожидаясь своего помещения на нынешней улице Володарского. Но тогда меня мало интересовал театр. Театр с помещением или без него. Поколение было детьми улицы. Было бы смешно печалиться об отсутствии крыши, когда многие из нашей юной компании жили в землянках. Что нам до тех тетей и дядей, которые назывались артистами?

Чины и звания для нас, детей, ничего не значили. Отец играл Ленина в спектакле «Кремлевские куранты». Однажды мы похвастались этим в своей подростковой компании. Никто не поверил. Все были увлечены поисками кладов. В развалинах (особенно запомнился квартал на площади Свободы, теперь там

Девичья футбольная команда. Капитан (с мячом) — Татьяна Орлова. 1949 г.

посольство, костел, картинная галерея) находили гильзы, патроны и очень красивые оплавленные куски стекла. Патроны и гильзы забирали мальчишки. Стекляшки считались драгоценностями наподобие денег и шли для обмена.

Странно сохранившаяся школа (теперь престижная 23-я гимназия) запомнилась бесконечным разучиванием взрослой грустной песни «Эх, дороги...».

Выстрел грянет,
Ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.

Наши «дружки», затаившись, действительно, как неживые, лежали в бурьяне возле картофельного поля, чтобы спереть картошки для костра. Владельцы самовольно захваченных полей могли подстеречь и «дать ремня», а хуже — за ухо притащить к родителям. В эти опасные походы девчонок не брали. Нам оставалось петь про себя «Эх, дороги...». Вот так взрослая песня приобретала шутовской школьный смысл и примиряла нас с необходимостью петь то, чего мы не понимали.

* * *

Второй раз я оказалась в Минске в 1954 году, после окончания московской школы. Приехала, как оказалось, навсегда.

Город изменился, отстроился. Я тоже стала другой. Бесшабашные подростковые приколы не вспоминались. Поступила в Белорусский государственный университет. Студенческая жизнь была наполнена влюбленностями, вечеринками в общежитии, редкими посещениями студенческого кафе «Весна» на проспекте (сегодня там едят суши). Ходили болеть за своих на стадион «Динамо». Звезда журфака, будущий известный кинорежиссер Игорь Добролюбов занимался там марафонской ходьбой. В него были влюблены все наши девчонки — своих однокурсников мы совсем не ценили. Игорь был старше, играл в студенческом театре. Собственно из-за него многие и обратили внимание на этот вид искусства. Как оказалось, до университета про театр никто ничего не знал. А тут еще Александр

Станюта со своей знаменитой мамой — купаловкой Стефанией Михайловной — стал бесплатно проводить однокурсников на спектакли. В благодарность проставлялись дешевым вином — популярным «Осенним букетом», — которое приобретали в гастрономе «под часами» (напротив здания КГБ) или «под шпилем» (напротив сегодняшнего Дома Радио на улице Красной). Второй гастроном считался особенно престижным у журналистской братии. В нем или рядом — на лавочках набережной Свислочи — активно общались будущие острые перья.

То самое пальто из одеяла. 1956 г.

На частых в то время субботниках рьяно озеленяли и чистили город. Кстати, от этого занятия никто не отказывался. Было весело. Все заканчивалось вечеринкой с бурными разговорами. Слово «дискотека» еще не существовало.

Я, москвичка, не стеснялась своих парусиновых босоножек, которые чистились зубным порошком, и первого зимнего пальто, сшитого из трофейного одеяла. Наш староста Вася Тузин, по-моему, вообще все пять студенческих лет проходил в солдатском галифе и сапогах. Модников среди нас не наблюдалось, хотя понятие «стиляга» уже появилось.

Однажды на студенческом вечере по случаю празднования Первого мая я с удивлением увидела однокурсницу из общежития в моем единственном нарядном платье из Москвы. Она успела побывать у меня дома и добыть это понравившееся ей платье враньем и хитростью. Пришлось ей его подарить.

Театральных помещений фактически не было. Спектакли были. Главный молодежный отдых — кино. Популярными считались кинотеатры «Победа» и «Центральный». Все старались купить билеты в последний ряд: там можно было в темноте целоваться. В других местах — ни-ни. Никакого публичного одиночества. В «Центральном» был буфет и зальчик со сценой, где можно было голодным и бездомным студентам посидеть, погреться. Здорово, что этот зальчик с буфетом сохранился после реконструкции. В нем можно посидеть в кафе и не смотреть кино. Уютных мест для дружеских бесед в Минске и сегодня не хватает. Или они слишком дороги. Молодым не по карману. Для старших — слишком шумные. А ведь творческому человеку иногда просто необходимо где-то выпить рюмку водки...

* * *

Взрослое восприятие Минска связано с микрорайонами, съемными квартирами, получением собственного жилья. Я работала в газете «Знамя юности», которая своими многотысячными тиражами была популярна и за пределами Беларуси. Моя однокомнатная квартира на проспекте, в «столбике» возле Дома печати с видом на кинотеатр «Зорька» (теперь это «Октябрь»), стала почти проходным... домом для журналистов моего поколения. Внизу — кафе «Буратино»: поработали, сбегали на чашку кофе, заглянули ко мне «на огонек». Бывало, что заглядывали в мое отсутствие: ключи были доступны всем друзьям.

Дом искусств — маленький особнячок возле Дома офицеров был знаковым местом для всего художественного бомонда Минска. Прекрасная библиотека, уютные фойе, небольшой зрительный зал и множество разнообразных альтернативных официальных мероприятий. Внизу — кафе, прозванное в народе «мутный

глаз». Там можно было поесть и выпить даже «в долг». Бурная жизнь начиналась после окончания спектаклей. Артисты, критики, художники, музыканты шли туда. А сколько прекрасных встреч и разговоров! Очень жалею о потере Дома искусств на горке возле Дома офицеров...

Кинематографисты держались отдельно; у них был Дом кино — Красный костел. Литераторы получили свой Дом литераторов. Новенькое, на зависть всем, огромное здание на улице Фрунзе, со своей поликлиникой и читальным залом, где сплошь белорусские книги с автографами авторов.

Архиерейский особняк и Красный костел пришлось отдать. Думаю, культовые здания должны по праву принадлежать конфессиям. Обеднел, изменился Дом литераторов, непонятно, кому он служит сегодня. Замены до сих пор не нашли.

А между тем культурная жизнь Минска становилась все разнообразнее. О ней стало модно говорить и писать. Хотелось все обсудить. Тогда не было еще столь популярного сегодня интернета. Говорить хотелось, глядя в глаза, а не в монитор. Увы, творческим людям оказалось негде собираться. Появились дворцы и культурные центры с хорошими названиями. Однако там шла своя коммерческая жизнь, где артист, литератор, музыкант, художник и их зрители, поклонники были просто не нужны. Лучшие умы из числа интеллигенции зарылись в книги. Люди искусства вернулись на кухни, в мастерские, театральные буфеты. Разделились на кланы, группировки. Никто не подумал, что им нужен общий дом, чтобы лучше знать творчество друг друга и становиться востребованными.

Странно, но в 70—80-х годах прошлого века у творческих союзов была своя недвижимость, Дома отдыха. Теперь все сидят перед компьютерами и обливают друг друга словоблудием в интернете. Да и где в Минске творческому человеку можно посидеть в свое удовольствие, поговорить «за жизнь», без оглушительной музыки и полупьяных исповедей? На корпоративе? Ой, увольте.

* * *

Я преподаю в университете. Живу среди электората, в бывшем поселке мотовелозавода. Хотя и завод куплен австрийцами — публика в районе кинотеатра «Ракета» все та же: деревенские, не ставшие горожанами.

В 1990-е попыталась со своими студентами-журналистами организовать здесь что-то наподобие альтернативного центра молодежных развлечений. Договорились с местной библиотекой им. Маяковского. Выпускали газету «Такая жизнь». Организовывали выставки, вечера моноспектаклей, квартирники. Вели себя пристойно, даже милицию не заинтересовали и соседи не жаловались. Расширяя масштабы творчества, провели вечера альтернативной музыки в Доме учителя и Дворце железнодорожников. Назвали «Артишок». В общем, шокировали своим арт. Увлекшись картинами художника Александра Родина, решили показать их широкой публике. Полотна огромные, в машину не влезают. Мальчишки пешком тащили их на себе через весь центр города ко Дворцу железнодорожников. Там их увидели нужные люди. Теперь Родин живет в Германии.

Приезжали автостопом с дребезжащими музыкальными инструментами странные хиппи с испуганными глазами:

— Может, вы нас послушаете?

Слушали. Чего-то объясняли. В газете выходила музыкальная страничка «Про-Рок». А там — про Градского, Сукачева, Гребенщикова, Дольского. Все эксклюзивное, не перепечатанное, из первых рук. Кумиры не выглядели забронзовевшими. Они делились с нашими белорусским студентами наболевшим, о чем в светской хронике не прочитаешь.

Хиппи сильно впечатлялись. По глазам было видно, что голодные и спать негде. Наши ребята делились булочками. Спать укладывали на полу в редакции. Тогда это называлось «квартирники», хотя в тесноте, без удобств. Однако кое-кого мы вырастили.

Два парня то ли из Бобруйска, то ли из Гомеля присылали заметки о музыке, мы их печатали. Парни потом оказались российской группой «Би-2». Ребятам из «Князя Мышкина» придумали их имя — «Князь Мышкин». Один из участников группы успешно играет в «Троице» у Кирчука. Даже Кулинкович с «Нейродюбелем» прошел через наши квартирники на улице Рыбалко. Вспоминаю, как по телефону объясняла какому-то любознательному, что такое «Нейродюбель». Это когда сверлом по мозгам. Не понял. Возмутился.

Такая жизнь.

Местная велозаводская шпана стала заглядывать в нашу библиотеку. Якобы книжку почитать. А сами толпились в коридоре и наблюдали нашу жизнь.

Сейчас некоторые из тех, кто прошел «Такую жизнь», работают в Америке, Израиле, Германии, Голландии, России. Когда приезжают в Минск, разыскивают друзей и вспоминают молодые годы. От того бесшабашного веселого творчества сохранился альманах «Монолог». Он выходит раз в год, ближе ко дню рождения его неизменного редактора Алексея Андреева. Это действительно красивая высокохудожественная книжка широко известна в узких кругах минской интеллигенции. Она находится во многих библиотеках мира, несмотря на свой скромный тираж. «Монолог» читают и передают из рук в руки. Он рассказывает о высоком искусстве. Печатает исповеди тех, кто не обласкан официальными почестями, но хочет сказать что-то свое миру, посоветовать, обратить внимание на что-то действительно стоящее. Альманах только отчасти делается той прежней командой. Мы продержались на голом энтузиазме всего пару лет. Все советовали: у вас получается, начинайте продавать, становитесь на коммерческие рельсы. Не захотели. Не смогли. Пробовали искать спонсоров и покровителей. Высокое лицо из Мингорисполкома нас посетило и деятельность одобрило. Сфотографировалось с нами на фоне выставки и музыкантов. Похвалило, что содержим в чистоте и порядке государственное помещение в виде единственной комнаты. Потом предложили оплачивать аренду. И все закончилось. Теперь в нашем районе остался лишь пивной досуг. Во дворах, на лавочках, в подъездах, возле пригородной станции «Минск-Восточный». В теплое время года — просто на газоне. Естественно, разговоры об искусстве там «не в тему». Появились ночные клубы. Там своя публика и свои амбиции. Но где же все-таки собираться творческим людям? Без разделения по возрасту, известности и содержимому кошелька. Давно замечено, что в искусстве многое начинается со студийности, с коллективного творчества...

* * *

Ничего не скажешь, Минск XXI века — красивый, чистый, зеленый и светлый город. Столько дворников, что и субботники не нужны. Иногда мне кажется, что это город глубоко одиноких людей, молчаливых, сумеречных. Дело даже не в том, что молодость всегда весела и беззаботна. Старость мудра и рассудительна. Уверена, что для встречи по интересам, для продвижения идей в любой сфере необходима своя особая атмосфера и компания полных бессеребренников.

К 70-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков

1944—2014

ВЛАДИМИР СТЕПАН

Сын за отца

Командир партизанского отряда им. Калинина Анатолий Алейник трижды представлялся к званию Героя Советского Союза. Трижды было отказано. Ведь он — сын врага народа.

После диверсии на Минском авторемонтном заводе был схвачен и приговорен к публичному расстрелу. Во время доставки к месту казни бежал. Фашисты за поимку командира партизанского отряда объявили награду — 50 000 марок и хутор с наделом земли.

На личном боевом счету Анатолия Алейника 19 вражеских эшелонов, пущенных по откос, сотни боев, засады и диверсии. Награжден орденом Боевого Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны I степени, медалями. Четырежды ранен и дважды контужен.

Я много раз встречался с Анатолием Михайловичем у него дома, подолгу рассматривал старые фотографии и читал пожелтевшие от времени документы, которых у хозяина сохранилось очень много, и слушал его истории о войне.

Начало войны

Тогда из всех искусств важнейшим было кино. А кто кино показывает? Киномеханик. Значит и он субботним и воскресным вечером — человек важный. А если ты киномеханик армейский, то считай, что тебе крупно повезло. И в город за фильмами выезд свободный, и машина для перевозки кинопередвижки под рукой. Везуха саперу Алейнику, а по совместительству — киномеханику!

...Натянули на волейбольном поле экран, дождались, когда стемнеет. Прокрутил я в своем 127-м отдельном инженерно-саперном батальоне фильм «Зангезур» про каких-то кавказских повстанцев. Сложил в полуторку аппаратуру и пошел в палатку спать, как всегда это и было. А еще я был доволен, ведь у меня в кармане лежала увольнительная, командир выписал. Мне двадцать третьего июня исполнялось двадцать лет.

Среди ночи, кто-то потянул меня за ногу. Искали, где спят связисты. Посыльный из штаба объяснил, что оборвалась связь. Я спросил у него время, узнал, что еще рано: три часа... Я даже заснуть не успел, как начали рваться снаряды. Наша палатка развалилась, ее разбросало... Меня что-то сильно ударило в грудь. Мой сосед поднялся на колени, а у него вывалились из живота кишки. Он их запихивает, а они из рук выскальзывают... Предрассветная темнота. А вокруг все рвется, оранжевые вспышки, крики, стоны...

Со мной спал мой шофер Ваня, который возил кинопередвижку. Он мне помог натянуть штаны и гимнастерку. А у меня все тело осколками посечено

и кровью сочится. Двинулись мы к штабной палатке. А она лежит разваленная и наш командир батальона — капитан Беззубов, такой дружеский... Орден Красного Знамени за Халхин-Гол имел... Капитан лежит возле палатки и крутит телефон, ну, такой ящичек с ручкой. А связи — нет.

Ваня подвел меня, спрашиваем, что делать, товарищ командир. «А, киношник. Жмите в штаб армии, это не провокация, а война! Сообщите в штаб. Это приказ! И не едьте, а летите!» — так сказал Беззубов. Ваня вкинул меня в кузов к аппаратуре, и мы помчались в Гродно. Только из пролеска выехали, рядом местечко Сапоцкино, а перед нами выскочила машина и помчалась. Мы — за ней. И тут — из кустов, из гранатомета — по этой машине. Да видно прямо в бак. Огонь, брызги, старшина-пограничник вываливается из кабины...

А мы там доты строили, так дороги знали. Ваня сразу в жито и на Сапоцкино. Это было около четырех часов. Самолеты гудят. Проскочили мост — и на улицу Коммунистическую, где штаб армии. Я лежу в кузове, Ванька — в штаб, а его часовой не пускает. Вышел дежурный офицер: «Хлопчики, а мы уже знаем. Тут не крутитесь, а быстро убегайте. Самолеты летят». Во дворе, через калитку открытую видно, как штабные бегают и чемоданы пакуют.

Арест

В машине меня растрясло, и мне еще хуже стало. Руки только в локтях и мог согнуть. До вокзала доехали, а тут самолеты начали вокзал бить. Мы оттуда направились к нашему летнему лагерю, где часть стояла. А лагерь расположен на другой стороне Немана.

Подъезжаем к шлагбауму, а там часовой стоит. Мы сказали, что война началась. Ваня мне помог с полуторки слезть. А еще и шести часов не было. Палатки были польские, и когда услышали, что война, то все повылазили и к нам. А слышно, как кругом бомбы взрываются... Как аэродром под Гродно бомбят. Прибежал и старший политрук Науменко, на всю жизнь фамилию запомнил, закричал: «Кто сказал — война? Паникеры! Под арест их!»

Нас арестовали, а всем приказали спать. А мне надо перевязку сделать. Посыльные побежали в деревню, где на квартирах офицеры спали. Машину нашу забрали. А связи нет! На нашей машине старшина поехал в штаб. А тут поприходили командиры и начали нас расспрашивать. Мы молчим. Так началась суматоха. Старшина вернулся и сказал, что штаб эвакуируется в лесок, а нам надо идти копать траншеи. Сижу под арестом. Часовой ходит.

Наконец отправили в санчасть. Перевязали туго грудь, замазали раны. Ванька опять помог одеться.

Круги ада

Меня положили в кузов машины ЗИС-5, на которой понтоны перевозили. Выехали за город, на ту дорогу, что на Скидель, и простояли до самого вечера.

Зенитки бьют, самолеты летают, дым, пожары... Самое интересное, что никто не говорит, что это война. Все боятся, что провокаторами обзовут. Когда стемнело, то появилось начальство с ромбами на петлицах: генералы, полковники... Никто ничего толком не знает, но говорят, что немцы уже переправились и в Гродно. На рассвете колонна двинулась. Многие машины начали останавливаться: кончился бензин. Хотели заправиться на аэродроме, а там все горит. От резины черный дым валит, а немецкие самолеты за каждой машиной гоняются.

Мы на остатках бензина рванули на Скидель, а оттуда — на Волковыск. Бензин кончился, Ванька начал бегать с ведром, сливать горючее с брошенных и разбитых машин. Там на станции обнаружили цистерну со спиртом, смешали его с бензином. Можно ехать. Носимся по проселкам, вокруг танки брошенные, тоже горючее кончилось. От самолетов по лесам прячемся, потом дальше движемся.

Под Скиделем попали в самую гущу боя. Там немецкие танки шли, а по ним наши артиллеристы били. Это был первый настоящий бой, который я увидел с кузова машины. Мой шофер убежал. А рожь вокруг такая хорошая, густая, а над ней черный дым: танки горят... Вечером, когда все закончилось, вернулся шофер. Завел машину, и поехали на Новогрудок. Перед нашей машиной взорвалась бомба. ЗИС перевернулся, меня придавило, я потерял сознание. Как меня из болота вытянули — не помню. Очнулся в кузове полуторки. Два офицера везли сейф. И у них кончился бензин. Офицеры достали из сейфа деньги и закопали в лесу. А меня бросили у дороги, положив в карман несколько пачек денег, а в другой — гранату. «Лежи, тебя подберут», — сказали и быстро ушли. Лежал я на том проселке два дня: жара, мухи, комары и жажда. Подобрали меня артиллеристы. Пристроили носилки на пушечный лафет. А мне мука, так трясет, а деваться некуда. На плотах переправились через Неман, в Лиду хотели, а там уже немцы. Попали под минометный обстрел и меня еще раз ранило, в голову осколком...

Вот здесь началась паника. Часть пушек бросили, несколько человек на минах взорвалось... Меня и еще раненых затащили в лес к санитарным повозкам... Там, наконец-то, меня перебинтовали. Кругом солдаты, кто строем, а кто бегом. Кто откуда — не понять. К ночи разобрались, стали группами прорываться, мало кто смог, а вот раненых прибавилось, всю полянку носилками заложили. Прошло несколько дней. Лежим голодные, не до нас. Два солдатика выручили. Перенесли меня на шинели в тень под куст, напоили и сухих макарон пучок дали, а больше у них ничего и не было...

Налетел самолет и давай из пулемета раненых расстреливать. Лошадь убил, которая возле куста стояла. Она упала рядом со мной, чуть не придавила. Через дня четыре распухла вся, вонять начала. А жара страшная. Вонь, а я ходить не могу. Целую неделю я там пролежал. Солдат уже меньше проходит... Помню, как начали кричать раненые, и появился немецкий танк, а за ним — две машины с солдатами. Они как ехали, так по повозкам с ранеными, по живым людям. Танк прошел, а немцы с машин постреляли и поехали. Такая тишина настала... Кто был легко ранен, те в кусты поуползали. Как меня тогда не убили — не пойму. Много мертвых на той лесной дороге лежать осталось: раздавленных, расплющенных, расстрелянных...

Похороны

Еще через пару дней я не мог ни есть, ни пить, ни двигаться. Комары так искусали, что все опухло, а я их даже отогнать не могу. Потом и боль пропала... Не вижу, говорить не могу, а слышать слышу... Сколько пролежал — не скажу. Слышу женские голоса. Разговаривают о том, что надо копать ямы и хоронить солдат. Возле меня яму выкопали, потянули на шинели в ту яму. Я все слышу,

а сказать ничего не могу. Яма полная была, я сверху оказался. «Матка Боска, а он живой, нога дернулась!» — услышал я женский голос. Подошла еще одна женщина, и они вытащили меня из могилы. Из Немана принесли воды. Оттянули меня подальше в лес. На второй день вернулись и покормили картошкой вареной и бульончиком. Одна меня поддерживала, а другая ложкой заливала. Поснимали мои повязки, постирали в реке и перебинтовали. Они несколько раз ко мне приходили, кормили, рассказывали, что кругом уже немцы. А потом этих женщин не стало... Я неделю в лесу лежал. Глаза стали открываться, сидеть уже смог. Поднялся на ноги кое-как...

Командир

В сентябре я уже был под Минском. Через город меня провели, и я вышел на дорогу к Пуховичам. Ходили слухи, что фронт под Могилевом, вот я туда и добирался.

В деревеньке под Дукорами женщины мне сказали, что дальше идти опасно: «Немцы на реке Птичь сделали посты и всех задерживают. Иди в лес к деревне Харвичи». Я как-то дополз туда. Обессилел и лег возле дома. Вышла хозяйка. Я начал ей говорить, что немцы отпустили меня из тюрьмы.

Она по моему говору определила, что я хохол. Вместе с мужем и сыном затащили меня на колхозный двор, на кормокухню. Звали эту женщину Страх Елена Дмитриевна. Там еще было несколько раненых красноармейцев. Через неделю она меня и выходила.

Пришел как-то раз мужчина, невысокий, плотный — Кулько Николай Зиновьевич. Он предложил, чтобы мы не попались полицаям, уйти в лес и там выкопать землянку, и прятаться. Мы еще надеялись, что скоро наши вернутся... Про партизанский отряд тогда и речи не было. Никаких указаний создавать отряды не было. Это 1941 год. Появлялись еще солдаты-окруженцы. Многие шли к Москве. Мы с ними отправляли записки, что еще живы. Это было опасно, и не все соглашались. Приходившие солдаты и гражданские спрашивали: «А кто здесь старший?» Хлопцы на меня показывали. Вот так я и стал командиром...

Чем больше мой собеседник рассказывал, вспоминая дела далеких военных лет, тем больше веселел. Даже седые усы начал поглаживать и молодцевато похлопывать себя по колену. Я смотрел на Анатолия Михайловича и тоже улыбался, хотя у меня от его бесхитростного рассказа щемило сердце — хоть валидол под язык бери.

Зима

...Как ты ни скрывайся, как ни прячься и ни маскируйся, а если в лесу живешь, то местные тебя заметят. И дымок, и огонек, и следы тебя выдадут. Да и по деревням мы ходили: надо и картошки колхозной взять, и хлеба, и овечку, и кабанчика. Без еды не выживешь. Люди знали и говорили между собой, что в лесу — партизаны.

Зима 1942 года была очень суровая. Немцы начали по деревням собирать «приписников». Многие красноармейцы, попавшие в окружение, устроились по домам к деревенским жителям. А как забирали — приглашали в комендатуру и обещали выдавать документы на право проживания в этой деревне. На самом же деле — хватали, бросали в машины и в лагеря отправляли. Многие не поверили фашистам и побежали прятаться. Так что когда люди хлынули в лес, то наш отряд стал большим. В феврале 42-го собралось шестьдесят пять человек. Разные люди были в отряде: и литовцы, и русские, и белорусы, и я — украинец.

Как-то пришел местный человек и сказал, что он работник НКВД из Руденска. Сам понимаешь, тогда это власть большая была. И я ему передал командование нашим отрядом. У него ко мне придирки начались: и костер я бойцам не разрешаю днем жечь, и посты неправильно выставляю. А как можно днем да в мороз костер жечь? Дым же сразу виден.

Правда, в скором времени оказалось, что наш новый командир — трус. Работал до войны в ОСОАВИАХИМе, а к НКВД отношения не имеет. Когда в марте переезжали на новое место, то он часть партизанского имущества погрузил на сани и отвез себе домой в деревню. Но и это не все. Мы решили разгромить гарнизон в Малом Тростенце. Собрались только добровольцы. Так он начал нас отговаривать, пугать немцами и полицаями. А ведь оружия у нас хватало: и пулеметы были ручные «дегтярики», и даже один «максим», и винтовки. 18 марта мы отправились громить гарнизон, а он не поехал. Вот такой командир. Разбили мы тот гарнизон, а там ведь лагерь был рядом, фашисты тысячами людей расстреливали... Удачно все прошло. Трофеи взяли хорошие, оружие забрали. Только не знали, что столько трофеев будет, и с одной повозкой на операцию вышли. Думали, может, кто раненый будет, так привезем домой. Добыли несколько тюков солдатского обмундирования. Все это доставили в лагерь. От Дукор до Тростенца километров тридцать, а еще назад. Устали. Пошли по своим шалашам и землянкам спать. Проснулись и хотели переодеться в чистое обмундирование. Нашей-то одежде уже по полгода: износилась, истлела, грязная, вонючая — а ничего нет! Командир начал объяснять, что обмундирование перепрятал, потому что немцы в деревню приехали.

Встреча

Тем же вечером мы снялись. По бездорожью двинулись на новое место. Это тебе не в мирное время переезжать. Скрыто надо двигаться. Кони из сил выбились, люди устали. В лесной деревеньке остановились. С нами был минский подпольщик, он тогда под кличкой Жан работал, а настоящая фамилия Бабушкин. Он с нами на Тростенец ходил. В деревне Жан помылся, чтобы дымом лесным не вонять, побрился и в Минск ушел. Мы ему кусочек сала с собой дали и крупы перловой. Сами же двинулись под Руденск, там большой лесной массив...

Рассказывали, как в феврале 1942 года вызвал Сталин к себе Пономаренко. Посмотрел на него и говорит: «А расскажи мне, Пантелеймон Кондратьевич, что в Белоруссии делается, что эвакуировать успели, как партизанская война ведется?» Пономаренко объясняет, что все хорошо. Все заводы и фабрики успешно эвакуировали, а партизаны активно сражаются... Сталин послушал брехню и говорит: «А теперь правду давай рассказывай, Пономаренко!» После этого в Москве зашевелились. За десять дней подготовили диверсионные группы и начали забрасывать «втемную». На Сергеевском озере, под Руденском, выбросили группу в Русоковский лес. Посмотрели по карте — большой лесной массив, есть, где спрятаться, ориентир — озеро, вот туда и выбросили двенадцать человек. Командиром назначили лейтенанта запаса, бывшего бухгалтера. Они прилетели, совсем не зная обстановки, неподготовленные. Правда, у них был тол. А мы, после разгрома гарнизона в Тростенце, ушли подальше в лес.

Там и встретились партизаны и десантники. Одни обрадовались, что тут партизаны местные, а другие, что теперь Москва на связи. У них радиостанция была и два радиста. А что еще надо? Мы с ними объединились. Тол прибыл, а я-то — сапер-минер. И даже практику прошел, на Немане лед взрывал. Тут я попал, как говорится, в свою стихию! Чуть не каждый день начали ходить на железную дорогу, где закладывали мины, взрывали эшелоны... Надо сказать честно, что не всегда нам везло. И ходили далеко: и под Барановичи, под Колосово... Немцам это сильно не нравилось. За отрядом началась охота.

Волчий остров

15—16 мая каратели и полицаи смогли окружить отряд на Волчьем острове. Там мы дали им бой. В том бою погиб командир — Владимир Мареев. Комиссар погиб и еще два человека. Раненых было двенадцать. Бой был тяжелый. Оружия и у нас, и у десантников хватало, но самое главное — патронов было столько, что мы их не экономили и не жалели. А откуда взяли? Да в Мачулищах, на аэродроме, когда еще в сорок первом наши (скажем, как было, по-русски) удирали, то все кинули: ящики с патронами, штабеля бомб, запчасти к пулеметам, самолетам. Вот мы и натаскали себе цинков с патронами. Мы держали тот бой двое суток. Немцев и полицаев налупили много. После того боя на острове десантники от нас ушли, оставив своих раненых.

В январе 1943 года немцы развесили по деревням и местечкам плакаты. Жалею, что не оставил себе на память. Портрета моего там не было, но приметы все описаны точно: и родинка на щеке, и пальцы, и фамилия. Помнишь фильм «Чапаев»? Когда заняли штаб «капелевцев», то там был плакат, на котором Чапаев драпает. Я эти объявления сам видел в деревне Руцково. Там не только про меня было написано, а еще про четырех «бандитов»...

Сын за отца

А что меня три раза представляли к званию Героя Советского Союза — правда. И документы у меня есть. Я вышел родом из крестьянской семьи. Батька мой был учителем и мать учительница. В 1937 году отца сделали «врагом народа». Посадили. А мать с детьми выселили из дома. Я пришел в тюрьму. Долго ждал. Открыли окошко в тюрьме в Бердичеве. Спросили фамилию. Я ответил. Окошко громко захлопнулось, а потом открылось опять. «Алейник Михаил Ефремович осужден на десять лет без права переписки!» Я никогда не верил, что мой батька — «враг народа». Тогда многих посадили: конюха местного, инструктора райкома партии, его сын — друг детства...

Вот понимаешь, Владимир, я должен был не только за себя воевать, но и за своего батьку. Я про отца никому не рассказывал, молчал. Секретарь райкома возмущался, как это так, что я беспартийный командую отрядом. Я долго упирался, отмалчивался, а потом он пошел со мной на откровенный разговор. Тут я ему и признался. Он выслушал и приказал вступать. На мой вопрос: «А кто мне такому рекомендацию даст?», — Альхимович возмутился, и сам дал рекомендацию, а вторую я получил от минского подпольщика Клиновского... Так меня и приняли в кандидаты. Вот это и была одна из главных причин. В Москве-то знали, что батька мой давно расстрелян, а я ждал, что он в 1947 году на свободу выйдет... Воевал я на совесть. И за себя, и за батьку — «врага народа».

Горечь

Со временем наш отряд начал подчиняться ГРУ и выполнять разведывательные операции. Командир бригады часто посылал меня в Минск. Мы организовали две подпольные группы. В городе работало более 200 человек. И еще раз хочу сказать, что ни партия, ни правительство не подготовило народ и армию к такой войне. К борьбе на своей территории.

И мы — партизаны и подпольщики — не были готовы. Нас учили всего неделю, беседовали, а этим надо заниматься годами. Даже не каждый патриот может подойти для подпольной работы. Крепкие нервы для этого надо иметь. Эх, какие люди хорошие были! Представляешь, я и сегодня многие адреса явочных квартир помню, десятки имен и кличек связных, пароли...

Много всего-всякого было. И хорошего, и страшного. Война! А на партизанском параде мой отряд по площади на машине ехал. Мы ее у отступавших немцев отбили...

На стене висит небольшой портрет молодого партизанского командира, нарисованный простым карандашом. Анатолий Алейник изображен в лихой кубанке. Я поинтересовался у хозяина квартиры, а откуда такая «гарная» кубанка? «Да у «колпаковцев» выменял себе шапку», — Анатолий Михайлович рассмеялся. На войне, оказывается, в большом дефиците были автоматные патроны, вот за них и согласился кавалерист отдать партизану свою кубанку.

Диверсия

«Столько лет прошло, а я и теперь проклинаю, что ни партия, ни правительство не подготовили народ к партизанской войне», — зло и мрачно заметил мой собеседник.

Затем пояснил, что еще с гражданской войны велась подготовка к партизанской и диверсионной борьбе на территории западных военных округов. О размахе дела можно судить по следующим данным. В БССР подготовили шесть партизанских отрядов численностью каждый от 300 до 500 человек. Кроме того, в приграничных городах и на железнодорожных узлах были созданы и обучены подпольные диверсионные группы. На тайных складах под землей заложили 50 тысяч винтовок, 150 пулеметов, много боеприпасов и минно-взрывных средств... Но в 1933 году победили сторонники теории войны на «чужой территории». В ходе репрессий против военных 1937—1938 годов склады были ликвидированы, а множество «стволов» иностранного производства выброшено, как лом. Все, кто имел отношение к подготовке малой войны, были репрессированы в 1937 году. А это были не десятки, а тысячи хорошо обученных, законспирированных профессионалов. Каждый такой человек стоил роты. Ведь они знали местность, людей, имели оружие и возможности проводить диверсии скрытно и эффективно.

В 1941 году, когда немцы оккупировали Белоруссию, всему пришлось начинать учиться с нуля, за все промахи платить кровью и жизнями.

...Я вспоминаю это с болью в душе. Давление поднимается, голова кружится... Не хочется о страшном, но, так и быть, расскажу. Меня, совсем неподготовленного, неоправившегося от ран, слабого и дохлого, послали уничтожить авторемонтный завод в Минске... Дали две шашки тола, два взрывателя и кусок бикфордова шнура. Вот и вся подготовка. Не объяснили ничего... Шурка Родин и Коля Дудник с нашим хлопцем переоделись полицейскими и отвезли на машине в Минск. Сдали толстому начальнику охраны завода, представив электриком. Я его гнусную рожу со шрамом на всю жизнь запомнил. Двумя шашками завод не уничтожишь, даже дураку ясно. Прошло два дня, а мне тол не везут... У немцев часто ломались в машинах рессоры, перегруженные, шли по нашим разбитым дорогам. Вот фрицы и использовали наш завод для ремонта своих грузовиков. При входе в цех работала кузница. Вентиляции никакой, хотя два больших вентилятора стояли. Дым, угар страшный. Немцы пленных не жалели.

Ночевать отвезли в сторону автозавода. Переночевали, а утром — на завод. В обед привезли баланду и всех выгнали на улицу есть... Я был в недоумении: меня не обучили подпольному и диверсионному делу. Как взорвать все станки — ведь это самое главное на заводе. Охрана небольшая, а территория колючей проволокой огорожена. Рядом — сожженная кондитерская фабрика «Коммунарка». Голодные военные, рискуя жизнью, туда лазили. Иногда везло, находили на пожарище бочки с патокой... На второй день, когда немцы всех

выгнали, начальник охраны приказал мне отремонтировать один вентилятор. А я не знаю, что делать... Додумался включить все станки, а потом открыл щиток, вырвал один предохранитель и ушел. Немец выезжал за ворота, а я за ним... Но далеко уйти не смог. Откуда-то появились два немца, которые меня и задержали. Привели на завод, а там уже шум и стрельба. Гарь, копоть, все моторы в станках погорели.

Как он меня, гад, бил, тот толстый немец... Он и стрелял в меня, я блеск дула навсегда запомнил. Вывели во двор, дали лопату и приказали рыть могилу. И пока я копал, немец меня бил. Он говорил, что воевал в Испании, и даже крест показывал. Требовал, чтобы я признался, что специально спалил моторы. Я отказывался. Объяснял, что шел с завода поесть. Наверное, он бы меня там и прикончил, но приехала легковая машина. Начальник охраны не пошел, а побежал к своему начальнику. Потом вернулся и через переводчика сказал, что меня приказали показательно расстрелять перед пленными.

Лагерь

Закинули меня, чуть живого, в кузов машины, тент опустили и повезли. Два немца молоденьких конвоировали. Приехали на улицу Якуба Коласа, где сейчас воинская часть. Тогда там был огороженный колючей проволокой лагерь для военнопленных. Привезли на территорию и оставили стоять возле часового у ворот. Один пошел докладывать коменданту, а тот, который за рулем сидел, вернулся в машину. Стою и не знаю: что делать? Вдруг пригоняют колонну военнопленных. Часовой принялся их пересчитывать... Я пристроился к военнопленным и пошел. Метров через сто увидел кирпичный туалет. Заскочил в тот разломанный туалет, залез по доскам под черепичную крышу и лег. Смотрю в щель: немцы забегали, засуетились. Большую колонну остановили, построили и давай всех осматривать. А в лицо меня только двое немцев и знали.

Могила

Я пролежал до позднего вечера. Голова кружится, тело побитое болит... Слез и к сараю кирпичному пошел, а там недалеко — вышка и часовой. Дальше, за колючей проволокой, сектора, где разные пленные. Неподалеку от сарая — яма большущая, метров пятнадцать в длину, широкая. Я подошел, а там трупы свалены. И такой запах тяжелый. Я лег в эту яму — а куда деваться? — и пролежал до утра. Утром начали немцы ходить, кричать. С вышки меня было видно. До вышки метров сто... Днем человек пять пленных притянули повозку, а на ней — трупы. Они ездили по секторам и собирали тех, кто ночью и утром умер. Когда начали тележку разгружать, я зашевелился и попросил пить. Они подумали, что привезли меня в прошлый раз. Вытянули, дали попить. От них я и узнал, что тут и рабочие лагеря, и нерабочие. Они меня завезли в рабочий сектор. Сказали ложиться на нары и никому ничего не говорить. В обед приехала солдатская кухня. Начали давать баланду. У всех какие-то баночки были, а у меня — ничего. Я пилотку взял, и мне туда немного влили. На второй день приказали собираться на работу. Вывели из сектора и построили по трое. Все в гражданской одежде, а я в военной. Меня выгнали, на работу не взяли.

Побег

На следующий день я за кусок хлеба выменял себе комбинезон. Пилотку спрятал. Загнали нас на железную дорогу, рядом с Кальварийским кладбищем,

заставили таскать шпалы. Мы уже договорились между собой, сколько человек будет убегать, а остальные должны помочь. Насобирали разных значков, эмблем, кубиков и понесли охранникам. Они это коллекционировали как трофеи, обсуждали, менялись друг с другом значками солдатскими... В это время я и перешел через пути, заскочил во двор. Опять в туалет дощатый спрятался и через щель наблюдаю. А мысль такая, что если словят, то скажу, что по нужде отошел. Да никто и внимания не обратил. Вышел, обогнул кладбище, а потом двинулся к вокзалу. Вот так я и убежал.

Столько лет прошло, а я и теперь проклинаю, что ни партия, ни правительство не подготовили народ к партизанской войне. Сталин, кажется, третьего июля выступил и сказал, чтобы на оккупированной территории начинали партизанскую войну. Что толку от тех слов, ведь связи не было. Дошло до нас только через полгода, когда начали с самолетов группы забрасывать. Вот тогда из газеты «Красная Звезда» мы и узнали, что Сталин выступал за создание партизанских отрядов.

На явочных квартирах

Как-то летом 1943 года прилетел самолет и сбросил груз, а потом пришла радиограмма. От нас требовалось усилить работу по уничтожению гауляйтера Кубе, да и Геббельс «разбрехался», что у немцев скоро будет новое оружие. ГРУ уполномочило нас навести справки и разведать, что за оружие такое хваленое. Я сам тогда пошел в Минск на встречу с Яковом Петровичем Филоновичем, руководившим подпольными группами. Минск был разбит на пять районов, и за каждый отвечал человек. Ему подчинялись двойки, тройки подпольщиков, с которыми он работал. Разведданные собирались, обобщались, обязательно перепроверялись, а потом передавались в Москву. Как всегда, все требовалось сделать быстро и качественно. Чтобы идти в Минск, надо привести себя в порядок: чтобы дымом не воняло, побриться, постричься — на человека стать похожим. Явочная квартира находилась в районе товарной станции, там, где сейчас завод медпрепаратов. Рядом — людный центральный базар. Походил я по нему, понаблюдал. Все спокойно. Подхожу к нужному дому, а из него полицаи выводят нашего связного и дом поджигают. Я — на улицу Московскую, а там две машины с немцами. Убегаю, а они кричат, чтобы я к ним подошел. Еле скрылся...

На следующей явочной квартире связного не оказалось — это уже на площади Свободы. Дом стоял рядом с церковью, а возле моста — полицейский участок. Самые злые полицаи там и служили, те, которые гетто охраняли. Да, я еще на Червенский рынок сходил, там наш связной сидел — Филипп Кулик. В определенные дни мы с ним встречались, но и его не было на месте. Начинался комендантский час. Пришлось идти на явочную квартиру, расположенную на улице Добролюбова. Хозяйкой была Нина Чайковская. Двинулся я через задрипанный Комаровский базарчик. Бреду по малолюдной улице, вдруг открывается калитка, вываливается пьяный полицай с бутылкой и стаканом. Он ко мне, а я от него и кричу через плечо, что меня шеф ждет. Он за мной погнался с криком: «Партызан!» Заскочил я к Нине Чайковской, прошу, чтобы скорее меня прятала. Она меня схоронила в тайнике за собачьей будкой. К счастью, ее квартиранта, немецкого офицера, в тот момент дома еще не было. Тут прибежали пьяные и злые полицаи, а постоялец как раз вернулся ночевать. Он накричал на пьяных, и те смылись. Потом наша связная рассказала, что накануне неподалеку задержали партизана в форме полицейского.

До Якова Филоновича удалось добраться только через два дня. Передал ему указания из Центра, а дальше он действовал со своими подпольщиками.

Священник

В одном из своих отчетов мы сообщили в Москву, что с нами работает священник Слабухо Яков Федорович. Служит в церкви в деревне Поречье. Фашистов в своих проповедях называет супостатами. Мельком написали. Но вскоре самолетом вместе с грузом боеприпасов прислали нам из Москвы Библию и грамоту от Патриарха, чтобы мы вручили священнику. Собрались командиры соседних партизанских отрядов, с которыми мы делились полученным грузом. Вот тогда и решили торжественно вручить священнику подарок из Москвы. Приехали к нему, а он ребенка крестит. Подождали, пока он закончил обряд, а после передали подарки. Священник отнесся к визиту партизанских командиров очень благосклонно, а матушка даже стол по такому поводу накрыла.

Связь с ним установили случайно. 10 мая 1942 года ГРУ прислало много боеприпасов. Их надо где-то спрятать, ведь отряд на месте не сидел. Решили для тайника использовать деревенское кладбище. Ночью выкопали могилку и спрятали ящики с толом и патронами. Через пару дней, встретив нас, священник сделал выговор, что мы без Бога, не по-христиански похоронили человека. Оказывается, он все видел, так как жил напротив. Мы пообещали, что больше так делать не будем, и впредь всегда звали батюшку. А гибло партизан много... Бои шли почти каждый день. На том кладбище в Поречье похоронены молоденькая девочка Валя Плятнер, которая со всей семьей пришла из гетто в отряд, командир роты, которому осколок снаряда попал прямо в висок, Кесарев и его сын... Много там партизан лежит.

Однажды я с партизанами попал на проповедь в церковь и заслушался, как хорошо и убедительно рассказывал деревенский священник про отвагу солдат в войне с Наполеоном. Я подумал, что вот было бы здорово, если бы комиссары так умели говорить с бойцами, с народом. И дьякон Гуринович, который с ним служил, сильно нам помогал. Они со священником привозили партизанам даже из Пуховичей оружие, спрятав его под разобранным иконостасом. А на Пасху отец Яков собирал яйца, мед, булки, и все это матушка приносила раненым в госпиталь.

В 1944 году началась блокада партизанских бригад. Перед самой операцией «Багратион» немцы поймали в Поречье нашего разведчика Леню Силко.

Власовцы, а их было много, жестоко лупили мальчишку палкой по пяткам, но он молчал. Тогда пришел священник и начал просить, чтобы Леню отпустили, стал объяснять гадам, что это не партизан, а местный житель. Старого священника власовцы до полусмерти избили и бросили прямо на пыльную дорогу...

В конце войны партизанские командиры написали представление на награду и обратились к Пономаренко. Так священник Яков Федорович Слабухо получил медаль «Партизан Отечественной войны» I степени.

Предатели

Нас убивали, вешали, стреляли, сжигали в домах, а потом еще придумали травить. В минском СД подготовили предателя по фамилии Матросов. Он служил в полиции, в том самом участке, в доме возле Немиги. Принимал участие в убийстве евреев. Вот его и направили в наш партизанский отряд. Вначале он втерся в доверие к одной партизанской семье, а с их помощью оказался в лесу. Пробыл месяц в карантине, а потом перешел в строевой взвод. В это время вернулась группа из рейда по западной части Белоруссии. Приходит один боец в штаб и сообщает, что в нашем отряде — полицай. Говорит, что он его узнал. Начальник особого отдела Гриша Кузобеев, бывший милиционер, начал Матросова «копать». Тот признался, что заслан немцами, чтобы отравить пищу и колодец. Возле кухни-то охраны никогда не было. Обыскали Матросова до нитки,

но яд не нашли. Нажали на гада — тут он и признался, что яд должна принести жена. Мы выставили секретные посты и стали ждать. Пришла красиво одетая женщина, в темно-синем пальто. Мы устроили ей очную ставку с мужем, но она не признается. Тогда ее раздели. В пальто были вшиты деньги: немецкие оккупационные, советские и золотые монеты. Нашли и несколько ампул с ядом. Деньги, предназначенные для подкупа партизан, сдали в фонд обороны. Ее расстреляли. Из пальто хлопцы сшили себе кубанки. Ох, красивые! Сами синие, а верх красный. А вот Матросова связали и повели перед строем. У каждого партизана спрашивали, что с этим гадом делать? Одни говорили расстрелять, другие — повесить, третьи предлагали зарезать... В кустах рядом с болотом расстреляли.

Ампулы с ядом забрал себе наш врач Костюк Андрей Семенович. Он и придумал, как их с толком использовать. Партизаны часто болели чесоткой. Противная болезнь. Тело раздирается от зуда, терпеть невозможно. После бани, где мы вшей и блох травили-гоняли, доктор разведенной до нужной консистенции сулемой каждого партизана смазывал. Средство оказалось очень эффективным.

Немцы придумали забрасывать к партизанам своих диверсантов. Готовили их в Германии. Вместе с туберкулезными пленными везли по дороге Минск — Бобруйск. Недалеко от станции Руденск устроили ночью побег. Через пару дней пришли в отряд трое пленных, бежавших той ночью с поезда. Наш «особист» после Матросова был начеку. С особой тщательностью взялся их проверять. По несколько раз вызывал каждого. Нашлись нестыковки, и в конце концов один признался, что он из спецшколы, подготовленный для диверсии. Мы тут же сообщили в другие бригады, куда тоже пришли бежавшие пленные. Вот так и раскрыли большую группу диверсантов.

Жена

А что про нее рассказывать... Очень красивая девушка. До войны училась в физкультурном техникуме. На втором или третьем курсе даже в Москву ездила на спортивный парад...

Судьба у моей Евы такая. В 1932 году, во время страшного голода на Украине, ее семья, а это родители и семь дочерей, приехала в Белоруссию. Устроились работать в колхозе «Русиновичи» под Самохваловичами. Родители работали, а дети учились и тоже работали.

Ева с однокурсниками копала в Минске Комсомольское озеро. 22 июня должны были его открыть, а тут началась война. Все ее сестры приехали к родителям. Во время оккупации немцы начали собирать людей, чтобы в Германию гнать. Выбирали молодых и здоровых. Знакомая, которая работала в волости, успела предупредить, что Ева и ее сестра Шура в списках. Сестры уже до этого были связаны с партизанами и подпольной группой из Узды. Даже оружие у них было. Они и решили убегать. В это время в их деревне оказался мой командир взвода Миша Силко. Шура, Ева и еще два хлопца из деревни собрались в партизаны. Уговорили моего взводного. Тогда в нашем отряде были только мужчины. Не военное это дело — девочки в отряде...

В деревне Теребель мы устроили засаду. Ранняя осень, мороз... Слышим: идут. По мерзлой земле громко колеса стучат. Мы обрадовались, что немцы на подводе едут. Приготовились. Слышим: не по-немецки говорят. Значит, полицаи. А когда совсем близко подъехали, то мы и голоса женские разобрали, и голос Мишки Силко. Я тогда как глянул на нее, а на ней — светлое пальтишко и бурочки на ногах, а на плече винтовка, да еще со штыком. Винтовка в полтора раза больше, чем она сама. Дивлюсь на вояк с винтовками и говорю: зачем ты, Мишка, мне их привел, что я с ними делать буду? А он мне и говорит, чтобы я сам попробовал их убедить не идти в партизаны. Ну, ясное дело, ничего у меня не получилось.

Пришли в отряд. Зима, а спали на улице. Постелили девчонки еловых лапок и легли на них ночевать. Отдал я тогда свой полушубок младшей из сестер. Ни на кухню, ни в хозяйственный взвод не идут. Только воевать рвутся! Я когда уходил на операцию, то Шуру брал, а Еву оставлял в отряде, ей и восемнадцати не исполнилось. Ох, как она на меня злилась! Потом она попала в диверсионный взвод и на железную дорогу стала ходить. Однажды ее ранило, пуля грудь пробила, навылет прошла. Вылечилась Ева и опять в строй вернулась. Стала командиром разведывательно-диверсионной группы. У нее на счету и эшелоны, пущенные под откос, и походы в Минск на разведку.

А женились мы в 1945 году, хотя я на нее давно глаз положил. Да не хотел портить жизнь... Хоронили ведь мы не только мужиков, но и девушки гибли на заданиях...

После партизанского парада я ей предложил пожениться. Так что с 1944 года мы вместе. Она награждена орденами Красного Знамени и Отечественной войны, медалями... А стреляла она лучше меня даже из нагана.

Вечером моя Ева должна с дачи вернуться, а я вот не поехал, с тобой разговариваю...

Про каждый документ, про маленький черно-белый фотоснимок Анатолий Михайлович может рассказывать часами. Он помнит войну, которая выпала на его молодость, помнит и молодость, которая переплелась со страшной войной...

Предметный разговор

Валентина Поликанина: «Лишь время проверяет нас на вечность»

Валентина Поликанина — поэт, журналист, переводчик. Член Союза писателей Беларуси, Союза российских писателей, Международной ассоциации писателей и публицистов. Автор восьми поэтических сборников.

— Для меня стихи — это моя жизнь, моя судьба. Это я уже знаю точно. И вообще считаю, что если человеку что-то дано, что пройдет по его судьбе, оно проявляется очень рано. Мама мне рассказывала, что моя первая фраза была в 7 месяцев. Я сказала: «Дай молока, молока, молока». Я стала анализировать: фраза ритмическая. Неслучайно. Что это было? Когда училась в школе, в институте, я тогда еще не знала, что стихи станут моей судьбой. Училась на филологическом факультете. Но учителем не стала. А как-то сразу выбрала путь редакторский. Работа со словом. Я себя к этому готовила, и так это и получилось в моей жизни. Я восемь лет работала корректором. Потом закончила в Москве редакционно-издательские курсы. Работала в институте в редакторской службе, сотрудничала с журналом «Алеся». Затем работала в журнале «Беларусь». Тогда главным редактором был Александр Андреевич Шабалин. Удивительный, интеллигентнейший человек. Мудрейший, я бы сказала, из мудрейших. Коллектив был очень интересный, очень сложный. Потому что все золотые перья журналистики. Там работали Янка Сипаков, Алесь Гибок-Гибковский, Виктор Жилин, Валентин Жданович, Иосиф Калюта. Это было сложно, но, повторяю, очень интересно.

— Когда Вы поняли, что нужно дать простор Вашему не только журналистскому, но и поэтическому дару?

— Постепенно моя работа со словом разветвилась: пошла работа журналистская и сугубо поэтическая. Поэт во мне не смолкал и не смолкает даже тогда, когда я не пишу стихи. Я все равно смотрю на мир как поэт. Я все равно впитываю мир как поэт. У меня свой взгляд на мир через призму моей поэтической души. Думаю, что так с каждым поэтом происходит. И самое страшное — что к тебе не придет это слово. Когда я теперь понимаю, что без поэзии я не могу, самое страшное — потерять эту возможность писать.

— А как ее возможно потерять?

— Когда душа станет ленивой, когда все будет благополучно, хорошо и счастливо, тогда, может, и стихи станут меньше писаться. А вот когда живешь, когда проходишь испытания, когда твоя душа небезразлична, когда она не покрыта толстым слоем равнодушия, когда все впитываешь — чужую историю, чужую, может быть, какую-то ситуацию. Ты вникаешь в нее душой. Да и собственная жизнь преподносит порой разные испытания. И я только благодарна Богу за то, что эти испытания даются. И дай Бог силы проходить их достойно. Это все обогащает поэзию.

— Можно сказать, что поэзия — это состояние души?

— Это жизнь. Поэзия — это жизнь.

Слово — творчество. Слово — венец,
Завершение мысли, огласка.
Слово — выкормыш. Слово — птенец:
Ртом согрет и дыханьем обласкан...

Слово — пепел пожарищ, зола,
Камень в сердце, прокисшая брага,
Если слово на службе у зла,
И зерно — если служит во благо.

— Я со своими стихами вышла к людям очень поздно. Только после тридцати лет начала публиковать их. А писать начала рано, в четыре года. Папа записывал за мной. Я говорю в шутку: был моим своеобразным секретарем. По сентиментальности душевной все это я храню. Папа очень гордится, что внес свою лепту в мое воспитание, в мое созревание как поэта.

— А мама?

— Мама понимала, что я отличаюсь от других детей, понимала, что нужно создать условия своей девочке-молчунье. Я была в себе. Любила разговаривать с ручьем, с деревом, со снегом, с листочком, цветочком. Очень васильки любила. До сих пор люблю полевые цветы васильки. Мне кажется, самый красивый подарок — букет полевых васильков. К сожалению, мама так и не узнала, что дочка стала поэтом. Стихи может писать каждый. А вот когда признан, когда проходишь суд и оценку коллег, когда с тобой считаются, когда твоим мнением дорожат, когда тебя уважают, тогда тебя можно причислить к братии пишущей, поэтической. Мама не дождалась этого момента, когда меня назвали официально поэтом. Она рано ушла в мир иной.

— А что для Вас поэзия, если не соотносить ее к Вашему творчеству?

— Я считаю, что поэзия — это духовный кислород общества. Мне даже приснился сон однажды. Сон был очень странный. Говорят, что снам не всегда надо верить, что на них не стоит обращать внимание. Но так случилось, что у меня некоторые сны потом сбываются. Сбываются со странной периодичностью. Скажем, через полгода. Бывают разные сны. Когда уже мамы не было, я увидела в том мире, в ином, очень много людей и маму мою. Вот она в числе тех людей, которые идут мне навстречу. А я стою одна перед ними, как на суде каком-то. И вдруг мне подносят огромнейшую книгу. В окладе металлическом. Только в церкви можно увидеть такую книгу. Подносят со словами: «Смотри, поэт». Я смотрю в эту книгу, а там кровью написанные строки: «Поэзия — сороковой день истории». И книгу закрывают и уносят. Я просыпаюсь. Сон такой яркий, что не забудешь. Я находилась под впечатлением очень долгое время. Я стала расшифровывать, что это такое — сороковой день истории. На сороковой день душа человека покидает пределы земные. Я поняла, что можно сказать кратко: «Поэзия — душа истории». Это пришло как откровение. Знаете, как какое-то стихотворение, которое напишешь и понимаешь: других слов не найдешь. Хотя я обычно черкаю. У меня черновики черные. Идет такая работа над словом. А иногда так бывает, что вот оно дается, и ты ничего не можешь поменять. Так и здесь.

Вот эта фраза — мудрее не скажешь о поэзии. И я еще успела сделать эти слова эпиграфом к книге «За плотью слов»: «Поэзия — душа истории».

— А во сне приходят стихи?

— Приходят и даже часто. А как летается во сне! Я до сих пор еще летаю. Это очень приятно. В жизни так бывает, вот неудача, житейское испытание какое-то. И, кажется, твое тело наливается тяжестью, а душа — она ученица усердия. Она легкокрылая. Мне кажется, у души нет возраста. Хотя она может быть и младенческой в определенный момент, но может быть и старушкой. Она какая-то вне времени, вне возраста. Душа наша спасительница, потому что в душе наша совесть. Это Бог в нас. Поэтому нужно быть очень внимательным к душе. Нужно прислушиваться, улавливать и понимать ее тонкий, нежный голос. Даже когда ему трудно пробиться. Надо как-то уметь настроиться, чтобы все-таки слышать этот голос. Потому что, знаете, как в жизни бывает. У человека один грешок появился. Затем этот грешок привел друга. Уже двое. Те привели еще кого-то. Уже компания грехов. И человек просто обрастает панцирем греха. И тогда сквозь этот панцирь голосу души уже точно не проклюнуться. И тогда голос ее начинает умолкать. Мы просто тогда не слышим собственной души.

— А путь обратный для этого человека?

— Путь обратный — очищение. Покаяние. Только этот путь. Я ведь это говорю не просто так, теоретически. Я говорю из собственного опыта, из собственной жизни. Мне даны были тоже испытания. И если бы я не услышала голос собственной совести, собственной души, кто знает... У меня было такое чувство, несколько таких моментов, что казалось, я умираю. Вот такое состояние — я умираю. И я понимала, что мне нужно искать спасительный путь. А путь один — в церковь, покаяние. Вот если бы мы все знали, что этот путь есть, и что именно этот путь верный, то, наверно, все были бы такими чистыми, такими безгреховными, такими идеальными. Как нас Бог создал и хотел бы видеть. Но, увы, этот панцирь греха покрывает душу и просто она бедная там томится, как в темнице. Иногда, кажется, что человек заваливает свой собственный источник-родник всяким хламом. А хлам — это и есть грехи. Страшное слово — грех. Но мы все люди и все не без греха. Не мне судить об этом, но я точно знаю, что есть спасительный путь. И хорошо, что он открывается. Открывается в ту минуту, когда ты этого пожелаешь. Если не задавать себе этот вопрос, можно никогда не получить ответ.

— Что дает творчеству вера в Бога?

— Творчество без веры рассыпается. Нет поддержки, духовной опоры, нет фундамента. Недаром, вся классика, которую мы в школе изучаем, основана на вере. Искусство и литература без веры теоретически могут существовать. Потому что мы знаем, что есть и другой помощник, другая сила, которая «помогает» творческим людям. Идет соревнование темных и светлых сил. Но мы знаем, что победа за светлыми силами. Поэтому творчество без фундамента, без основы духовной разрушительно и саморазрушительно.

Найдите время для себя,
Ведь жизнь мала и быстротечна.
В своем круженье бесконечном
Найдите время для себя.

Найдите время для Любви.
Она — цветок благоуханный,
Но отцветет — и бездыханна.
Найдите время для Любви...

— В одном из первых Ваших поэтических сборников слово «любовь» написано с маленькой буквы. А в последнем издании в этом же стихотворении — с большой. Что произошло?

— Понимание расширилось, и буква выросла. Сюда входит все, что зрелой душой понимаешь. Что это — Любовь? Здесь и надежда, и свет, и милосердие. Когда эту жизнь напитаешь всеми этими понятиями, то и любовь становится полноценной, весомой, какой-то истинной. Когда твоя любовь проходит испытания вместе с тобой. Ты ее спасаешь, она тебя спасает, тут уже взаимовыручка. Я могу сказать, что любовь — это и радость, и счастье, и испытание, и тяжелый крест. Любовь — это тоже судьба. Это восхождение вверх по лестнице судьбы.

— Тридцать ступеней святого Иоанна Лествичника.

— Тридцать ступеней. Правильно ответили. Спасибо!

— Создание стихотворения — дело интимное, сокровенное. Предполагаете ли вы, что это со временем станет достоянием многих?

— Теперь уже да. Потому что коль я печатаю их, значит, отдаю на суд людей. Мне свойственно самоедство, самокопание, недовольство. Я никогда не похвалила ни одно свое произведение. Я не могу сказать, что я написала хорошие стихи, хорошую песню. Не могу, до сих пор не могу. Пусть лучше люди скажут, они сами разберутся. Меня очень трогает, что люди в моих стихах что-то находят: какую-то помощь, духовную поддержку. Иногда говорят: «Мы тоже хотели это сказать, а вы сказали стихами». И тогда я стала понимать, что наступило время, когда я могу сказать за кого-то рядом стоящего. За того, кто не владеет поэтическим языком.

— Когда Вы публикуете стихи, издаете книги, Вы понимаете, что выходите к этим людям на разговор? И, конечно, надеетесь на их доверие и понимание? Ведь души людские в какой-то степени родственны...

— Мы все одинаково радуемся. Плачем мы тоже все одинаково горючими слезами. Молимся одинаково. Верим, надеемся. Очень много есть точек соприкосновения людских. Хотя сколько людей, столько характеров, столько судеб неповторимых, историй. Но есть что-то общее, что роднит людей, что сближает, что дает им возможность понимать друг друга... Это счастье, когда человек говорит, что книга помогла. «Вот я болела. Читала. Стала сильнее духом». Дело в том, что когда пишутся стихи, отдаешь часть своей души, часть той энергии, которая тебя питает. У меня так бывает, что напишу, и как будто силы мои ушли. Так было, когда я писала поэму «Память» об узниках озаричского лагеря смерти. Так было с поэмой «Сестры милосердия» о движении Красного креста, о первых сестрах милосердия. Меня приглашали тогда, как сейчас помню, на дни рождения, какие-то вечера. Я отказывалась, потому что писалось. Вдруг я сейчас уйду куда-то, а в это время я могу написать что-то очень важное. То, что мне будет послано. И поэтому я очень дорожила временем, когда писались поэмы. Было чувство: что-то меня держит. Какая-то сила. Как затворницу. Я это называю творческое подполье. И действительно проходило время, я дописывала до точки. И знала, где ее поставить. Чувство формы приходило. И вот когда была поставлена эта точка, я понимала: отпустило. У меня так было и со стихотворением «Живем, не молимся». Условное название «Зернышки». На это стихотворение Ольга Патрий написала песню. Это тоже история интересная. Когда я написала стихотворение, силы ушли. Ушли в листок, в слова. Когда я Ольге прочитала, она эту силу слов почувствовала и написала такую музыку, что я просто другой и не представляю. Это одна из лучших наших совместных песен.

— Из ваших песен сложилась замечательная программа «Да будет всем Любовь!», которая с большим успехом уже дважды прошла в Концертном зале «Минск»...

— Это литературно-музыкальная композиция, где я читаю стихи, а Ольга Патрий поет песни, которые она написала на мои стихи. Ольга сделала музыкальное сопровождение ко многим моим стихам. Мне кажется, что никто из композиторов, с которыми я писала песни, так не прочувствовал мои стихи, как Ольга. Мы эти песни собрали в отдельный диск «Да будет всем Любовь!». Да будет Вам любовь!

Валентина Поликанина сотрудничает с посольством России в Республике Беларусь, является председателем культурно-просветительской секции «Русского общества». В 2007 году указом Президента Российской Федерации «за большой вклад в распространение, изучение русского языка и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей» награждена медалью А. С. Пушкина.

— Почему нас волнует классика? Почему нас Пушкин волнует? Меня он сейчас стал волновать еще больше. Мы когда-то его проходили в школе. Проходили. Можно сказать, галопом. Пушкина — галопом! Что говорить о теперешних школьниках? Раз в неделю литература. Чем насладиться? Что можно понять, что тебе поможет в жизни? Возможностей для этого нет. И вот сейчас я открыла Пушкина для себя. Я его сейчас стала понимать как личность больше. Раньше за словами, стихами, за своим ученическим подходом к великому писателю не было понимания его как человека. Сейчас оно пришло. И сейчас я понимаю каждую его строку. «Евгения Онегина» перечитала с великим удовольствием. Это действительно гений. Почему он нас волнует? Потому что вся сила его уходила в слова. Он отдавал весь свой темперамент, всю свою страстность натуры словам. Вот что главное.

— Но гении рождаются редко. А как современному талантливому или просто способному автору заинтересовать читателя своим творчеством? Увлечь его? Взволновать?

— Настоящие стихи всегда хранят трепетность автора, работу его души. Если стихи только от ума, они холодные, рассудочные. В стихотворении должна быть гармония мысли, формы, чувства. Тогда оно может взволновать людей. И что удивляться, если чьи-то стихи кого-то не взволновали. Не надо обижаться. У каждого поэта свой круг читателей. К сожалению, и время сейчас такое — компьютерное. С одной стороны, это благо, это технический прогресс. Разве могли мы мечтать о такой скорости передачи информации? Но в то же время есть вторая сторона этой медали, научно-технического прогресса — отход от книги. Мне приходится очень часто выступать перед школьниками. И когда я задаю вопрос: кто любит поэзию? Порой ни одной руки не поднимается в классе. Я понимаю, что я тут одна белая ворона и говорю: «Вы, ребята, можете жить без поэзии, а вы видите перед собой человека, который не может жить без поэзии». И мы начинаем разговаривать посредством моего творчества, моих стихов. У меня ведь не только интимная лирика. Я затрагиваю и другие темы: гражданственность, военная тематика. Есть у меня и лирико-философские стихи. И я с ребятами говорю на эти темы. А когда мы расстаемся, я задаю вопрос: «Ребята, стала ли кому-то ближе поэзия?» И поднимается лес рук. Я говорю: вот она, награда, и ничего больше не надо. Достучалась. Открылись дверцы. Они впустили меня в свои души. Спасибо! Значит, оставлен след. Живое зернышко. Поэты должны сеять светлое, доброе. Надо же как-то спасаться. И часть мира спасать. Иногда думаешь, а что твое в мире? Какое пространство можно назвать твоим собственным? И понимаешь: пространство вытянутой руки. Вот оно точно твое. И когда в этом пространстве появляется собеседник, и когда есть взаимопонимание — это и есть очищение частички твоего мира. Также как и со школьниками. Я пришла на территорию протянутой руки каждого из них. Я стою рядом с ними. Я им говорю. И что-то случилось. А случилось чудо понимания. И мы всегда расходимся окрыленные. Я как будто поднялась на вершину. У меня наступает ощущение хорошо сделанной чисто физической работы. Трудной работы.

— У них еще души не успели покрыться этим панцирем.

— Поэтому есть надежда. И когда меня спрашивают, как возродить интерес к книге, я отвечаю: идти к людям, не быть кабинетным работником. Кабинетных работников у нас хватает. Поэт, конечно, должен часто быть в уединении. Без этой уединенности не получится ничего. И книгу не напишешь. Но кроме этой уединенности должны быть живые впечатления, «материал», который

потом твоя душа, твой разум обрабатывает. В тебе совершается что-то. Встречи с людьми тебя подпитывают. Ты вбираешь эту информацию. И потом, как творческий заводик, ты работаешь и что-то там «производишь». Только это нельзя назвать продуктом творчества. Это, скорее, плод творчества.

Распрямляются плечи,
и словно снимается молот,
Что дыханье теснил,
суетою и бытом рожден.
И по-новому свеж,
и по-новому весел и молод
Этот день первозданный,
омытый весенним дождем...

— *Ваша миссионерская и просветительская деятельность...*

— Вот она в том и состоит, чтобы нести слово. Одна моя знакомая как-то сказала мне: «Вам бы подумать о неглиже в книгах, об обнаженной сути своей. А вы все пишете о душе. Это не модно». А я отстаиваю свое право на то, чтобы писать о душе. Здесь нет никакой моды. Душа вне времени. Мир состоит из деталей, милосердно творящих жизнь нашу. А поэт — это тот человек, который видит «детали» жизни.

— *Я знаю, Вы посещаете колонии.*

— Считаю, что и там есть души, в которые можно постучаться. А вдруг с этим человеком произойдет что-то волшебное. Чудо произойдет. Бог коснется через нас, если мы едем с такой миссией. Композитор Владимир Казбанов написал целую программу на мои стихи и назвал ее «Любить и прощать». Когда он меня как автора стихов позвал с этой программой в Гомельскую колонию, у меня не было даже раздумий. Это была такая встреча, просто удивительно. Как слушали женщины! Там были всех возрастов, и пожилые в том числе. Они были очень внимательны. И удивительно реагировали на стихи. И когда Ольга Патрий выходила и пела, так слушали. Аплодисменты. «Браво! Приезжайте». И я подумала, почему они здесь, а не там, на свободе? Я хотела сказать: «Выходите и больше сюда никогда, никогда не возвращайтесь».

Валентина Поликанина — член общественной организации «Белорусский союз женщин». Принимает участие в международных женских конференциях, благотворительных акциях Белорусского союза женщин. Автор слов Гимна Белорусского союза женщин.

— В плане просветительской работы могут быть различные мероприятия. Мы часто встречаемся с ветеранами. С блокадниками Ленинграда. И с многодетными матерями. И с матерями-одиночками. И с матерями, которые потеряли своих детей на службе в армии. С матерями, которые потеряли детей на афганской войне. Когда я пошла в народ, как я уже сказала, это только обогатило мое творчество, появилось много новых тем. Появилось много новых моих слушателей.

— *Расскажите о семье. Находите ли среди родных поддержку, понимание в своем поэтическом труде?*

— Первый слушатель — это муж. Он же первый критик, первый цензор. Удивительно, что он сам по образованию химик. Но вот дано человеку разбираться в литературе, любить стихи. Ему повезло с учительницей литературы, которая привила ему любовь к поэзии. Эта любовь осталась на всю жизнь. Его не проведешь. Он безошибочно находит то место, которое я собиралась доработать. А если нашел, значит, точно надо доработать, исправить. А в жизни семейной на разных этапах тоже были свои испытания. Но преодолевая их и закаляясь в трудностях, со временем произошло срастание наших душ. Теперь я могу ска-

зать точно, что это самый верный человек, который всегда поможет и в жизни, и в творчестве. Это моя судьба. Судьба, Богом данная.

— А сын?

— Сын — творческий человек. Кстати, когда я носила его, мама была еще жива. Мне казалось, что у меня обязательно будет мальчик, и что он будет художником. А все доктора говорили, что будет девочка, потому что трепетное сердцебиение. Но что интересно, мне приснился сон. Мама говорит: «Ну что путного может родиться? Художник». Я родила мальчика, который с двух лет начал рисовать. Он брал в руку карандаш-великан красного цвета. Он зажимал в кулачок и рисовал правильно, осмысленно. И я уже тогда видела в его работах сюжеты. Я очень люблю живопись. Я и сама хотела бы рисовать картины, но руки бездарные. Правда, одну картину Семен Доморат мне помог нарисовать в своей мастерской. Он сказал: «Попробуй». Я сделала два мазка. Он оценил: «Хорошо, хорошо!» Затем дополнил третьим, четвертым. Посмотрели, и картина получилась. Он посоветовал: «Пробуй. Может, в тебе это не раскрыто». Конечно, дар живописца — это особый дар, тоже проявляется рано у людей. Я очень уважаю художников и вообще людей творческих.

Валентина Поликанина — лауреат первой премии Союза журналистов «За лучший женский образ в современной журналистике» (2003 год). Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь в номинации «Художественная литература» за книгу «Живое зерно» (2006 год). Лауреат первой премии Союза писателей Беларуси «Золотой Купидон» за книгу «За плотью слов» (2008 год).

Смолчит перо к смирению готово.
И точкой не посмеет уколоть.
И вспомнит мир — вначале было слово,
Что обрело свою живую плоть.

Падет роса в истерзанные реки.
Слеза скорбей размоет все пути,
Где безоглядно пали человеки,
Где лишь прозренье может их спасти.

Слепой прочтет всевидящие строфы.
Глухой услышит всезовущий глас.
За плотью слов всего одна голгофа,
Где крест достался каждому из нас.

Свет землю отвоюет пядь за пядью
И снова загорится над судьбой.
За плотью слов всего одно распятье,
Зовущее воскреснуть нас с тобой.

— «За плотью слов». Здесь какая-то музыка своя. Слово, наукой доказано, материально. Оно имеет оболочку, значит, имеет плоть. И уносит к изначальному: «в начале было Слово». Эта книга — у нее счастливая судьба, она получила «Золотого Купидона». Первую премию Союза писателей Беларуси. Коллеги оценили мое зрелое творчество. Награды никогда не прошу, никогда не обивала пороги. Бог дает — значит, видит, наверное, что нос не задеру. Славой ведь тоже можно искушать. Через людей, понимающих мое творчество, мне были даны какие-то награды в моей жизни. Спасибо людям! Слава Богу за все!

Беседовала Алла СОЛОВЬЕВА.
Фото из семейного архива Валентины ПОЛИКАНИНОЙ.

С точки зрения рецензента

Пророчества или выдуманная реальность?

Всегда, открывая новую книгу в жанре фэнтези, задумываешься над вопросом: что это, параллельная реальность, неразрывно связанная с нашим миром, или же это просто полет фантазии автора?

Вопрос этот связан с тем, что многие произведения данного жанра периодически наводят на мысль о существовании параллельных миров, в которых наравне с обычными людьми живут маги, драконы, гномы.

Детальное описание фэнтезийной реальности, внимание к быту, нравам ее обитателей присущи множеству произведений таких признанных авторов, как Толкиен, Сапковский.

Российский писатель, да, наверное, уже и классик жанра Вадим Панов с его серией «Тайный город» открывает читателю новую, магическую Москву. Так что же это: выдуманный мир, фантазия или другая реальность, существующая и подающая сигналы через автора?

Наши восточные соседи уже лет 20 радуют читателей странными мирами. Когда-то думалось, что после циклов «Миры под лезвием секиры» и «Тропа» Юрия Брайдера и Николая Чадовича не будет больше книг фэнтези, выходящих из-под пера белорусских авторов.

И вдруг — приятная неожиданность: Валентин Маслюков с его «Рождением волшебницы» (Москва, «Время», 2011).

Солидно изданный фолиант создает впечатление, что это некий научный труд, а не сказка для широкого круга читателей. Возникает впечатление некой таинственности, сопричастности событиям, которые, разворачиваясь в нескольких направлениях по мере развития сюжета, «закручиваются» в единую сюжетную линию.

Тщательно, с мельчайшими подробностями описан в произведении мир Словании — государства тружеников, мореходов и, конечно же, магов и волшебников. Постоянные вопросы — был ли месяц «просинец», росло ли дерево «карнаух», где же могла бы быть такая страна Мессалоника, существуют ли «пигалики» — удивляют на протяжении всего произведения.

Хотелось бы также остановиться на тех моментах, которые кажутся важными в становлении личности главной героини — волшебницы Золотинки и в формировании ее необычных способностей. Героиня подчиняет себе потусторонние силы и сначала неумело, а затем осознанно пользуется ими. Но главное — ее личность. Не будь каких-то важных принципов, разве можно было бы пользоваться Силой, которую дает магия, не принося вреда обитателям Словании. Ярким примером «черной» магии является применение магического камня Асакона волшебником Рукосилом — злым роком страны. Использование Силы для достижения корыстных целей, какими бы красивыми словами это не было прикрыто, всегда приводит к войнам, хаосу и разладу. Сложно выживать в такие времена не только простым обывателям, но и княжичам с воеводами. Не всегда оказываются мудрыми и адекватными решения сильных мира Словании в такие времена. В обстановке противоборства внутренних сил не всегда удается правителям, Любомиру и Милице, принимать решения, способствующие процветанию страны.

Темные и светлые силы постоянно сражаются и в душе юной Волшебницы. Неукращенное ею колдовство не каждый раз направлено на созидание и защиту. Нередко оно приводит к разрушениям, негативному воздействию на окружающий мир. Однако стремление к добру, покаяние после нечаянно сделанного зла совершенствуют и укрепляют характер юной Волшебницы.

Основные принципы «Рождения волшебницы» автор выразил словами главной героини Золотинки:

«И что бы ни было, никогда не сворачивать на злое <…> Лучше поражение на полпути, лучше споткнуться в начале и потерять надежду, чем искать обходные пути во зле.

Делать, что можно, и спокойно иметь в виду возможность поражения. Вот! Так надо идти! И я сделаю все, чтобы людей никогда не сажали на цепь. Ни на ладьях, ни на больших круглых кораблях, ни в рудниках — нигде. Чтобы люди узнали волшебство, как свой естественный дар, не заискивали перед ним, не лебезили, но и не отвергали, как нечто чуждое.

Начинать... начинать сразу. Не откладывать, не тянуть. Но и не торопиться. Нетерпение — признак слабости. Не будет больших успехов без маленьких ежедневных достижений. Пренебрежение к малому вредит большим замыслам».

Многие герои произведения пытаются воздействовать и даже манипулировать юной Волшебницей. Это и Миха Лунь — странный маг, посвятивший ее в тайны чародейства, и Рукосил, научивший ее пользоваться амулетами, обладающими огромной силой, и маленькие люди — пигалик Буян, прививший Волшебнице организованность и последовательность.

Волею судьбы даже приемные отцы Тучка и Поплева превращаются из обычных моряков-рыболовов в солидных мужей, которым также не чуждо волшебство.

Не всегда положительные герои произведения безупречны, время от времени и у злых волшебников проскальзывают нотки сострадания. Впрочем, как и в жизни: не бывает совершенно плохих и совершенно хороших людей.

Единственный из всех участников событий — странный княжич Юлий, кажется, напрямую не связан с магией. Однако, сам того не подозревая, он постоянно вовлечен в магический круговорот добра и зла. Только загадочная любовь к образу Золотинки, отражаемая через его специфическое восприятие мира, позволяет ему сохранить здравый смысл и стать в свое время сильным и справедливым правителем, который необходим стране после войны и разрухи.

Очищающая сила любви проходит через всю книгу, поддерживая героев в их сопротивлении затаенному коварству и явному злу. И, наверное, не очень важно, смогут ли люди, живущие в материальном мире, пользоваться магией наравне с электричеством, важнее, чтобы Любовь, Уважение и Стремление к Познанию были в людях, в нас, не зависимо от того в какой реальности мы находимся, магической или материальной.

Павел ЯНКЕЛЕВИЧ

С точки зрения рецензента

Сильное звено

Издательство «Белорусская Православная Церковь» выпустило четыре книги Анатолия Стецкевича-Чебоганова в серии «Я — сын Ваш» («Летопись белорусской шляхты»). Книги содержат родословные росписи, краткое их описание, а также интересные факты и занимательные истории из жизни представителей белорусской шляхты.

Как отмечает сам автор, исследование истории жизни каждого конкретного человека, конкретного рода, установление связей между представителями многих родов за несколько столетий дает возможность увидеть жизнь общества тех времен, познать настоящую, не политизированную историю своей страны, сберечь и сохранить свою веру, культуру, свое отечество.

На наш взгляд, одно из главных достоинств книг в том, что автору удалось воссоздать неповторимые образы предков, удалось показать лучшие черты их характеров, которые проявились в сложнейших условиях жизни.

В четвертой книге «Казановичи герба «Гржимала» опубликованы воспоминания дочери Елены генерал-лейтенанта Бориса Казановича. Генерал был известным участником белого движения на юге России в период Гражданской войны. В свое время семья Казановичей жила в Туркестане, где служил отец. Батальоном командовал Николай Васильевич Белов. Он привез с русско-турецкой войны свою жену, болгарку — даму неописуемой красоты. Елена Казанович пишет о ней: «На своем веку я видела портреты множества красавиц от Лины Кавальери до современных кинозвезд и королев красоты. Где им до нее! Это действительно была красота! Она смело могла бы соперничать с Натальей Пушкиной, Анной Керн, Авдотьей Панаевой. Ее совершенную красоту должны были воспевать поэты, а она похоронила ее в маленьком городке далекого Туркестана. Мама как-то не удержалась и сказала ей об этом. Она даже обиделась:

— Красота нужна только молодым девушкам, а я жена и мать. Зачем она мне? Только одни неприятности.

Точно в наказание за то, что она не ценила этот дар, свою лучезарную красоту, судьба была жестока к ней».

Часто в жизни людей любовь одерживает победу вопреки воле родителей, а иногда и вопреки здравому рассудку. Руки Ольги Островской, тетки Елены, добивались многие, однако она всем отказывала. И вот на одном из балов в дворянском собрании появился приезжий стройный красавец со звучной фамилией Левис оф Менар, по его утверждению, потомок шотландских королей. Весь вечер он не отходил от Ольги, танцевал все танцы только с ней. По тем временам это было явным неприличием. Но тетя никого и ничего не замечала, не сводя влюбленных глаз со своего партнера. А когда бал закончился, заявила своим ошеломленным родителям, что Левис сделал ей предложение и она согласилась стать его женой.

Кроткая, скромная тетя Оля проявила необычайное упорство. Напрасно ее уговаривали повременить, подумать, узнать поближе своего избранника. Тетя твердила, что она никого, кроме Левиса, не полюбит, и что, если ее разлучат с ним, она умрет. Перси со своей стороны клялся в любви. И отец Ольги уступил. Мать со своей стороны через хорошо информированных

евреев навела справки о женихе. Выяснилось, что у потомка шотландских королей нет ничего, кроме больших долгов. Он служил в Петербурге в блестящем гвардейском полку, но вынужден был выйти в отставку из-за долгов и каких-то карточных историй. Друзья с трудом устроили ему место в Быхове. И он уже задолжал здесь всем, кому можно и кому нельзя. Мать поделилась с мужем информацией, однако он принял сторону дочери, заявил, что он не станет слушать сплетен, не в деньгах счастье. Да и кто не без греха. Отец был уверен, что Перси образумится, женившись на Ольге. Увы, он глубоко ошибался: Перси был неисправимым, отъявленным негодяем.

После свадьбы Перси продал или заложил все, что купили родители и получила в приданое Ольга. Неделями где-то пропадал. Отец уговорил дочь вернуться в Чемерное. Но и после этого она не переставала любить своего мужа. После тяжелых родов она умирала. Родственники буквально принудили мужа навестить жену. И вот как описывает эту встречу Казанович: «Перси струсил и в сопровождении дедушки и дяди вошел в комнату умирающей, опустился перед ней на колени, окликнул и взял за руку. И так велика была ее любовь, что она встрепенулась, счастливая улыбка тронула запекшиеся губы, она бросила последний взгляд на Перси, затем ее прекрасные глаза закрылись навсегда».

В другом случае любовь и желание молодых соединить свои сердца вопреки воле родителей и несмотря на житейские трудности помогают создать благополучную семью.

Дед Елены Казанович по линии матери Николай Игнатьевич «был совсем некрасив, но высокого роста, стройный, ловкий. У него был живой, несколько парадоксальный ум. Остроумный, находчивый и насмешливый, он умел нравиться и пользовался успехом у женщин».

Будучи студентом университета, он устроился репетитором к вдовому самарскому помещику Ушакову. Молодой учитель готовил его сына в гимназию. В семье Ушакова было еще три дочери. Со старшими дочерями студент занимался математикой и естествознанием. Дело кончилось тем, что он и дочь Ушакова Александра полюбили друг друга и попросили благословение у отца. Но Ушаков вовсе не желал выдавать дочь за безродного студента, а Николай воспитывался в приюте. После долгой борьбы он все-таки дал согласие на брак, но заявил, что лишает дочь наследства и не даст за ней в приданое ни гроша. У них было по чемодану и пять рублей. В студенческие годы молодая жена еле сводила концы с концами. Когда Николай закончил университет, ему предложили хорошо оплачиваемое место в банке. Он успешно продвигался по службе и, наконец, получил место в губернском банке. Да и оказался он не «безродным».

Впрочем, хотя Александра и не подчинилась воле отца, решение ее выйти замуж за студента вряд ли можно было объяснить слепой любвью.

Елена Казанович яркими красками описывает характер своей бабушки, которую никак нельзя назвать слабовольной или даже уступчивой.

«А вот бабушка Александра Николаевна не скрывала свои годы, наоборот, она всегда подчеркивала, что ей столько-то лет, но она всегда бодра, подвижна, никогда не болеет и не скучает, потому что держит себя в руках, не распускается, как некоторые молодые. Не валяется в постели. Всегда встает в семь утра, соблюдает все правила гигиены, умеренна в пище, не спит после обеда, не читает в постели и не слоняется без дела, а всегда чем-то занята.

Замечания бабушка делала всем и каждому, невзирая на лица. Из всех родных она больше всего благоволила к моему отцу, два других зятя терпели ее с трудом. Отец был молчалив, охотно слушал Александру Николаевну, никогда ей не противоречил, вставал раньше ее, был очень умерен в еде, не болел, не спал после обеда и не слонялся без дела. Кроме этих чисто внешних сходств, характеры у них были разные, и мама удивлялась, что они так хорошо уживаются.

Зимой бабушка носила черные английские костюмы с ослепительно белыми блузками, летом — чесучевые или серые шелковые».

В воспоминаниях Елены Казанович приводится удивительный пример того, как женщина не ждет подарков судьбы, а сама решается устроить семейную жизнь. Читая следующий отрывок, следует обратить внимание не только на решительность поступка, но и на те человеческие качества, которые ценились в дворянской среде. Ведь если бы этого не было, то не было бы и решения.

«В семье тетиного мужа всем заправляла свекровь — Елизавета Ивановна Кинг, умная, властная женщина с непреклонным характером. Урожденная Протасова, она рано осталась сиротой. К молоденькой, богатой наследнице сваталось много женихов, но она всем отказывала и поразила весь уезд, выйдя замуж за австрийца, управляющим имением своего отца. Больше всех был поражен ее избранник. С благоразумием, поразительным для 19-летней девушки, она пригласила к себе в кабинет тридцатипятилетнего, вовсе некрасивого, скромного, но очень дельного и порядочного управляющего и ошеломила его прямым вопросом: хочет ли он на ней жениться? При этом она добавила, что ей вовсе не надо покрывать грех, что у нее никогда не было никаких даже самых невинных увлечений. Просто она видит, что претендующие на ее руку помещики — бесхозяйственные лодыри, наполовину разорившиеся и зарящиеся на ее состояние, чтобы проглотить и его. Но она этого не допустит. От своего отца ей известно, что Людвиг Иванович отлично руководит делами их имения и что на него можно положиться. Ей он симпатичен, и она решила, что он будет для нее хорошим мужем. Пусть он хорошенько обдумает ее предложение и если оно ему подходит, они поженятся. Он только должен доказать свое дворянское происхождение и получить медицинское свидетельство о состоянии здоровья».

Людвиг Иванович все требования выполнил, и молодая помещица обвенчалась с управляющим. Муж относился с почтением к жене, обожал ее, благоговел перед ней всю свою жизнь. Устно и письменно называл ее всегда «мой добрый гений».

Еще большего уважения и восхищения заслуживают такие христианские черты женского характера, как смирение, послушание, терпение. Достигаются они не только природными качествами, но и воспитанием, не в меньшей степени силой воли, а главное — верой в добродетели и любовью, прежде всего, к своим близким.

Вот что говорится в воспоминаниях о другой бабушке Цецилии Густавовне по линии отца:

«Она была очень добра, очень ласкова, и я не помню, чтобы она когда-либо сердилась или сделала хоть малейшее замечание мне или кому-либо другому. Очень молчаливая, бабушка никому ни на что не жаловалась. На вопросы о здоровье отвечала, что чувствует себя прекрасно. Она всегда появлялась в закрытом черном платье с длинным шлейфом, затянутая в корсет...

Возле нее всегда лежал томик стихотворений Гейне, ее любимого поэта. Она вообще много читала. Отец унаследовал от мамы необыкновенное терпение и выносливость, я никогда не слышала от него ни одной жалобы».

У Людвига Ивановича и Елизаветы Ивановны было трое детей: сыновья Владимир и Алексей, дочь Ольга. Старший сын их Владимир был как раз тем писателем Дедловым, который сотрудничал с суворинским «Новым временем». Ольга послужила прототипом повести Дедлова «Сашенька». Вот что о ней вспоминает Елена:

«Я познакомилась с ней, когда она была совсем седой, и ей, должно быть, было сильно за пятьдесят. Маленькая, кругленькая, вся какая-то мягкая, с круглым добродушным лицом и совершенно детскими глазами, она, как колобок, бесшумно перекатывалась по комнатам. В противоположность свободомыслящей матери, она была глубоко набожна. Ходила в церковь, соблюдала все посты и обряды, до страсти любила церковное пение, читала журнал «Паломник» и жития святых. Еще у нее была страсть крестить детей. В окрестных деревнях и среди духовенства у нее было бесчисленное количество крестников и крестниц, которых она нежно любила. Мать она боготворила и в то же время трепетала перед ней. Странно было слышать, как седая женщина высоким дрожащим голосом (Елизавета Ивановна

была глуха) спрашивала у матери разрешения по всяким пустякам: «Мамахен, можно я пройдусь?», «Мамахен, можно мне взять яблочко?» и т. д.»

Необходимо подчеркнуть, что тема православия, христианской веры проходит золотой нитью в четвертой книге. Живущую тогда интеллигенцию немало интересовали вопросы участия Бога в судьбе людей, в происходящих событиях. Они никогда не роптали на свою судьбу, а часто им приходилось переносить немалые страдания и терпеть лишения, при этом уповая на Божью помощь. Понимали и чувствовали, когда она приходила.

В 1918 году в Могилеве в один из церковных праздников прихожане Трехсвятительского храма, несмотря на то, что было принято решение о его закрытии и запрете богослужения, направились крестным ходом в другую церковь. Люди несли в руках иконы и хоругви. Чекисты стали разгонять прихожан, начали стрелять. Люди разбегались, унося святыни. Среди них была и Елена Казанович с иконой «Образ Пресвятой Богородицы» с мощами святого Онуфрия. Именно эта святыня, как считала Елена Борисовна, помогла им выжить в трудные годы эмиграции и пройти тяжелейший путь возвращения на родину.

Анатолию Стецкевичу-Чебоганову удалось узнать подробности истории возвращения образа Пресвятой Богородицы Могилево-Братской в родную обитель.

Еще при жизни Елена Борисовна подарила эту икону друзьям — Клавдии Степановне Глазковой и ее дочери Ольге.

Ольга тяжело болела и часто обращалась за помощью к образу Пресвятой Богородицы. Она чувствовала тепло, исходящее от иконы, и ей становилось легче.

Однажды Ольга услышала голос: «Отвези меня на место». Услышав это в первый раз, она рассказала матери, но та не приняла ее слова во внимание, подумав, что больной дочери почудилось. После второго раза, услышав те же слова Богородицы, молодая женщина рассказала об этом своей старшей сестре. И снова родные не придали значения сказанному.

В третий раз Ольга увидела икону во сне на сырой стене в подвале и снова услышала строгий голос: «Отвези меня в монастырь — я там нужна». На этот раз мать с дочерью обратились к священнику. Батюшка благословил отвезти икону в Могилев, так как надпись была «Могилево-Братская», да и мать с дочерью знали от Елены Казанович, что икона хранилась в одном из могилевских монастырей. В августе 1995 года святой образ был передан в Могилевский Свято-Никольский монастырь владыке Максиму.

Еще одну положительную черту характера своих родственников подмечает автор воспоминаний, очень важную в жизни человека. Это — жизнерадостность, оптимизм, которые относятся также к христианским добродетелям. Вот что рассказано о сестре матери Лидии Николаевне Ладшевской:

«Еще молодой девушкой Лидия избрала своим девизом афоризм Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть счастливым — будь им». И всю жизнь следовала ему. А между тем на нее с первых шагов взрослой жизни сыпались несчастья и беды, но было в ней какое-то, я бы сказала, внутреннее счастье, которое помогало ей все преодолевать. Может, этому способствовали отличное здоровье и крепкие нервы? Она была очень деятельная, подвижная, и ей удавалось все, за что она бралась. Очень отзывчивая, она умела каждому помочь тактично и незаметно». Здесь, скорее всего, дело обстоит так: оптимист, отзывчивая, — поэтому и здоровая.

Пытаясь с наибольшей полнотой нарисовать образ своей тети, племянница через несколько страниц вновь продолжает о ней рассказ:

«Тетя Лида была менее красива из трех сестер, но пользовалась наибольшим успехом. Смуглая брюнетка, среднего роста, с легкой склонностью к полноте, с небольшими, но умными и очень выразительными карими глазами, неправильными, но привлекательными чертами лица, всегда оживленная. Заразительно веселая, с очаровательными ямочками на щеках, она невольно привлекала внимание. В семье ее прозвали «Лида золотая ручка» по прозвищу известнейшей в то

время воровки-авантюристки «Соньки золотой ручки», так как в ее руках все так и кипело и ей удавалось все, за что она бралась».

Как видно из этого и других примеров, автора в большой степени волнует представление о красоте внешней и внутренней, об отношении к ней окружающих и самого человека. Красота уже воспринимается Еленой Казанович как социальный и божественный феномен. Подтверждается это и рассказом о сестрах Жуковых:

«Сестры Жуковы были исключительно музыкальны, старшая — Вера Петровна — прекрасная пианистка, а у Анны Петровны было исключительной красоты и силы контральто. Судьба зло подшутила над Анной Петровной: одарив прекрасным голосом, умом и чувством прекрасного, наделила безобразной наружностью и, главное, бесформенной фигурой. Она окончила петербургскую консерваторию, и тамошние профессора, очарованные ее голосом, сулили девушке мировую славу. Между тем, по окончании консерватории из-за своей фигуры она не смогла получить ни одного ангажемента. У Праховых ее постоянно просили петь, но и там некоторые художники говорили, что лучше бы она пела несколько хуже, да была несколько привлекательнее».

Первая книга «Я — сын Ваш: Стецкевичи, Сацкевичи-Стецкевичи герба Костеша. Карафа-Корбуты герба “Корчак”» содержит описание и родословные росписи прямых предков и родственников автора. В предисловии книги он рассказывает о том, что стало основной причиной написания книги. В молодости он был потрясен рассказами своих родственников о тяжелейших испытаниях, выпавших на их долю в период сталинских репрессий и в годы Великой Отечественной войны. В самом начале раздела «Моя бабушка — Мария Александровна Карафа-Корбут» внук пишет:

«Как только на минуту представлю, что выпало на долю моей многострадальной бабушки, слезы застилают глаза, ком подступает к горлу. Хочется броситься через годы, защитить и согреть ее». Мария Александровна с тремя малолетними детьми прошла все круги ада компании раскулачивания, оказалась в ссылке в Коми-Пермяцком округе. «Коми-Пермяцкий округ, куда их привезли, всегда славился суровым климатом. Особенно его студеное дыхание чувствовалось в тайге, где белорусским кулакам велели выгружаться. Ни жилья, ни времянок. Сплошной лес да глубокий снег. И только где-то вдалеке виднелись дома деревушки Большой Пальник». Дважды она решалась на побег и дважды ее этапировали обратно. Причем, в последний раз разлучили с детьми. Но Анатолий Васильевич удивлен не только мужеством и стойкостью характера Марии Александровны:

«Я думаю, что моя бабушка совершила настоящий подвиг. Подвиг материнства и человеческого достоинства. Столько страданий выпало на ее долю, но она не сдалась, не очерствела, не замкнулась в своем горе, а стала еще благороднее. Помню ее только жизнерадостной. Она никогда ни на что не жаловалась, всегда была приветливой. Незабываемая картина: бабушка сидит на лавочке возле своего дома, а все, кто ни проходит, останавливаются, присаживаются рядом с ней, чтобы поговорить. Она была обаятельным, участливым, доброжелательным человеком, всем старалась помочь, посоветовать, подсказать».

Не меньше испытаний выпало и на долю мамы автора, Александры Михайловны. Когда Марию Александровну повторно арестовали и отправили по этапу на Волгу, дети остались одни. Родительский дом уже заселили, спали дети в кузнице. Чтобы прокормиться, пришлось попрошайничать. Детей дразнили «кулаками». Однако вопреки всем трудностям Александра поступила в Слуцкое педучилище и успешно его закончила. Но грянула война, которая стала новым трудным испытанием. В 1943 году немцы схватили ее, чтобы увезти в Германию. Но на станции она заболела тифом. Немецкий врач пожалел ее и не отправил в барак для тифозных, а разрешил отвезти домой. Дома «девушка выздоровела, расцвела, стала на загляденье хороша».

После войны вышла замуж за бывшего партизанского командира, родила и воспитала пятерых детей.

«Умерла мама на 80-м году жизни, — пишет автор. — Она не хотела,

чтобы ее похоронили в Засмужье, где столько пришлось пережить. Покоится она на Северном кладбище в Минске. Там установлен памятник и одновременно мемориал всем моим репрессированным в 1930-е годы родственникам: мама в скорбной позе опирается на старинную амфору с дворянскими гербами ее родителей — Стецкевичей и Карафа-Корбутов. У ног мамы — крест, на котором увековечены фамилии тех близких, чьи могилы не известны:

Отца Михаила Ивановича Сацкевича-Стецкевича (расстрелян 06.03.1930);

Брата Ивана Михайловича Сацкевича-Стецкевича (погиб в ссылке в 1930 году);

Дяди Василия Петровича Карафа-Корбута (расстрелян 06.03.1930);

Дяди Георгия Александровича Карафа-Корбута (26.11.1885-1930)».

Годы Великой Отечественной войны вписали в историю двух родов новые героические страницы. На первый взгляд, сталинские репрессии могли бы вызвать, да и собственно не могли не вызвать, неприязнь к существующему режиму. Но историческая память, воспитание призвали их на защиту Отечества.

Вот что рассказывает автор о судьбе Александры Ивановны Карафа-Корбут (до замужества Сацкевич-Статкевич), одной из восьми сестер его деда:

«Так получилось, что раскулачивание, от которого пострадало большинство моих родственников, ее не коснулось. Они с мужем быстро вступили в колхоз, так как думали, в первую очередь, о детях, которых в семье было много. Но на них все время подозрительно смотрело начальство, особенно председатель сельсовета. Он знал, что сестер Александры Ивановны — Ефросинью и Антонину (в замужестве Шантор) — сослали в Иркутскую область на золотые прииски, там они и умерли. Председатель угрожал: «Тебя ожидает такая же участь!»

Когда началась Великая Отечественная война, Александре Ивановне было уже 72 года. Два сына и дочь ушли на фронт, трое сыновей — в партизаны. А тот председатель сельсовета, который все время угрожал им Сибирью, подался в полицаи. Такие люди быстро приспосабливаются к любой власти и усердно ей служат. Известно, что именно он навел на Александру Ивановну фашистов, рассказав им о ее сыновьях.

...Александру Ивановну арестовали. Долго пытали, но она молчала. Как могла мать предать своих сыновей?! Измученную, ее привязали веревкой к лошади и потащили через деревню Селец в Глуск...

В Глуске ее еще несколько дней пытали. А потом живой закопали в землю. Александра Ивановна, как солдат, похоронена в братской могиле в райцентре».

Возвращаясь к дневникам Елены Борисовны Казанович, в которых также содержатся различные цитаты, стихи и изречения, близкие ее сердцу, хочется привести следующие слова:

«Моей родине. Из прекрасной Франции я вижу тебя, моя милая и далекая, бесконечно любимая родина. Мое сердце тянется к тебе, грустит непонятною грустью вместе с твоими широкими, неоглядными просторами.

...Я люблю тебя, моя милая, грустная, такая бесконечно родная, бесконечно любимая! Как влюбленный, пламенным сердцем тянусь к тебе и грущу о том, что мы далеки друг от друга.

С любовной надеждой смотрю вдаль, когда наступит тот день, когда мы встретимся и улыбнемся друг другу. Будь счастлива, моя родная, храни тебя Бог...»

Эти слова как нельзя лучше передавали чувства находящейся в эмиграции Елены Казанович, но не в меньшей степени они могут передавать и душевное состояние вышеупомянутых героев в периоды лихолетья.

Безусловно, в изданных книгах называется много достойных имен, которые оставили заметный след в истории не только Беларуси, внесли большой вклад в развитие и преумножение духовных и культурных ценностей. И все же главный герой их — Мать, которая в тяжелейших условиях оказывается единственным человеком, который сохраняет род, является его достойным представителем.

Александр ГАЙДУК

Книжная полка

Выбор Геннадия Романовича

Предлагает издательство «Мастацкая літаратура»

Галіна Васілеўская. Іх было чацвёра. *Аповесць. Апавяданні. Мн.: Мастацкая літаратура, 2013.*

Года не только к суровой прозе клонят. Клонят года и к воспоминаниям. Что ж, это естественное желание человека, когда прожито немало, оглянуться назад, еще раз пройтись ранее пройденными дорогами. Такая потребность осмысления прошлого, а в большей степени — переосмысления его, характерна для писателей. Не потому ли Галина Василевская и написала, говоря ее словами, «аповяд-успамін» «Іх было чацвёра». Герои этого повествования — известные белорусские писатели Иван Шамякин, Андрей Макаенок, Алексей Кулаковский и Петр Василевский. Видные литераторы, интересные люди. Последний из них, ко всему, был мужем Галины Онуфриевны. Все четверо были неразлучными друзьями. Естественно, ходили друг к другу в гости. Своей среди них была и Г. Василевская. В общем, есть о чем вспомнить, есть о чем рассуждать. Что и делает писательница в своей исповеди. Также в сюжетной канве повествования она использует отрывки из дневников П. Василевского. Что-то рассказывает он, что-то дополняет она, а в результате получается увлекательное повествование. Но, думается, особенно интересно будет познакомиться с этим произведением молодым читателям. Благодаря Г. Василевской они увидят четверых писателей не хрестоматийными, забронзовелыми литераторами, а живыми людьми.

«Аповяд-успамін» в новой книге Г. Василевской занимает центральное место, поэтому она и названа именно так — «Іх было чацвёра». Но вошли в книгу и другие, не менее значимые произведения: рассказы и повесть «Сем Я». Повесть интересна тем, что в ней писательница переворачивает страницы своего рода на протяжении 150 лет. Рассказывает, казалось бы, о личном, однако, вместе с тем, через судьбы простых людей раскрываются и отдельные страницы судьбы нашего народа.

Пакуль б'ецца сэрца… *Аповесці, апавяданні. Серыя «Вера. Надзея, Любоў». Укладальнік Алесь Лесавік. Мн.: Мастацкая літаратура, 2013.*

Серия «Вера. Надзея. Любоў» основана издательством «Мастацкая літаратура» в 2007 году и постоянно пополняется новыми книгами. «Пакуль б'ецца сэрца...» — очередной томик в этой уникальной библиотечке. Еще тридцать три автора со страниц ее ведут разговор о любви. Примечательно и то, что, как и в предыдущих выпусках, разговор получается шире — о жизни вообще. А в жизни, как известно, каких только ситуаций не возникает. Сборнику дал название рассказ Юлии Зарецкой «Пакуль б'ецца яго сэрца...». Произведение это — слово представительницы младшего поколения литераторов о подвиге народа в годы борьбы с фашизмом. Углубившись в сущность трагедии народной, Ю. Зарецкая по-своему осмысливает тему войны и любви. Писательница замечает, что рассказ создан на документальной основе. Она пишет:

«У аповедзе гэтым — жыццё і слёзы маіх бабуль, іх мацярок, свякровак, сясцёр, суседак, сябровак... Я мала распытвала ў бабуль пра вайну, пра тое жыццё, тым больш — пра каханне. У памяці — толькі нейкія абрывістыя ўспаміны, словы ды задумлівыя, засяроджаныя твары...» Однако этих «нейкіх абрывістых успамінаў» достаточно для того, чтобы за ними увидеть многое, увидеть то, что для многих стало незаживающей раной. Женщина, у которой погиб муж на фронте, которая похоронила дочь, словно заново переживает все произошедшее. Всю жизнь вспоминала она своего любимого, всю жизнь надеялась... «што муж мой — жывы. Сэрцам адчувала. Ну і што, што пахавальная? Хіба не памыляліся, не ашукваліся, не хібілі? Мне адзін чалавек, з мясцовых, казаў, што бачыў яго, жывога, там, за мяжою. Небяспечна было вяртацца назад, сюды, вось ён і застаўся там...» Немало хорошего можно сказать и о произведениях других авторов: как о рассказах, так и о повестях. Благо, тема любви наших литераторов вдохновляет. Также нельзя не отметить и строгий, и требовательный отбор произведений для книги Алеся Лесовика.

Віктар Супрунчук. Цвіў белы-белы бэз. *Аповесць. Апавяданні. Мн.: Мастацкая літаратура, 2013.*

Случай необычный. По крайней мере, с подобным мне до этого встречаться не приходилось: в заглавие книги вынесено название произведения, которое завершает ее. Обычно такое произведение стоит где-то в середине, иногда ближе к началу сборника. Но чтобы в конце? Однако Виктор Супрунчук был волен поступать так, как посчитал нужным. Почему? — вопрос остается открытым. Однако я и начал читать книгу «Цвіў белы-белы бэз» с одноименного рассказа, в названии которого, правда, в отличие от названия самой книги в конце стоит многоточие. Обычный недосмотр редактора? Или автора? А, может быть, нечто иное? По прочтении всей книги начинаешь понимать, что многоточие все же более уместно, чем точка. По той причине, что герои произведений В. Супрунчука, хотя, благодаря авторскому замыслу, как бы и подводят определенную черту в своей жизни, вместе с тем находятся и на некотором распутье. К примеру, герой названного рассказа Вацлав, используя отъезд жены с детьми в деревню, поспешил встретиться с любовницей. Жена неожиданно вернулась, любовница вынуждена спускаться с третьего этажа на связанных простынях. Вроде бы все обошлось. Когда жена ушла в ванную, горе-ловелас поспешил к балкону: «...унізе на адламанай шырокай галіне ў кветках белага бэзу ляжала Аліна... Холад працяў усю яго істоту, і ён не мог стрымаць пошчак зубоў. Ён не адрываў вачэй ад Аліны, якая зграрнуўшыся, у белых стужках прасціны ляжала на зямлі пад белым бэзам. Але раптам яна пafварушылася, адкінула з твару гэтыя стужкі і паспрабавала падняцца. Мусіць, ёй не хапіла сілы, таму што зноў апусціла галаву. Яму падалося, што Аліна крыкнула: “Вацлаў, Вацлаў!..”» Как сложится дальнейшая жизнь Алины, Вацлава, можно только предполагать. Но многоточие в рассказе к месту...

Коллекция

Старая почтовая открытка: уроки любви к истории и Отечеству

Хорошо известная любителям истории серия филокартических альбомов «В поисках утраченного» пополнилась еще двумя книгами. Ранее книги вышли в издательствах «Рифтур» («Синагоги»), «Литература и Искусство» («В поисках утраченного» (автор текста — А. Н. Карлюкевич), «Знічкі Айчыны» (авторы текста — А. Н. Карлюкевич и В. А. Лиходедов). Последующие филокартические альбомы лауреата премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» вышли в издательстве «Тэхналогія».

На этот раз Владимир Лиходедов работал в соавторстве с коллекционером и меценатом Владимиром Пефтиевым. Они выпустил сборник «1812: Хронология Отечественной войны на старых почтовых открытках и в графике». С московским исследователем Кириллом Соколом — «1812: Памятники Отечественной войне на старых почтовых открытках».

Выпущенные в минском издательстве «Тэхналогія», филокартические альбомы интересны не только отражением новой темы в собирательских стараниях белорусского коллекционера. Обратившись к Отечественной войне 1812 года, Владимир Лиходедов вместе со своими товарищами по поиску сделал большой шаг вперед. Уже само желание показать все или хотя бы основные, наиболее важные события войны через открытку, с помощью графических работ, заметим, не разбросанных по миру, а хранящихся у нас, в Беларуси, в частном собрании, является новаторством, отражает настойчивый многолетний поиск коллекционера. В альбоме В. Лиходедова и В. Пефтиева — более 300 старых почтовых открыток и графических изображений. Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Г. Рапота, предваряя знакомство с книгой коротким вступительным словом, сказал следующее: «Настоящая книга представляет собой своеобразную летопись драматических событий двухсотлетней давности, героических деяний наших далеких предков. Благородные лица смотрят на нас со старинных гравюр и почтовых открыток. Эти люди своей самоотверженностью, отвагой и патриотизмом показали пример будущим поколениям. Отстояв независимость Родины, они заслужили благодарную память потомков. Как говорилось в манифесте Александра I, «славный сей год минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги». Авторы проекта обратились за подсказкой к источникам, которые уже давно стали библиографической редкостью. И в части хронологии неоценимую помощь в структурировании современного издания оказал журнал «Тысяча восемьсот двенадцатый год», 24 номера которого вышли в 1912 году, к столетию Отечественной войны... В каждом разделе альбома В. Лиходедова и В. Пефтиева («Начало войны», «От Мира до Кобрина», «От Клястиц до Полоцка», «От Смоленска до Бородино», «От Бородино до Москвы», «От Москвы до Полоцка», «От Малоярославца до Красного», «От Дубровно до Бобра», «Березина», «Окончание войны») четко определены наиболее важные даты. Например, начало войны укладывается в отрезок времени с 10 (22) июня по 26 июня (8 июля). 10-го

Франция объявила войну России, 12 (24) июня — вторжение наполеоновских войск в Российскую империю. Главные силы Наполеона переправились через Неман по четырем понтонным мостам у города Ковно. Корпус маршала Э. Ж. Макдональда переправился через Неман у г. Тильзита. И соответственно альбом открывается репродукциями, посвященными российскому и французскому императорам и их ближайшим сподвижникам. Затем следуют открытки начала XX века, отпечатанные по картинам В. Мазуровского, И. Львова, Ю. Коссака, других художников, отразивших июнь 1812 года, переправу через Неман. Коллекционеры приглашают читателя в дом в Свенцянах, где останавливался Наполеон, рассказывают об адресах дислокации штаб-квартиры 1-й Западной армии под командованием Барклая-де-Толли, других воинских формирований. Конечно же, самыми выразительными являются иллюстрационные материалы, посвященные главным сражениям. Генеральное сражение при селе Бородино — тема множества почтовых открыток, изданных в России в особенности в начале XX века, в канун столетия войны, а также в 1912 году, когда вся страна отмечала юбилей. Целый ряд репродукций — отражение той атмосферы, которая существовала в российском обществе во время войны. «Грабеж в Архангельском соборе», «Французы в Успенском соборе», «Французы в престольной палате», «Мародеры в Москве», «Грабеж и насилие французов в Москве» — красноречивые, способные много поведать сюжеты! Историю ведь не перепишешь, если следовать правде. А желающие переписать, подогнать правду под свои измышления — разве это историки?! А Бородинские сюжеты... Будто живые, предстают перед нами Наполеон и Кутузов, участники совета в Филях 2 сентября 1812 года и русские уланы в разведке... Правда, сила документального видеоряда — вот что восхищает в подборе старых почтовых открыток, на которых тиражировались произведения известных и не очень известных художников. И. Львов, В. Верещагин, В. Мазуровский, П. Гесс, Д. Скотти, А. Адам, Х. В. Фабер-Дю-Фор, Ю. Коссак, И. Прянишников, Ю. Фалат — имена художников-летописцев Отечественной войны 1812 года. Передавая их творческое осмысление драматических и трагических событий, коллекционеры расширяют диапазон действия почтовой открытки, делают филокартический материал основой художественного альбома, соединяют историко-краеведческие и художественные задачи. Листая альбом В. Лиходедова и В. Пефтиева, многим искусствоведам следовало бы задуматься о возможном проекте издания репродукций картин, литографий в формате художественного альбома. На мой взгляд, такой творческий проект развил бы и иной формат работы нынешнего поколения художников-баталистов. Как часто кажутся неуклюжими и наивными обращения современников к художественной летописи героических дел человека на службе своему Отечеству.

Логическим продолжением альбома В. Лиходедова и В. Пефтиева является книга «1812: Памятники Отечественной войне на старых почтовых открытках», подготовленная Владимиром Алексеевичем в соавторстве с Кириллом Соколом. Белорусский и российский коллекционеры показали события Отечественной войны через памятники, монументы, изображенные на открытках. Первым символом русской победы стал освященный еще накануне войны кафедральный Казанский собор Петербурга. Здесь был похоронен фельдмаршал Михаил Кутузов, хранились трофейные знамена и ключи от взятых русскими войсками европейских городов и крепостей. Первый значительный памятник был воздвигнут в Риге: величественную 15-метровую колонну открыли в 1817 году. Наибольшую работу по увековечению памяти о войне 1812 года провели во время царствования Николая I: император явился инициатором программы по установке единого комплекса типовых памятников на полях сражений («проект 1835»). Планировалось установить 16 монументов — в зависимости от значимости сражений. Но установили семь памятников. При Николае I почтили и главных полководцев войны

1812: Кутузова, Барклай-де-Толли, Платова. И если целый ряд памятников, монументов, связанных с событиями 200-летней давности, хорошо знакомы по другим иллюстрациям, ко многим из них давно проложены туристско-экскурсионные тропы, то важно и другое обстоятельство. Владимир Лиходедов и Кирилл Сокол открывают широкому читателю совсем малоизвестные и забытые памятники, а соответственно привносят новое содержание в формат историко-краеведческой работы по изучению Отечественной войны 1812 года, ее событий и героев. Небольшие лаконичные документальные зарисовки рядом с репродукциями поясняют судьбу целого ряда ушедших в вечность памятников. Нет величественной колонны в знак боя под Сверженем (была установлена в июне 1914 года), памятников боям под Ригой и Кекау. В 2012 году восстановили памятник в Красном на Смоленщине, разобранный на переплавку в 1931 году. После революции были разрушены монументы на месте мостов в Студенке. В конце минувшего столетия восстановили один из них. Не сохранился обелиск в украинском Ковеле... Наверное, не случайно в качестве предисловия к альбому и опубликовано обращение В. Лиходедова и В. Пефтиева: «...Монументы, отраженные в этой книге на репродукциях почтовых открыток, являются напоминанием не только о славе победителей, но и о бедствиях, которые несут с собой войны. Поэтому увековечение памяти погибших является тем средоточием, в котором сходятся интересы потомков всех: и победителей, и побежденных, и невинных жертв. Именно такой подход закладывает основы взаимопонимания и плодотворного сотрудничества стран и народов, волею исторических судеб оказавшихся когда-то непримиримыми врагами. Полагаем, что все заинтересованные стороны с пониманием встретят наш реальный вклад в это благородное дело: восстановление на белорусской земле двух разрушенных памятников, связанных с событиями 1812 года: в Клястицах в честь героизма солдат русской армии и под Вилейкой в память о погибших французских и польских солдатах армии Наполеона».

И это обращение, и сами многословные, богатые исторической информацией книги — свидетельство того, что коллекционерское дело может быть работой общественно значимой, важной для развития культуры, страны в целом. Давно назрела необходимость создания в стране, конечно же, в столице нашего государства филокартического музея. Почему бы частной коллекции или ряду частных коллекций не быть основой его постоянно действующей экспозиции? В России, где достаточно много издается альбомов, книг по материалам коллекций старых почтовых открыток, коллекционерское радение Владимира Лиходедова отмечено медалью «За большой вклад в развитие коллекционного дела в России». Но ведь неизмеримо больше частный коллекционер, патриот своей страны, сделал не для России, а для родной Беларуси, для Полоцка, где он родился и вырос. И, наверное, по сути своей общественной работы, по сути своих неравнодушных исторических поисков Владимир Алексеевич много сделал для Полоцка, увековечения памяти о полоцкой истории. По праву ему носить бы и звание почетного гражданина древнего города. Впрочем, это решать самим полочанам... Мне хотелось бы сегодня, отмечая значимость очередного филокартического проекта Владимира Лиходедова, его партнеров по филокартическим исследованиям, подчеркнуть важность широкого государственного внимания к подобной работе. Нужен в Беларуси и музей старой открытки. Надо было бы продолжить и начатую Белорусским государственным университетом работу по научному, методическому обеспечению существования частных коллекций, их описанию. Возможно, следовало бы учредить с этой целью постоянно действующую международную конференцию. И база для этого есть: у Владимира Лиходедова, его коллег по филокартическим поискам сложились добрые связи с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны.

Кирилл ЛАДУТЬКО

Литературное содружество

Следы пустыни: белорусские писатели в Туркменистане в XIX—XX вв.

«Туркмения — страна очень большая, и значительную ее часть занимает пустыня, а пустыня не сохраняет следов. Песком засыпает все: пути караванов, кости павших верблюдов и могилы караванщиков. Погребены под песками некогда богатые города, могущественные крепости и русла рек. Стерлись с лица земли, исчезли из памяти людей великие царства, казавшиеся некогда незыблемыми. Однако есть нечто не подвластное ни времени, ни стихии. Вечным оказалось как раз то, что, наверное, в свое время считалось самым тленным, потому что было самым невещественным.

Осталось слово! Песня, пропетая караванщиком в бесконечной дороге, жалоба чабана на свою жизнь, плач женщины, выданной замуж за нелюбимого. Песни горя, песни любви, шутка безвестного мудреца — вот единственный след, сохранившийся в пустыне», — прочитал я предисловие Наума Гребнева к книге туркменских народных песен и пословиц в его переводе «След в пустыне». Старенькая тоненькая книжечка, изданная в московской «Детской литературе» в 1968 году, часто беру ее в руки, перелистываю страницы, вспоминаю древний туркменский край... «Вкусна ль еда, жующий знает. Трудна ль тропа, идущий знает». «Добром добро оплатишь — молодец. На зло добром ответишь — ты мудрец». «Не поищешь — не найдешь. Не посеешь — не пожнешь». ...Перелистываю страницы — перелистываю великую память великого народа... Но я бы все же немного добавил к сказанному замечательным другом туркменской литературы Наумом Гребневым. Пустыня настолько содержательна и велика, способна многопланово влиять на человеческое сознание, что остается еще память... Память, в свою очередь, генерирует новые идеи, новые художественные образы, символы, архетипы.

Она, пустыня, как и туркменские оазисы, как и туркменское небо, — в памяти многих белорусских литераторов, которые в разные годы были гостями безграничного в своих пространственных представлениях края. Так кто же из писателей Беларуси приезжал в Туркменистан?..

Наверное, первые следы, оставленные в Туркменистане, связанные с Беларусью, принадлежат Александру Ходзько. Родился поэт, фольклорист, славист, востоковед в деревне Кривичи Мядельского района Минской губернии 30 августа 1804 года. Окончил Виленский университет со степенью кандидата философии в 1823 году. А также — восточное отделение живых языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел в Петербурге (1829). С 1831 года — на дипломатической службе в Персии. Первым описал эпос о Кёр-Оглы, стихотворения Махтумкули и Кемине, фольклор туркменского народа. Издал собрание преданий и песен народов севера Персии, книгу «Персидская грамматика». Переводил со славянских языков на восточные. С 1842 года жил в Париже. Преподавал в Коллеж де Франс в Париже в 1857—1883 гг. Об Александре Ходзько в газете «Вечерний Ашхабад» 19 апреля 1972 года была статья белорусского исследователя Валентина Грицкевича «Переводчик туркменской поэзии». В Беларуси о Ходзько, легендарном востоковеде, писал литературовед Владимир Мархель.

Пока что малоисследованным является следующий факт. В 1914 году в царскую армию был мобилизован Алесь Лежневич. Известно, что до этого времени он работал в Туркестане в передвижных любительских театрах артистом драмы. Драматург Алесь Лежневич родился в 1890 году в деревне Сентянеты Ошмянского уезда Гродненской губернии (теперь — Сморгонский район Гродненской области). Автор книг «Новые всходы», «Тамила», «С дымом-пожаром», «Крестьянский театр», вышедших в 1927—1928 гг. в Минске. В 1927 году выступал в печати и со стихотворениями. В 1930 году был первый раз репрессирован. В 1937 — повторно репрессирован и приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован 15 ноября 1957 года.

Александр Поцелуевский... К сожалению, его имени нет в белорусских энциклопедиях. Но, к счастью, его хорошо знают и помнят в Туркменистане. Есть и книга о нем, издана она в Ашхабаде... Родился, правда, Александр Петрович в селе Букмуйжа Витебской губернии (территория нынешней Латвии). Но везде и всегда писал о себе белорус. И еще учился в Витебской гимназии, и работал в Витебске после окончания Лазаревского института востоковедения. В 1920-е годы переехал в Ашхабад. С 1933 — профессор Ашхабадского педагогического института. Создатель советской школы туркменоведения. Первым дал научное описание туркменского языка. Автор многих работ по туркменскому фольклору и литературе. Написал книги «Фонетика туркменского языка», «Диалекты туркменского языка», «Основы туркменского литературного языка». Погиб во время землетрясения в Ашхабаде 6 октября 1948 года.

Гостила в Ашхабаде и белорусская поэтесса Евдокия Лось (1929—1977). Вероятно, это было в 1970-е годы, в самом начале 1970-х... У нее есть стихотворение, посвященное Тоушан Эсеновой, Ата Атаджанову, Каюму Тангрыкулиеву. Гостем Туркменистана был и известный белорусский поэт, прозаик, литературовед Олег Лойко (1931—2009). Об этой поездке рассказывают несколько его стихотворений. В Туркменистане был и Максим Танк, писал стихи об удивительном крае. Максим Танк переписывался с Керимом Курбаннепесовым. По Каракумскому каналу путешествовал Алесь Адамович — известный белорусский литературовед, автор романов о Великой Отечественной войне. В путешествии его сопровождал Какалы Бердыев. Очерки свои о Каракумском канале белорусский и туркменский публицисты написали в соавторстве и опубликовали в журналах «Совет эдебияты», «Полымя», «Дружба народов» в 1960 году.

В начале 1980-х побывал в Туркменистане и замечательный белорусский писатель Янка Сипаков, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Тоже написал эмоциональный, яркий очерк о своем путешествии. Уже после смерти писателя журнал «Полымя» опубликовал его книговедческий дневник «Мои книги». И вот что пишет Сипаков о Туркменистане: «Книгу П. Караева «Туркменские кони» подарил мне Амманазар Аширов, с которым сидели рядом на съезде писателей Туркмении и который согласился показать мне и Репетекский барханный заповедник, и древнюю Нисею-Ниссу, и верблюдоводческий молочный совхоз «Сакар-Чага» в ауле Кеши, где разводятся эти красивейшие и самые ловкие в мире лошади. Ими любовались Геродот и Ксеркс, люди Мидии и Урарту, Ассирии и Двухречья.

Эти кони — настоящие красавцы: стройные, с долгой и гибкой шеей, большими глазами, точеной головой, мощными ногами...» Мне довелось несколько раз беседовать с Янкой Сипаковым о Туркменистане. Он всегда восхищался туркменским народом, его гостеприимством, мужеством, восхищался особой красотой туркменского края, как настоящий поэт и спустя годы живо описывал яркие краски пустыни...

Приезжал в Ашхабад и белорусский прозаик Алесь Жук. В газете «Эдебият ве сунгат» на туркменском языке был опубликован и его рассказ. Встречался с туркменскими писателями. На книге Керима Курбаннепесова «Избранное» (Москва, 1979), которая

хранится у Алеся Жука, есть автограф: «Моему талантливому другу Алесю — Саше с наилучшими пожеланиями и с симпатией к его личности — твой Керим. 24.12.1980. Ашхабад». Есть и письмо народного поэта Керима Курбаннепесова, адресованное белорусскому прозаику: «Дорогой Алесь! Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом! Большое спасибо за книгу «Снег под солнцем». Почитаю и напишу. Спасибо за книжки Панченко. Прочитал 5—6 стихотворений, очень понравились. Должно быть, на белорусском еще лучше.

Посылаю свою книжку на память. Приезжайте еще раз. Просто так. В Туркмению, ко мне в гости. Поклон домочадцам.

Еще раз с Новым годом!

Твой Керим...» Вероятно, Алесь Жук был в Ашхабаде в 1980 году.

С 1979 по 1984 годы в Ашхабаде жил белорусский писатель, краевед, публицист, историк Николай Калинкович (1949—1990). Родился он в Лунинецком районе, на Брестчине. Первая книга — «Лунинец» (написана в соавторстве) — увидела свет в Минске в 1980 году. В Ашхабаде Николай издал три книги — «Не порывается земная связь» (1982), «Имя мое — Свобода» (1984), «Возвращение рассветной рани» (1987). Николай много печатался в туркменских газетах и журналах. Очерки, документальные повести были посвящены истории Туркменистана первой четверти — первой половины XX века. В рукописи остался документальный роман Николая Калинковича «Керкинский бастион». Белорусский исследователь дружил с туркменскими писателями Керимом Курбаннепесовым, Агагельды Алланазаровым, Курбаном Чолиевым, Амандурды Джанмурадовым, Нарклычем Ходжагельдыевым, Какали Бердыевым, Курбандурды Курбансахатовым и другими.

Аркадий Мартинович — известный белорусский прозаик и поэт. Активно работал в белорусской литературе в 1950—1980-е годы. После последнего ранения во время Великой Отечественной войны был отправлен в тыл, в Среднюю Азию. Служил в тыловых частях до середины 1946 года в Ашхабаде и его окрестностях. О Туркменистане — многие страницы его романа «Не покидай следов своих». В 1970-е годы в Ашхабад приезжал и его сын — поэт Павел Мартинович. Посвятил Туркменистану несколько своих стихотворений. В начале 1970-х гостил в Туркменистане и русский поэт из Беларуси Бронислав Спринчан.

После освобождения из ГУЛАГа в 1946 году в Ашхабад к родной сестре Екатерине, которая работала в оперном театре, была женой кинорежиссера Сабурова, приехал писатель Борис Микулич. Еще до войны (первый раз его посадили в 1936) Борис Михайлович издал в Минске семь книг замечательной лирической прозы. Уже тогда, в 1930-е, известный русский писатель Владимир Лидин переводил на русский язык книгу рассказов Бориса Микулича. Официально жить Микуличу в столице запрещалось. Писатель ездил отмечаться в Байрам-Али. В Ашхабаде Борис Михайлович написал первую часть романа «Вечность» (напечатана была в 1972 году в журнале «Полымя» — через 18 лет после смерти автора). Роман — из задуманной автором эпопеи о сражениях белорусов с французами в Отечественной войне 1812 года. В столице Туркменистана писатель работал над «Повестью для себя», а это произведение увидит свет только в 1987 году, в журнале «Нёман». В июне 1947 года Борис Микулич уехал из Ашхабада на родину, в Беларусь. Сестра Екатерина погибла во время землетрясения. В 1949 году Бориса Михайловича снова арестовали и выслали в Сибирь, где он в 1954 году умер, не дожив трех месяцев до реабилитации.

В июле 1942 года в Ашхабаде родилась поэтесса и литературовед Любовь Турбина. Ее отец — известный белорусский ученый в области генетики и селекции растений, академик Академии наук Беларуси Николай Турбин. Любовь Турбина — автор книг стихотворений «Улица детства», «Город любви», «Наша надежда», вышедших в Минске. Сейчас писательница живет в Москве. Стихотворения Л. Турбиной были опубликованы в переводе на

туркменский в «Эдебият ве сунгат» в 1982 году.

Есть и такая тема в привязанности судеб белорусских литераторов к Туркменистану — служба в Туркестанском военном округе в послевоенные годы. В Ашхабаде работал газетчиком прозаик Василь Ткачев (родился в 1948 году на Гомельщине). Жил в столице Туркменистана в 1973—1980 гг. Много печатался в туркменских газетах и журналах. Дружил с писателями Азатом Рахмановым, Атамурадом Атабаевым, Пирнепесом Овезлиевым, Аширом Назаровым. Об Ашхабаде — его рассказы в книге «День в городе» (Минск, 1985 год). Книга и написана была в Ашхабаде. В Кушке служили поэты, родные братья, Анатоль и Василь Дебиши. Было это в 1980—1982 гг. Сейчас они живут в Бресте. С Кушкой связана и судьба белорусского поэта, прозаика, пишущего на русском языке, — Олега Буркина. Родился он в 1963 году. Автор повести о службе и войне в Афганистане «В поход на чужую страну собирался король», нескольких киносценариев. Сейчас живет и работает в Минске. В те годы, когда служил в Туркменистане, участвовал в республиканском семинаре молодых писателей. Был знаком с поэтом Вадимом Зубаревым, прозаиком Альбертом Поляковским, которых хорошо знают и помнят в Туркменистане. В Туркменистане служил и поэт Александр Соловьев, чья творческая судьба самым тесным образом связана и с Беларусью. Служили в Туркменистане прозаики Николай Лавринович, Николай Еленевский. Леонид Чигрин — уроженец Беларуси (родился на Витебщине в 1942 году), живет и работает в Таджикистане. В Душанбе издано более 20 его исторических повестей, романов. В Туркменистане Леонид проходил срочную солдатскую службу. А в романе Леонида Чигрина «Великий шелковый путь» есть страницы и о Туркменистане, древнем Мерве.

В 1980-е годы в Ашхабаде главным редактором газеты «Туркменская искра» работал уроженец Беларуси публицист и поэт-песенник Василий Слушник. А в Ташаузе в 1970—1990-е годы редактировал «Ташаузскую правду» уроженец Беларуси, член Союза писателей СССР Михась Карпенко, автор многих поэтических сборников, вышедших в Ашхабаде на русском языке. До Ташауза, кстати, работал он журналистом и в Красноводске. В 1980-е годы в Ашхабаде жила белорусский литературный критик, киновед, кандидат филологических наук Людмила Саенкова. Сейчас она возглавляет кафедру литературно-художественной критики Института журналистики Белорусского государственного университета. В 1970—1980-е годы частым гостем Туркменистана была поэтесса, переводчица Любовь Филимонова. Выпускница Литературного института, она изучала туркменский язык, переводила на белорусский стихотворения туркменских поэтов. В частности, Курбана Чолиева, Амандурды Джанмурадова и других.

Виктор Шимук родился в 1933 году в деревне Змеёвка Дятловского района Гродненской области. Поэт, публицист, прозаик, он долгие годы работал в газетах, на телевидении. Первую книгу — поэму «Возле Бронной горы» — издал в 1960 году. Туркменистану, который он открыл для себя в начале 1980-х годов, посвящены его очерки «Каракумские арыки», «Полюбил тебя, Туркмения!..»

Отдельный этап в белорусско-туркменских литературных, культурных отношениях — участие белорусских писателей и книгоиздателей в традиционной ашхабадской выставке «Золотая книга». В 2009 году Республика Беларусь была почетным гостем этой выставки. Делегацию возглавлял заместитель министра информации Игорь Лаптенок. Он член Союза писателей Беларуси, известный переводчик художественной литературы. Прошли презентации книг белорусских издательств «Литература и Искусство», «Художественная литература». Гостями выставки были в 2009 году издатели и писатели Беларуси Алесь Бадак, Дмитрий Макаров, Елена Масло, Геннадий Пашков, Алла Корбут, Екатерина Черепок, Константин Хотяновский, Александр Аксененко. Следовало бы, вероятно, напомнить, что в минских издательствах, начиная с послевоен-

ных лет, увидело свет на белорусском языке более 20 книг туркменских поэтов и прозаиков. Будем надеяться, что такая работа по представлению туркменской национальной литературы в Минске продолжится, обретет «второе дыхание».

Гостил в Туркменистане и народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин (родился в 1935 году). Встречался здесь и с белорусским литератором Василем Ткачевым, который тогда жил в Ашхабаде, участвовал Рыгор Иванович в съемке документального фильма о Туркменистане. Поездка эта состоялась приблизительно в конце 1970-х годов. О Туркменистане у Рыгора Ивановича — самые добрые воспоминания. Он переводчик одного из стихотворений Каюма Тангрыкулиева на белорусский язык.

В 1987 году в Ашхабад приезжал Алесь Емельянов. Белорусский поэт (родился в 1952 году в Чаусском районе Могилевской области), автор поэтических сборников «Утро полнится жизнью», «Неубранное поле», «На подкове дорог». Алесь Емельянов привез в Ашхабад, в Союз писателей Туркменистана рукопись антологии белорусской детской литературы. Позже, если не ошибаюсь, она увидит свет на туркменском языке в 1989 году в издательстве «Магарыф» под названием «Ясное солнышко» (пишу по памяти — «Ачык асман»). В Ашхабаде Алесь встречался с Керимом Курбаннепесовым, Курбаном Чолиевым, Донгатаром Бердыевым, вероятно, с кем-то еще из туркменских поэтов, прозаиков.

Такие вот штрихи к будущему исследованию по теме «Белорусско-туркменские литературные отношения». Причем, с одной только стороны, об одной только грани. Ведь можно еще говорить и о других линиях содружества, литературной дружбы. И о том, кто из писателей Туркменистана приезжал в Беларусь, кто и что написал о Беларуси. Чьи произведения переведены на белорусский язык. Кто является переводчиком как с туркменского на белорусский, так и с белорусского на туркменский... О каких туркменских писателях есть работы в белорусском литературоведении. Кто из туркменских авторов писал о белорусских классиках. Словом, пространство для исследователей достаточно широкое. И такое многогранное полотно о белорусско-туркменской литературной дружбе, несомненно, когда-то появится. И в Беларуси, и в Туркменистане. Я верю в это.

И еще. Эти строки родились в расчете, что найдутся читатели, которые сегодня подскажут, о чем еще не написано на эту тему...

Закончу свои заметки обращением все к тому же Науму Гребневу, к его предисловию в книге «След в пустыне»... «Удачная песня или мудрое слово передавались от отца к сыну, от сына к внуку, и здесь уж были не властны ни века, ни пески...» След белорусской литературы, белорусских литераторов в Туркменистане тоже останется на века. Но важно и сегодня увидеть его, хорошо рассмотреть.

Микола БЕРЛЕЖ

События

Литература и география

В каких странах читают журнал «Нёман»? География ответа на этот вопрос расширилась: «Нёман» принял участие в мероприятиях Дней русскоязычной прессы в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве.

Дом русского зарубежья был создан в Москве как центр изучения, сохранения и экспонирования наследия эмиграции, а также для развития и укрепления связей с соотечественниками за пределами России. Бела-

русь, конечно же, нельзя причислить к странам, в которые активно эмигрировали из России, но нас прочно связывают история, язык. Культурные связи между Домом русского зарубежья и Беларусью надежные. Доброй традицией, например, стала передача в дар книг: Национальной библиотеке Беларуси, Белорусскому государственному университету, Могилевскому государственному университету им. А. А. Кулешова, Брестскому государственному университету им. А. С. Пушкина.

В этом году сотрудничество укрепилось еще и участием белорусского издания в мероприятиях Дней русскоязычной прессы. Представители СМИ, которые выходят на русском языке в разных странах, собрались в Доме русского зарубежья в третий раз. И впервые к участию были приглашены литературные издания: журнал «Нёман» (Беларусь) и журнал «Новый Берег» (Дания). Общественно-политические издания и издания диаспор представили участники из Швеции, Финляндии, Франции, Украины, Ирландии, Болгарии. В качестве эксперта была приглашена профессор, доктор филологических наук, декан факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Громова. За три дня работы участники успели провести презентации своих изданий (особенный интерес вызвали воспоминания и книги начала XX века, опубликованные в «Нёмане»); поучаствовать в работе «круглого стола» «Самобытность СМИ в условиях информационного многообразия», где в обсуждении затронули вопросы билингвизма, формата изданий и способов его изменения, литературы нон-фикшн и проблемы реализации общественных проектов в СМИ; посетить редакцию «Литературной газеты»; познакомиться с работой информационного агентства «РИА Новости»; познакомиться с архивами Дома русского зарубежья, в которых хранятся уникальные документы и музейные предметы; побывать на Международной научной конференции «Династия Романовых: традиции благотворительности и меценатства».

Дни русскоязычной прессы в Доме русского зарубежья стали чудесной возможностью для обмена творческим опытом сохранения самобытности издания и языка, на котором оно выходит, в изменчивом мире медиа. А также упрочили культурные связи между Москвой и Минском. Ну и конечно, позволили журналу «Нёман» найти новых читателей.

Марина ИВАНОВА

Авторы номера

ЛЕВАНОВИЧ Леонид Киреевич. Родился в 1938 году в д. Клеевичи Костюковичского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор многих книг прозы и публицистики. Лауреат литературной премии Ивана Мележа и премии Федерации профсоюзов Беларуси. Живет в деревне Петрилово Вилейского района Минской области.

САПОЖКОВ Юрий Михайлович. Родился в 1940 г. в Рязанской области (Россия). Окончил Белорусский государственный университет. Журналист, поэт, переводчик. Автор сборников стихов «На счастье», «Возраст», «Очертания греха», «Письмо другу», «Точка невозврата» и нескольких книг очерков. Работал редактором отдела поэзии журнала «Нёман». Умер 5 июня 2013 года.

ГАПЕЕВ Валерий Николаевич. Родился в 1963 г. в д. Осово Рогачевского района Гомельской области. Окончил Минский электротехникум связи. Печатался в республиканской периодике, автор нескольких книг. Живет в г. Ивацевичи.

ШАБОВИЧ Микола (Николай Викторович). Родился в 1959 г. в д. Бадени Мядельского района Минской области. Окончил Минский государственный педагогический институт имени М. Горького. Кандидат филологических наук. Автор ряда поэтических книг. Живет в Минске.

ПО Алекс (Порубов Александр Николаевич). Родился в 1982 г. в Минске. Окончил юридический факультет Академии МВД Республики Беларусь. Кандидат наук, доцент. Автор более 100 художественных и научных публикаций. Живет в Минске.

КУЛЕШ Михаил Иванович. Родился в 1956 г. в д. Полкатичи Ивановского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор книг поэзии «Белые ночи», «Окна». Живет в Бресте.

ГОЛУБОК Владислав (Голуб Владислав Иосифович). Родился в 1882 г. на станции Лесная Барановичского района Брестской области. Сдал экстерном экзамены за курс Минского городского училища, окончил Художественные курсы. Поэт, прозаик, драматург. Автор сборника «Рассказы», около 40 пьес, публицистических и театроведческих статей. Расстрелян в 1937 году.

БАРАНОВ Виктор Федорович. Родился в 1950 г. в с. Кривуша Кременчугского района Полтавщины (Украина). Окончил филологический факультет Киевского университета им. Т. Шевченко. Поэт, прозаик, переводчик. Автор многих книг поэзии и прозы. Председатель Национального союза писателей Украины, главный редактор литературного журнала «Киев», вице-президент Общества «Украина-Румыния». Живет в Киеве (Украина).

ТАРАСЮК ГалинаТимофеевна. Родилась в 1948 г. в с. Орловка Теплицкого района Винницкой области (Украина). Окончила филологический факультет Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Автор многих сборников поэзии, книг прозы и публицистики. Лауреат многочисленных литературных премий. Заведует отделом поэзии и прозы газеты «Литературная Украина». Живет в Киеве (Украина).

ДАНИЛЕНКО Владимир Григорьевич. Родился в 1959 г. в с. Туровец Житомирского района (Украина). Окончил филологический факультет Житомирского педагогического института и аспирантуру института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины. Автор многих книг прозы, эссе и критики, составитель антологий современной прозы. Лауреат различных литературных премий. Живет в Киеве (Украина).

ГАРБАРЬ Сергей Владимирович. Родился в 1954 г. в Киеве (Украина). Окончил филологический факультет Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Писатель, переводчик. Автор многих книг поэзии и прозы, статей и публицистических материалов по истории, культуре, религии, литературе и живописи. Лауреат ряда литературных премий. Секретарь Союза писателей Украины. Живет в Киеве (Украина).

ОЛИЙНИК Борис Ильич. Родился в 1935 г. в с. Зачепиловка Полтавской области (Украина). Окончил факультет журналистики КГУ имени Т. Г. Шевченко. Современный украинский поэт, политический деятель, действительный член НАН Украины. Автор более 40 книг поэзии и публицистики. Лауреат Государственной премии СССР, герой Украины. Живет в Киеве (Украина).

МОВЧАН Павел Михайлович. Родился в 1939 г. в с. Большая Ольшанка Васильковского района Киевской области (Украина). Окончил Литературный институт имени А. М. Горького, двухлетние сценарно-режиссерские курсы при Госкино СССР. Поэт, переводчик, сценарист, общественный и политический деятель. Автор десятков сборников поэзии, эссе и литературоведческих статей. Лауреат Государственной премии Украины им. Т. Шевченко, Государственной премии Туркменской ССР. Живет в Киеве (Украина).

КОНОНЕНКО Алексей Анатольевич. Родился в 1957 г в с. Раздолье Компанеевского района Кировоградской области (Украина). Окончил филологический факультет Кировоградского государственного педагогического института. Поэт, прозаик. Автор более 30 книг, 200 песен. Заслуженный деятель искусств Украины, Лауреат Всеукраинской литературной премии им. И. Огиенка. Живет в Киеве (Украина).

ЗАРИВНА Теодозия Петровна. Родилась в 1951 г. в с. Рыдодубы Чертковского района Тернопольской области (Украина). Окончила филологический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко и театроведческий факультет Киевского театральгоно института им. Карпенко-Карого. Прозаик, поэт, драматург, эссеист. Автор нескольких десятков книг. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Киеве (Украина).